

Международный  
литературно-  
художественный  
журнал





Главный редактор  
**Борис Марковский**

Зам. главного редактора  
**Евгений Степанов** (Москва)

Редакционная коллегия:

**Айдар Хусанов** (Уфа)  
**Борис Херсонский** (Одесса),  
**Игорь Савкин** (Санкт-Петербург),  
**Владимир Цивунин** (Сыктывкар),  
**Борис Констриктор** (Санкт-Петербург),  
**Игорь Лощилов** (Новосибирск),  
**Юрий Проскуряков** (Москва),  
**Валерий Куклин** (Берлин)

Художник

Сергей Пионтковский (Киев)

Ответственный секретарь  
Елена Мордовина (Киев)  
тел. (038) 067-83-007-11

Связи с общественностью  
Александра Беренс (Берлин)

Год издания двенадцатый  
Рукописи не рецензируются и не возвращаются  
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:  
B. Markowskij, Traenke str. 16  
34497 Korbach, Deutschland  
тел. (+49) 5631-50-31-42  
e-mail: borismark@T-Online.de  
www.kreschatik.nm.ru

Издательство «Вест-Консалтинг»  
Москва, 109193,  
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Журнал выходит 4 раза в год  
ISSN 1619-2966  
Свидетельство о регистрации КВ № 10002 от 29.06.2005 г.

© Крещатик, 2009 г.  
© Издательство «Вест-Консалтинг» (Москва), 2009 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Поэзия

|  |                                  |     |
|--|----------------------------------|-----|
| Иосиф Гольденберг / <i>Пушино</i> /      | А по утрам здесь нету ни души... | 4   |
| Ел. Иванова-Верховская / <i>Москва</i> / | Вот створ калитки...             | 59  |
| Глеб Симонов / <i>Нью-Йорк</i> /         | Качали вёслами рыбаки...         | 99  |
| Виталий Амурский / <i>Париж</i> /        | Из книги «Земными путями»        | 127 |
| Герман Власов / <i>Москва</i> /          | Детская речь верлибра...         | 257 |
| Николай Боков / <i>Париж</i> /           | Из цикла «Колыбельная океана»    | 260 |
| Илья Иослович / <i>Хайфа</i> /           | Мой ангел...                     | 285 |
| Алексей Сомов / <i>Сарапул</i> /         | Вот такая это небыль...          | 288 |
| Борис Ванталов / <i>СПб</i> /            | Северное сияние                  | 292 |

### В гостях у «Крещатика»

### Участники Фестиваля «Камский Анлим»

|                  |     |
|------------------|-----|
| Юрий Беликов     | 158 |
| Андрей Санников  | 164 |
| Сергей Ивкин     | 167 |
| Марина Чешева    | 170 |
| Елена Оболишта   | 176 |
| Елена Горшкова   | 178 |
| Вадим Керамов    | 181 |
| Анна Матасова    | 183 |
| Андрей Гришаев   | 186 |
| Сергей Богомяков | 188 |

### Проза

|                                      |   |     |
|--------------------------------------|---|-----|
| Вл. Порудоминский / <i>Кёльн</i> /   | Короткая остановка на пути<br>в Париж. <i>Комедия масок</i> | 6   |
| Вл. Алейников / <i>Коктебель</i> /   | Воитель. <i>Повесть</i>                                     | 63  |
| Елена Косс / <i>Монреаль</i> /       | О простом поделом. <i>Роман</i>                             | 101 |
| Наталия Слюсарева / <i>Москва</i> /  | Прогулки короля Гало. <i>Повесть</i>                        | 132 |
| Татьяна Грауз / <i>Москва</i> /      | Верка и только. <i>Рассказ</i>                              | 173 |
| Дмитрий Мызников / <i>Барнаул</i> /  | По дороге домой. <i>Роман</i>                               | 191 |
| Гавриил Левинзон / <i>Нью-Йорк</i> / | Синица в небе. <i>Повесть</i>                               | 263 |

### Контексты:

эссеистика, критика, библиография

|                                      |                         |     |
|--------------------------------------|-------------------------|-----|
| Владимир Шпаков / <i>СПб</i> /       | На пепелище иллюзий     | 295 |
| Готфрид Бенн. <i>Перев. В.Вебера</i> | Искусство и Третий рейх | 300 |

# Иосиф ГОЛЬДЕНБЕРГ

*/ Луцкино /*



\* \* \*

А по утрам здесь нету ни души,  
И только лес, трава, вода и птицы.  
И в этой заколдованной тиши  
Должно и сердце так негромко биться,  
Чтоб не спугнуть ни дерево, ни куст,  
Чтоб не нарушить вечного покоя...  
А воздух так торжественен и густ,  
Как будто бы стоишь у анаоя...

\* \* \*

Кто станет верить февралю? —  
Его коротким обещаньям,  
Его морозам и метелям,  
его лазури голубой?  
И эти легкие снега  
так не похожи на прощанье  
С самодержавною зимой.

Кто б мог предугадать паденье  
Устоев этих ледяных,  
Кто предсказал бы птичье пенье  
И соков быстрое движение  
В высоких соснах вековых?

\* \* \*

В туюсок из чистой бересты  
Положите ветку бересклета...  
Может быть, в тревогах суеты  
Вам тогда блеснет полоска света,

Если приготовились уже  
Ревностно молиться на рассвете  
О заблудшей собственной душе  
И о бересте и бересклете...

## Ушедшим

I

Мы ещё перечислим Богу наши утраты  
Поимённо вспомним все наши потери;  
Как часовые, скорбные даты  
Дежурят у нашей постели.  
Им от нас ничего не надо, —  
Это мы без них осиротели...  
Всё ловлю на себе их долгие взгляды,  
Голоса их слышу в зимних метелях...

II

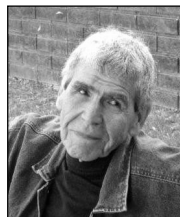
Уходят мои адресаты  
И стынут на звёздном ветру,  
Они на земле, как солдаты,  
Служили любви и добру.  
До встречи, родные, до встречи.  
Обещан нам свет и покой, —  
Тогда ваши горние речи  
Сравниются с речью земной...

\* \* \*

Раскинем карты наугад  
Иль погадаем на ладони;  
Но снова к пропасти летят  
Неуправляемые кони.  
Стоят дорожные столбы,  
И жизнь играет, как и прежде,  
На чёрных клавишах судьбы,  
На белых клавишах надежды...

# Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

/ Кёльн /



## Короткая остановка на пути в Париж

*Комедия масок*

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### 1

«Как бы мне вас, друзья, сегодня не огорчить. А?»

Старик, которого два других старика, разделявших с ним жилье, так между собой и называли *Старик*, сидел на кровати, свесив ноги, без подштанников, и растирал свои крепкие колени.

Он часто, проснувшись, намекал, что именно сегодня собирается умереть, но сообщал об этом всегда бодро, с каким-то даже победоносным видом поглядывая на соседей.

«Всех нас переживете», — пообещал ему другой старик, которого соседи именовали *Ребе*. Он провел перед лицом ладонью, буд-то отгоняя набегающую паутинку, и прибавил: «Впрочем, в нашем беге на короткую дистанцию это принципиального значения не имеет».

*Ребе* еще лежал в постели, он всегда вставал позже остальных.

«Поднимайтесь, пророк, — поторопил его *Старик*. — А то я надолго займу сортир. Опять к завтраку опоздаете».

Третий, *Профессор*, стоял в дверях, гладко выбритый, с красиво зачесанными назад седыми висками. Он был уже вполне одет, даже при галстуке. *Профессор* обитал в небольшой, зато с собственным туалетом комнате, отделенной от той, где жили двое других чем-то вроде общей гостиной.

Он уже успел, как и всякое утро, прогуляться до завтрака — сорок раз по асфальтированной дорожке сада, от ворот до серой каменной стены, оплетенной жилистой сетью какого-то ползучего

растения. Прохладный воздух в саду был напитан весной, на концах ветвей зеленели свежие побеги, тут и там пробивались из-под земли белые подснежники; возвратясь в помещение, *Профессор* остро чувствовал запах непрветренной после ночи комнаты, разобранных постелей, киснувших в фаянсовых кружках зубных протезов.

## 2

Минувшей ночью *Профессору* снилась женщина. Смуглая, черноволосая, с маленьким ладным телом, она, кажется, была похожа на Паолу, сестру, которая занималась с ними лечебной физкультурой. Но *Профессор* знал, что на самом деле это не Паола вовсе, а Вика. Он знал это по особенному и сильному влечению, которым была отмечена вся его недолгая жизнь с Викторией. Такое влечения не вызывала в нем ни одна другая женщина, хотя он встречал в жизни самых разных женщин и не чуждался их.

Ему снилось, что он идет по городу, может быть, это даже был Париж, но, может быть, и Петербург, хотя скорее, по неопределимому чувственному впечатлению, наверно все-таки Париж, — серым пустынным утром он идет, не спеша, вдоль набережной, тяжелая вода покачивается в гранитных берегах, вдали он видит собравшуюся у парапета толпу. Он подходит ближе и тотчас замечает эту женщину. Она стоит у самой ограды, плотно окруженная людьми. Он остро чувствует, как ее присутствие отзывается во всем его существе. Он проталкивается сквозь толпу и оказывается рядом с ней. Он прижимается сильно, как только может, сзади к ее горячему, упругому телу (спасибо, толпа теснит, давит со всех сторон), делает вид, что смотрит на середину реки, куда все смотрят и где происходит что-то (он не видит и не понимает, что), а сам в толчее незаметно, как ему кажется, гладит ее живот и бедра, она тоже делает вид, что не замечает этого — не отводит взгляда от воды, обменивается оживленными репликами со стоящими вокруг (кажется, по-французски), но, может быть, и действительно не замечает: он чувствует грудью ее спокойное дыхание. Его рука движется всё смелее, сквозь тонкую, волнующую его ткань платья он чувствует глубокие складки ладного, будто точеного тела. И вдруг он с ужасом понимает, что несмотря на волнение, им владеющее, на сумасшедшее биение сердца, на прерывистое дыхание, душасщее его, плоть его немощна и недвижима и не совершает даже слабой попытки ответить на призывы воспламененного воображения. Он еще продолжает прижиматься к женщине, но движения руки его слабеют, острое влечение уступает место нестерпимой тоске.

Сквозь сон *Профессор* почувствовал, будто на сердце у него тяжело лежит булыжник, ему стало жутко, он открыл глаза, и оттого, что на глаза навалилась темнота, стало еще страшнее. Рука нащупала выключатель: без двадцати три. Всё

явственнее пробуждаясь, он думал о том, что режиссер снов, даже самых фантастических, в чем-то всегда жестокий реалист и никогда не переступает возможностей, предоставляемых бодрствованием.

Из-за притворенной двери до него доносился суровый храп *Старика*. И *Профессор* который раз подивился долготерпению *Ребе*: этот не за двумя дверями — на соседней кровати, и за все прожитые вместе годы ни единой жалобы, ни даже малейшего намека на неудовольствие. Конечно, было бы справедливо отселить в отдельную комнату *Старика* с его храпом, но *келью* (как он ее именовал), занимаемую *Профессором*, оплачивали его дети, дочь и сын, живущие в Канаде; главное же, обреченный большим кишечником на постоянные неприятные и унижительные процедуры, он очень дорожил отдельной уборной.

До утра далеко — надо было спать дальше. Он хотел, чтобы сновидение продолжилось. Он часто мечтал, что ласкает женщину, во сне мечта обретала особенную реальность, — и вместе боялся продолжения: реальность безысходности, перенесенная в сновидение томил его. Он нажал кнопку звонка, через минуту другую появилась ночная дежурная, добрая фрау Бус, дала желтую таблетку снотворного, пожелала спокойной ночи и сама погасила свет. *Профессор*, и вправду, скоро заснул, как всегда засыпал после желтой таблетки. Но прежнее сновидение больше не вернулось. Теперь снилось ему что-то невыразительное, скучное, что он и не постарался запомнить.

## 3

Городок был маленький, и дом для престарелых, который его обитатели называли просто *Домом* (*Старик*, смеясь, любил впечатать по-русски: *богадельня*), был тоже маленький — на двадцать четыре человека. Впрочем, здесь, в Германии, стариков из соображений корректности не именуют ни стариками, ни престарелыми — числят *сеньорами*. Почти две трети содержащихся в *Доме* сеньоров и сеньор были не совсем или заведомо совсем не в себе, дружили, смеялся *Старик*, со старым немцем Альцгеймером (*Старик* любил пошутить).

Раз-другой в неделю тем, кто еще был способен и склонен к таким прогулкам, разрешалось прогуляться по городу, с сопровождающими, конечно. Старожилы припоминали, правда, несколько случаев, когда кому-либо из обитателей *Дома* удавалось и самостоятельно покинуть определенное им убежище. Беглецы долго скитались по городу, не в силах найти обратной дороги или не пытались искать ее, пока не попадались на глаза полицейскому или бдительному горожанину. Но произошло это в такие стародавние времена, что воспоминание уже обратилось в легенду, облившую у каждого рассказчика новыми подробностями, — система охраны с тех пор была доведена до совершенства и полностью исключала возможность побега.



Перед разрешенной прогулкой появлялись два крепких парня, Элиас и Ник, проходивших при Доме альтернативную военную службу. *Старик* грузно усаживался в кресло на колесах: долго идти, он полагал, ему было не под силу, он задыхался. («Еще бы, при его-то диагнозе», — *Профессор* доверительно склонялся к *Ребе*: он что-то подслушал однажды, когда врач при *Доме* доктор Лейбниц после осмотра беседовал со старшей медицинской сестрой Ильзе. *Ребе* отвечал на это непременно: «Всех нас переживет» — и отгонял ладонью от глаз набегавшую паутинку.)

Ник толкал кресло, *Профессор* и *Ребе* шли следом, сопровождаемые Элиасом. *Старик* то и дело оборачивался к ним, чтобы поделиться путевыми наблюдениями и приходившими в голову шутками. Элиас и Ник между тем перебрасывались своими немецкими шутками, обсуждая впечатления минувшей ночи, дискотеку и молодежный бар «Динозавр». Впрочем, и *Старик* подчас, когда хотел, чтобы парни его поняли, выкрикивал что-нибудь смешное на немецком, как он полагал языке, цепляя без малейшей заботы о грамматике и порядке слов одно пришедшее ему в голову слово к другому, и, что примечательно, парни почти всегда понимали, особенно если дело касалось прошедшей навстречу девицы или какой-либо занятой штуковины в витрине магазина, и отзывались на его незамысловатые остроты громким смехом. Сам *Старик*, когда шутил, хохотал громче всех, его широкое лицо при этом густо багровело.

Так следовали они неторопливо по центральной улице, мимо продуктового магазина *Plus*, мимо банка, мимо почты, мимо кондитерской *Kunstleben*, в витрине которой были выставлены роскошные торты, похожие на увиденные из космоса круглые острова в тропическом океане, мимо магазина посуды, двух обувных магазинов (зачем рядом — два?), мимо практики зубного врача Энгельса, куда их водили иногда по необходимости, мимо какой-то сельскохозяйственной фирмы, владелец которой носил странную для чужого уха немецкую фамилию Узбек (*Usbeck*), мимо стоящего на невысоком плоском холме старинного собора и возвышающегося напротив мрачно-серого, выполненного в псевдоготическом стиле гранитного памятника павшим в Первой мировой войне, возле которого траурным караулом вытянулось несколько темных кипарисов, — и так до вокзала, неизменной конечной цели предпринятого путешествия. Они редко меняли однажды выбранный маршрут, разве изредка, чтобы продлить путешествие, сворачивали на боковую улицу, и тем не менее прогулка ощущалась ими как пребывание в ином мире, огромном, полнящимся разнообразием людских лиц, предметов, красок, звуков, в мире, который всякий раз изумлял их открывающимися, кажется, куда ни брось взгляд, надеждами и возможностями.

В обычные дни они гуляли в саду при *Доме*. Систематически, правда, гулял один *Профессор*. *Старик* не любил ходить, жаловал-

ся на одышку, а *Ребе* был вечно занят своими таблицами и расчетами, о которых, если его спрашивали, ничего толком не рассказывал; оттого все, кто видел его занятия, считали их чудачеством. Но изредка, обычно под вечер, *Ребе* вдруг будто спохватывался, спешил в сад и, руки за спину, несколько раз обходил его по границе, обозначенной высокой — выше человеческого роста — каменной серой стеной, по которой, как реки на географической карте, расплзалась жилистая лоза какого-то растения. И, хотя на клумбах и рабатках сада пестрели цветы, старательно обихаживаемые седым садовником Михелем, хотя весной в саду цвели слива и вишня и в дальнем углу ярко желтел кизил, ему казалось, что он снова шагает по истоптанному четырехугольнику гладкого и пустого, как ладонь, двора, прочно зажатого между четырьмя высокими кирпичными стенами, оплетенными сверху колючей проволокой, сквозь толщу которых откуда-то издали проникали короткие выкрики автомобильных гудков, погружавшие душу в неумолимую тоску. Мир там, за стенами, чудился всемогущим и свободным. В том мире можно было выпить стакан горячего чая и посидеть с газетой на скамейке в сквере. Двор же, который он промерял дозволенными ему шагами, был тесен и бесплоден, как давно и безнадежно высохший колодец. Когда в памяти прорисовывался во всей своей выразительности пустой и пыльный квадрат того двора, *Ребе* останавливался на минуту, протягивал руку к листку кизила или сирени, слегка мял его в пальцах, как мнут при покупке, проверяя качество, уголок ткани, и, будто убедившись, что все с ним происходящее происходит наяву, отгонял от глаз свою паутинку, снова убирал руку за спину и шагал дальше.

## 5

Город был маленький, и *Дом* тоже, и вокзал, соответственно, был маленький — одноэтажное строение, увенчанное четырехугольной башенкой с часами. Большой здесь и не нужен: лишь изредка по узкой колее следовали мимо аккуратные, точно игрушечные грузовые поезда, пассажирские появлялись еще реже, по очереди то в одном, то в другом направлении. Чуть в стороне от платформы расположилось такое же одноэтажное кафе с открытой террасой. Ближе к вечеру оно заполнялось горожанами, которые за чашкой кофе, кружкой пива или бокалом шипучего вина, терпеливо беседуя, смотрели на проходящие поезда; днем посетителей набиралось обычно немного.

Если позволяла погода, старики занимали место непременно на террасе, Элиас и Ник устраивались за соседним столиком, — все заказывали кофе и к нему кусок торта или печенья, и мороженого непременно. Сорта мороженого было несчетно, всякий раз вставала непростая задача — выбрать три или четыре самых желанных нынче шарика, да, по возможности, так, чтобы твой выбор не совпал с тем, что успел потребовать другой; поэтому, если *Профессор*, к примеру, называл ананасное, шоколадное и кокосо-

вое, то *Старик* принципиально сливочное, клубничное и страци-теллу. Только *Ребе* брал неизменно один бордово-фиолетовый шарик из лесной ягоды, полагая, что это мороженое самое дешёвое, хотя все сорта были в одной цене и приятели постоянно твердили ему это, указывая на таблички в витрине.

В отличие от *Профессора*, содержание которого щедро обеспечивали обитавшие в Канаде дети, и от *Старика*, жившего на средства от каких-то невнятных родственников (он именовал их *должниками*), достаток *Ребе* ограничивался пособием социального ведомства. Пособия только-только хватало, чтобы обеспечить жилье, питание, медицинскую помощь, получаемые в *Доме*, на карманные расходы оставалась считанная мелочь, но *Ребе* и из нее ежемесячно откладывал небольшие деньги: это был неприкосновенный запас, необходимый для достижения конечной цели жизни. Он, впрочем, не отказывался, если *Старик* или *Профессор* угощали его чашкой кофе, торт же не ел никогда, даже самый привлекательный: он был убежден, что кондитерские изделия, как и мясо, которого тоже не употреблял в пищу, изменяют образ мыслей, а это катастрофически мешало той работе, которую он был призван постоянно выполнять.

Кофе и угощение для Элиаса и Ника часто заказывали тоже *Старик* и *Профессор*. Иногда *Старик* со своей тарелкой перебирался за стол к парням, и, не смущаясь своего варварского языка, шумно вторгался в их беседу. Он говорил громко, почти кричал, ему казалось, что речь его от этого становится понятнее. Парни увлекались восточным боевым искусством, *Старик* в молодости занимался тем суррогатом каратэ, который в Советском Союзе назывался *самбо*, самозащитой без оружия; он хохотал, багровея лицом, объяснял парням какие-то заветные, чуть ли не ему одному известные приемы, хвастался, что еще недавно всякий день упражнялся двухпудовой гирей и давал пощупать свои мускулы. Парни, явно без интереса, вежливо пожимали ему руку выше локтя. Вовсе разойдясь, он требовал, чтобы Элиас или Ник — ладонь в ладонь — померялись с ним силой, пыхтел, шумел, хохотал, наконец, забывая про трудности дыхания, курил с Элиасом мировую. Элиас, чтобы выходило дешевле, делал самокрутки, *Старик* зацеплял у него из пакета щепоть табака, ловко сворачивал сигарку и громко, вызывая неудовольствие Профессора, начинавшего беспокойно озираться, запевал старую военную песню «Эх, махорочка, махорка, породнились мы с тобой» и снова хохотал. Парни тоже хохотали и кричали вместе с ним: *махорка, махорка...*

## 6

Профессор между тем выковыривал вилочкой упругую, как девичья грудь, половинку персика, встроенную в кусок фруктового торта (он всегда брал фруктовый), и, теща и вместе терзая себя, вспоминал, как некогда, четверть века назад, впервые попробовал точно такой же торт. Его послали в Дрезден, в тогдашнюю ГДР, на

весьма представительный по тем временам научный конгресс; в свободный день желающим предложили посетить находящуюся в недалеком городе Мейсене всемирно известную фабрику саксонского фарфора. После экскурсии им разрешили несколько часов побродить по городу (с экскурсоводом, конечно). В группе была женщина, высокая и статная, с темно-рыжими волосами, нежной розовеющей кожей и зелеными, как морские камешки, глазами. *Профессор* приметил женщину еще по дороге из Москвы в самолете и тотчас оценил ее достоинства. На конгрессе он поначалу потерял ее из вида, но во время общего научного заседания, когда что-то не заладилась с проектором, она вдруг решительно поднялась с места, где-то в последних рядах, прошла к докладчику, возившемуся с диапозитивами, и в одну минуту привела в порядок застопоривший аппарат. Кто-то рассказал *Профессору*, что женщину зовут Амалия, ленинградка, пишет докторскую у академика З., он-то и привез ее с собой на конгресс. Старейший академик З. сидел в президиуме на председательском месте и заметно дремал, надвинув на глаза густые седые брови.

«Каков!» — весело подумал *Профессор*, вертя головой и высматривая в глубине полутемного зала рыжеволосую красавицу. И вот они идут рядом по старым улочкам, мимо фахверков и узких, крытых черепицей домов, будто сошедших с картинок из книги старинных немецких сказок, задерживаются у витрины аптеки, декорированной под средневековые, со времен которого она и ведет свое летосчисление, читают вывеску мастерской, изготавливающей цинковые кружки, кувшины и тазы, гласящую, что основана мастерская в тысяча семьсот каком-то году, наконец останавливаются у окна кондитерской, принадлежащей некоему *Ziege* (в ГДР были дозволены мелкие частные предприятия), — и всю дорогу *Профессор* старался быть рядом с рыжеволосой Амалией и, то осознанно, то не отдавая себе в этом отчета, поддерживать ее под руку или легко касаться ладонью спины, пропуская вперед. Он навсегда запомнил показавшееся тогда очень смешным имя владельца кондитерской (хотя, вдуматься, чем *Козлов* лучше?). В окне были расставлены торты и пирожные, по большей части фруктовые, оснащенные живыми плодами и ягодами, в Союзе таких не увидишь. Золотистые полушария персиков, багровые шарики вишен, стекловидные гребешки ананасов, эротически алая клубника... Жизнь его будет неполной, если он не попробует этой прелести, шепнул *Профессор* в розовое ушко Амалии. Не сообщая никому и, рискуя вызвать неудовольствие экскурсовода, они незаметно проскользнули в стеклянную дверь кондитерской. Амалия деловито предложила взять шесть пирожных разного сорта и разрезать пополам, чтобы каждому досталось попробовать побольше всей этой вкусноты. Они ели пирожные и смеялись. *Профессор* болтал что-то несусветное, первое, что приходило в голову, а в голову приходила какая-то смешная ерунда, но, наверно, только такую ерунду и можно было болтать в эти минуты — на душе было легко до звона в ушах, и весь мир, казалось, парил в счастливой невесомости.

мости. Приятно полная, точеная шея Амалии нежно розовела, когда она смеялась; ее крупная белая рука прикасалась к руке *Профессора*, будто желая остановить поток его хмельной речи, тогда как влажные зеленые глаза шало и радостно подбадривали его. И *Профессор* вдруг всем телом почувствовал, что в эти минуты происходит нечто несравнимо большее, чем, казалось бы, происходит, что они не просто наслаждаются пирожными, наполняющими рот ароматом клубники и роняющими на тарелку капли крема и черничного сока, но что это минуты их первой и полной близости. Плывущие глаза Амалии подсказывали ему, что и она чувствует то же, и, когда они допили сэкономленный напоследок крошечный глоток кофе, он потянулся к ней и благодарно прижался губами к ее мягким губам. Они вышли из кафе и, догоняя и разыскивая группу, стали торопливо подниматься по крутой улице вверх, в гору, туда, где стоял, возвышаясь над городом, старинный собор. Им навстречу из двери старинного дома вышел трубочист в черном фраке и цилиндре, с маленькой жесткой метелкой у пояса. Амалия сказала, что, по давнему поверью, встретить трубочиста — к счастью, на что *Профессор* вдруг серьезнее, чем сам ожидал, ответил ей, что сегодня всё наоборот — это трубочист встретил счастье. Весь день они уже не расставались и лишь поздно вечером, им показалось, расстались до утра. Но ночью Амалия сама пришла к нему в гостиничный номер, и они, не сказав друг другу ничего, — гостиница была новая, ящички номеров, как соты, тесно лепились один к другому, стены тонкие и окна открыты — начали испуганно и молча ласкаться друг друга. Когда *Профессор*, не удержавшись, застонал и произнес какие-то подобающие чудному мгновению слова, Амалия крепко и больно прижала его голову к своей груди и едва слышно прошептала ему в самое ухо, что, если их застучают, они оба сделаются невыездными, на что он, сам от себя не ожидая такой смелости, вдруг в полный голос ответил ей, что, наоборот, теперь они будут выезжать только оба вместе. Он понял, что наконец-то решился перешагнуть Рубикон и развестись с Анной Семеновной — к тому времени они прожили вместе тридцать три года, у них были сын и дочь, уже взрослые и самостоятельные.

## 7

Весь тот день, как многие дни, ставшие давним прошлым, вспоминался *Профессору* ясно и выразительно, и ему хотелось вспоминать этот дивный день вслух, хотелось найти сочувствующего, рассказать о нем вот тому же *Ребе*, который, думалось, способен понять его и пережить с ним вместе его прошлое. (*Старик* с его грубыми шутками и прибаутками в собеседники тут не подходил, — разве можно было доверить его суждениям историю незабываемо прекрасной любви.) Но *Ребе*, уже разделавшийся с лиловым шариком пломбира, был так погружен в свои таинственные расчеты, которые производил крошечным огрызком карандаша в

весьма потрепанной книге — он почти не расставался с ней и непременно брал с собой на прогулку, — что беспокоит его было неловко. Книга была отслужившим свой век железнодорожным справочником с расписанием поездов на позапрошлый или еще более ранний год: кто-то за ненадобностью однажды оставил книгу на подоконнике в помещении вокзала, и *Ребе* с восторженной готовностью присвоил ее.

*Ребе* сидел, вобрав, по обыкновению, голову в плечи. Даже сквозь уличную куртку была очевидна его худоба, — плоти точно вовсе не имелось, один скелет, ткань куртки западала в пустотах тела, и острые плечи, чудилось, норовили прорвать ее. На почти лысую голову, слегка сдавленную у висков, было постоянно натянуто кепи с большим козырьком и яркой эмблемой какого-то гольфклуба.

*Ребе* туда и сюда перелистывал справочник, подчеркивал карандашиком названия отдельных городов, выписывал на поля цифры, проводил ему одному понятные линии в схемах железных дорог и то и дело сверялся с приложенной к книге картой Европы, на которой тоже делал разнообразные пометки. Задача состояла в том, чтобы найти наиболее подходящие в данный момент каналы передачи энергии, для чего требовалось умело сочетать сложные расчеты и внезапно осеняющую его интуицию. Каналы эти часто пролегли не по прямой, кратчайший путь оказывался весьма путаной конфигурации, огибая районы, по тем или иным причинам нынче неблагоприятные для продвижения энергии, в частности места особой концентрации отрицательных сил. Если ему удавалось удачно выбрать маршрут, *Ребе* тотчас узнавал об этом по особенному ощущению — казалось, что на лоб ложилась легкая, прохладная ладонь, и он знал, чья это ладонь. Он тотчас ставил в своих бумагах дату и час, отмечая принятие сигнала, и некоторое время после этого сидел, расслабившись, испытывая вместе удовлетворение и опустошенность.

Красная секундная стрелка на вокзальных часах резко, пристукивая, перескакивала с одного деления на другое.

«Вас не страшит это бесконечно движение времени? — спросил *Профессор* у *Ребе*. — Будто гильотина одну секунду за другой отсекает от дарованного срока — *уносит частичку бытия*».

«Наоборот, — *Ребе* вслед за *Профессором* поднял глаза к циферблату на башне вокзала. — Каждое движение стрелки надставляет жизнь еще на кусочек. Вот прыгнула — и мы с вами успели пережить что-то новое. Человек умирает — в доме останавливают часы».

Он отогнал паутинку.

«Это правда. — *Старик*, повернув колеса кресла, возвратился к их столику. — Мальчишкой, помню, читал в книгах про путешественников, как они бредут уже совсем без сил и вдруг видят кокосовую пальму. Проказницы мартышки сбрасывают им на голову парочку орехов. Путешественники разбивают камнем скорлупу и жадно лакают молоко. А? Я с тех пор всё мечтал попробовать:

какое такое это молоко. Да и кто из наших не мечтал? Вы, наверно, тоже мечтали. Чего не пил в жизни, а кокосового молока не приходилось. Наш пиццером его не производил. Казалось, оно только в книгах и существует, это самое молоко. Что-то вроде сгущенки, только еще вкуснее. Сгущенка с ромом, например. Ром ведь тоже из детских книжек — Робинзон, пираты. На восьмом десятке дожил — попробовал. Ничего особенного. Сгущенка лучше. Да и ром. Против армянского коньяка не тянет. Голова от него болит. А умер бы раньше, ничего бы этого не узнал. Бродил бы на том свете — искал кокосовую пальму. А?».

*Старик* засмеялся.

Не останавливаясь, пробежал мимо грузовой состав: ладные небольшие вагоны, желтые, темно-красные, синие, — опрятные, будто только что помыли губкой с душистым мылом, и не скажешь, что *товарняк*, что позади, может быть, сотня километров пути. Усатый машинист, увидев стариков, из окна кабины приветливо помахал им рукой. И они, все трое, радостно, как дети, принялись махать в ответ, и махали до тех пор, пока не отстучали колеса последнего вагона.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Вечером *Старик* уселся в их маленькой гостиной смотреть телевизионное шоу, которое никогда не пропускал. Тут же расположился *Профессор* с немецкой книгой: это был снискавший известность роман, прочитать его посоветовал Профессору доктор Лейбниц. *Ребе* сидел в уголке со своими вырезанными из старых журналов табличками и схемами. Но шоу шумно и навязчиво требовало к себе внимания, и *Профессор*, заложив книгу пальцем, прикрыл переплет, а *Ребе* перестал черкать карандашиком в своих бумагах и, откинув голову, из-под козырька кепи устремил внимательный взгляд на экран.

На сцене поставили высокий, заполненный водой аквариум, привлекательная девушка, обнаженная — лишь крошечный лифчик и едва заметные бикини, — зажав в зубах трубку для дыхания, с головой погрузилась в него, после чего устроители шоу выплеснули в аквариум еще ведро воды, в которой кишели водяные змеи. Змеи быстро и нервно кружили в аквариуме, проплывая мимо лица девушки, между ногами, касаясь ее тела своими длинными и тонкими телами. Так надо было простоять то ли три минуты, то ли целых пять. Стрелка подвешенных над сценой часов, казалось, едва тащилась по кругу циферблата. Змеи скользили перед глазами девушки, прикрытыми уродливыми очечками пловчихи. А в глубине сцены на покато обращенном в сторону публики пьедестале, сверкая красным лаком, возвышался небольшой *опель* — награда победителю, чей номер публика найдет наиболее заслуживающим внимания.

«По существу, это пытка, — возмущался *Профессор*. — Нечто подобное есть у Орвелла».

«У нас пытки были попроще, — подумал *Ребе* — То ли выдумки не хватало, то ли времени, то ли денег».

«В конституции записано: *достоинство человека неприкосновенно*, а в итоге за публичное унижение человеческого достоинства еще и приз выдают. Как той женщине, которую — помните? — однажды вот так же положили раздетую в стеклянный ящик и высыпали на нее десять, кажется, килограммов тараканов».

*Профессор* вспомнил сухой шорох копошащихся насекомых, который слышался в затаившем дыхании зале, и с брезгливым ужасом передернул плечами.

«Что вы развоевались! — не отрывая взгляд от экрана, заспорил с ним *Старик*. — Никто эту девку насильно в аквариум не загонял. Мне хоть автобус пообещай, я туда не полезу».

«Прикажут — ползешь», — подумал *Ребе* и покосился на оттопыренную, как жабра, багровую щеку *Старика*.

«Конституция обязывает соблюдать достоинство человека, но как обязать, научить самих людей защищать свое достоинство», — продолжал свою риторику *Профессор*.

«Вот именно, — согласился *Старик*. — Сам за себя не постоишь, никакие конституции не помогут. Думал о-го-го, а оказалось рулон туалетной бумаги».

Он захохотал.

## 2

Когда-то, семьдесят, может быть, даже семьдесят с лишком лет назад старик, которого так и называли теперь *Стариком*, был курчавым, розовощеким подростком и был впервые и безнадежно — он знал это — влюблен. Безнадежно, потому что, хотя советская власть и все равны, но он был мальчиком из полуподвала, где обитал с матерью, кассиршей на железной дороге, и горбатой старшей сестрой Идой, портничихой-надомницей, перешивавшей и чинившей старую одежду, тогда как предметом его любви оказалась Ривочка, дочь доктора Бунимовича, известного врача, акушера и гинеколога, у которого рожали и лечились жены и дочери всех городских руководителей и знаменитых людей. Бунимовичи жили в обширной квартире на втором этаже, который во дворе почитательно именовали *бельэтажем*, квартира принадлежала прежде деду Ривочки, тоже врачу-гинекологу. Домашняя работница Бунимовичей, рябая деревенская женщина Тося, шустрая и словоохотливая, забегавшая к Иде поболтать, говорила про своих хозяев: «Грех жаловаться! Богато живут!»

Подросток, которого называли теперь *Стариком*, заканчивал семилетку, тут же на их улице, недалеко от дома, разместившуюся в двухэтажном здании бывшего реального училища. Ривочка училась в Образцовой школе № 1 имени то ли Косиора, то ли Постышева (он уже запомнил на старости лет, кого именно, да и ка-



кая разница: сами эти персонажи, некогда прославленные и могучие, остались ныне — и то лишь для немногих, особо памятливых, — мало приметными этикетками в именном указателе былых исторических фигур). Сестра Ида называла образцовую школу *бобрятником*. «Там бобрята, дорогая шкурка, — картавила она. — А вы второй сорт. Кошки-мышки». Ида громко смеялась и дергала плечами, будто стараясь подкинуть повыше висевший на спине горб.

Отца он не знал. Ида однажды потрясла его сообщением, что отцы у них разные. Своего отца Ида тоже не знала. Такого он от матери, некрасивой и неприветливой, никак не ожидал. Мать на его расспросы отвечала сердито: «Я за ним не следила. Ушел и пропал. Может, убили, а может, нашел кого получше. Время было такое». Ее и без того красное лицо становилось еще темнее. «Будем считать, отцы пали на фронтах гражданской», — весело каркала Ида.

Ривочка была стройная девушка с легкой походкой. Когда она шла по улице, она улыбалась. Тогда, в отрочестве, мальчик, ставший теперь *Стариком*, был убежден, что она всегда счастлива. Впрочем, так, наверно, тогда и было. Разговаривая, Ривочка мило гримасничала — поджимала губы или сводила их трубочкой, широко раскрывала глаза, окаймленные длинными ресницами. Впрочем, поговорить с ней ему почти не доводилось: если встретятся, разве что «привет!» и «пока!», а встречались редко. Кроме общей школы у Ривочки была еще и музыкальная, и отдельно частные уроки немецкого и французского; летом Бунимовичи снимали дачу и уезжали из города.

Но однажды под вечер раздался торопливый стук в дверь, он откинул крючок и увидел на пороге Тосю и Ривочку. «Привет!» — выглянула Ривочка из-за Тосиного плеча и, широко раскрыв глаза, изобразила изумленный взгляд, то ли передразнивая изумление, появившееся (он чувствовал) на его лице, то ли сама изумляясь, что появилась здесь. Оказалось, нынче вечером у нее в музыкальной школе концерт, для которого куплено новое платье, стали надевать — и надо же, то ли узко где-то, то ли широко (он уже позабыл, конечно). «Брысь! Примерка!» — каркнула на него Ида, как всегда, когда приходили клиентки, чтобы вышел в кухню. Но на этот раз он обиделся и буркнул, выходя: «Дура!» В кухне, общей для всех трех полуподвальных семей, пахло холодными примусами. Он переминался с ноги на ногу, ожидая разрешения снова вернуться в комнату, и жалел, что на нем не надеты ни ботинки, ни пальто и он не может уйти куда глаза глядят. Ему стыдно было, что Ривочка находится там, в их комнате, с двумя тесно поставленными кроватями, накрытыми лоскутными одеялами, и с продраным кожаным сидением его дивана, стыдно было оставленной на обеденном столе грязной посуды, стыдно было придвинутого к окну столика со старой швейной машинкой, вокруг которого валялись разноцветные лоскутки

материи, стыдно было ног прохожих, сновавших мимо этого окна под потолком, и всегда державшегося в помещении тонкого известкового запаха сырости.

Когда его впустили обратно, Ида уже громко тарахтела на своей разношенной машинке, выполняя срочную работу, Тося стояла напротив нее и быстро, будто торопясь обогнать машинку, пересказывала последние дворовые и уличные новости, Ривочка между тем устроилась на его позорном диване с вырванным клочком кожи и рассматривала книгу о путешествиях в глубь Африки. Своих книг у него не было, он брал в районной библиотеке. Розалия Самойловна, библиотекарьша, всегда норовила ему всучить что-нибудь про гражданскую войну или из школьной жизни, но он любил путешествия — капитан Кук, Амундсен, Колумб, Ливингстон и Стенли. Он представлял себе, как в одиночку на современном танке (таком, какие показывали в кинохронике про маневры) оказывается, подобно Робинзону, на неведомом острове, затерявшемся в необозримых просторах океана, бессчетная толпа дикарей с копьями и луками выбегает из густых тропических зарослей ему навстречу, он закладывает в ствол снаряд, один выстрел, другой, дикари в ужасе разбегаются либо, изымая полную покорность, падают ничком на землю, и он, подняв на башне броневой машины красный флаг, — бог, царь и герой — объезжает покоренный остров.

«А Дюма читал? — спросила Ривочка. — *Три мушкетера* или *Граф Монтекристо*?»

Нет, Дюма он не читал. Только слышал о нем от счастливых, которым чудом попадали в руки эти книги. В районной библиотеке книг Дюма не имелось.

«Приходи. У меня и *Три мушкетера*, и *Двадцать лет спустя*, и *Виконт де Бражелон*, это еще *Десять лет спустя*...»

Он удивился: «Откуда у тебя? В библиотеке и то нету».

«Еще от дедушки».

«И все читала?»

«Эти раньше читала. А теперь больше — про любовь».

Ривочка слегка прищурилась и мечтательно посмотрела вверх, в сторону окошка, мимо которого туда и обратно торопливо шагали ноги невидимых пешеходов.

«*Анну Каренину*, что ли?» Он хмыкнул и покраснел.

Ривочка сложила губы в хитренькую улыбку:

«Между прочим, у папы *Мопассан* есть. Вот такой том. — Она показала пальцами. — С иллюстрациями».

Он снова покраснел. От старших ребят он знал, что *Мопассан* это что-то совсем неприличное.

Ида перестала тарахтеть машинкой. Вскинула повыше свой горб и, держа платье за плечи, подошла к Ривочке: «Теперь, кажется, что надо».

В эту минуту мальчик, ставший с тех пор *Стариком*, вдруг представил себе, как Ривочка в одних черных сатиновых трусиках, схваченных на бедрах резинками (девчонки приходили в та-

ких на уроки физкультуры) стоит перед зеркалом и, подняв обнаженные руки, не спеша натягивает на свое стройное тело новое платье. У него пересохло во рту.

«Так ты приходи, — сказала Ривочка. — У меня завтра до половины седьмого французский. Вот ты к семи и приходи».

Тося откуда-то из-под фартука достала две денежных бумажки и протянула Иде: «Не мало?»

«В самый раз», — сказала Ида. Быстро взяла деньги, сунула в карман.

Он готов был сгореть от стыда.

### 3

Девушка между тем стояла в аквариуме, скользкие, верткие змеи шныряли вокруг нее. Видно было, что ей страшно и, наверно, холодно. Дыхательная трубка, конец которой она сжимала во рту, торчала над поверхностью воды, как обломанный стебель какого-то растения. Время от времени девушка спохватывалась, поднимала руку и, расставив пальцы буквой V, пыталась воспроизвести бодрый и ободряющий публику жест. Наконец стрелка часов обползла необходимое количество кругов. Служитель в красном комбинезоне расставил лесенку-стремянку и помог девушке выбраться из аквариума. Она стояла посреди сцены в лучах наведенных на нее прожекторов, которые, казалось, высвечивали на ее бледной коже прыщики холода и страха, с ее похожих на водоросли волос стекала вода. Наконец она опомнилась, сдернула нелепые очки, засмеялась, замахала руками, закричала что-то, неслышное за овациями и ударившим марш оркестром. Ведущий в седом парике и бархатном, расшитым золотом наряде изысканно, чтобы не замочить руку, взял ее за кончики пальцев и торжественно, как в танце, под отбивавшие ритм аплодисменты публики повел за кулисы. Девушка уже освоилась, свободной рукой посылаала направо и налево воздушные поцелуи и, не попадая в такт, следовала за ним. После нее на сером ковре сцены остались темные мокрые следы...

### 4

Доктор Бунимович, коротко постучав (что поразило мальчика), вплыл в комнату Ривочки — толстый живот, сверкающая лысина, белая, крепко накрахмаленная сорочка, галстук-бабочка, белый платочек уголком в нагрудном кармане пиджака, аромат одеколона.

«Желаю вам, молодые люди, хорошо провести время. Мы в театр...»

«Что сегодня дают?» — спросила Ривочка.

(Мальчик, сегодняшний *Старик*, удивился этому необычному дают.)

«Продавец птиц. Приехала московская оперетта».

Мальчик уже понял, скорее, даже почувствовал, что попал в иной, неведомый мир, и это название спектакля, показавшееся ему странным и манящим, вмиг явило его воображению тропический лес и перепархивающих с ветки на ветку необыкновенных птиц с ярким оперением, и тот, который ловил и продавал этих птиц, был, наверно, темнокожий, в белой чалме, таких показывали недавно в кинохронике «Путешествие по Индии».

В дверях появилась жена доктора Бунимовича, тоже толстая с рыжими крашеными волосами, в лиловом платье.

«Мы опаздываем».

(Откуда Ривочка такая худая, стройная?)

«Прошу любить и жаловать», — доктор протянул мальчику руку, и тот почувствовал его большую, теплую ладонь.

«Не забудь напоить гостя чаем». Это уже к Ривочке.

«Принесешь программку, только чтоб с пересказом содержания, и шоколадку из буфета», — приказала Ривочка.

Она поцеловала отца в лысину.

«Пожалуйста, нигде не задерживайтесь. А то опять отправитесь куда-нибудь в гости». Ривочка слегка надула губы и сделала обиженные глаза.

«Мы опаздываем, — сказала из дверей жена доктора Бунимовича. — Тося, принесите доктору шляпу»...

Они остались вдвоем. Оба молчали. Слышно было, как где-то далеко, в кухне, Тося звякает посудой. Ривочка стояла в двух шагах от него у книжного шкафа и, слегка склонив голову, с интересом его разглядывала. Она разглядывала его, как разглядывают из глубины комнаты севшую за окном на ветку птицу.

«А что, если я ее сейчас поцелую? — подумал он. — Ударит? Заорет?»

Он вообще-то один раз уже целовался с девчонкой, с Иркой Романовой из их класса. Эта Ирка Романова, курносая, с мокрыми губами и широкими бедрами, считалась между мальчишками особой весьма легкомысленного поведения. Они рассказывали о ней друг другу томительные подробности, часто видно было, что врут, но хотелось слушать. Во время школьного вечера Сережка Николаев, его друг, шепнул ему, задыхаясь: «Там, в гардеробе, Ирка Романова ждет. Побежали!». Они нашли Ирку в узком темном проходе между рядами вешалок, на которых теснились пахнущие уличной влагой пальто.

«Ты чего его привел? — рассердилась Ирка. — Сейчас как разверну обоих».

«Он тоже хочет», — объяснил верный Сережка.

«Дурак ты. Ладно, пусть учится».

Она притиснулась к нему, прижалась животом, потерлась о его губы мягкими мокрыми губами.

«Что? Сладко? А теперь катись отсюда. Я Сережку ждала, не тебя».

Он выбрался из гардероба, вытер рукавом губы. Ему и противно было, точно обмарался, и хотелось вернуться, что-то еще испытать, изведать, что досталось, может быть, Сережке, не ему.

Он смотрел на Ривочку, на ее веселые, подвижные губы, на ее широко раскрытые, внимательно на него смотрящие глаза, и думал, что с ней было бы, конечно, всё совсем иначе.

«Ты только не вздумай лезть целоваться, — сказала Ривочка. — Я этого терпеть не могу». Он покраснел.

«Очень надо!»

Во рту у него пересохло.

(*Мопассан* читает, сердито подумал он.)

«Выбирай книги, а я скажу Тосе, чтобы чай вскипятила».

В двух книжных шкафах за стеклом поблескивали и пестрели плотно прижавшиеся один к другому книжные корешки.

«В этом шкафу еще дедушкины, а в том новые, которые уже мне покупали», — объяснила Ривочка.

Он подошел к шкафу и стал сквозь стекло читать на корешках названия.

Книг было так много интересных, что он не мог ничего выбрать.

На шкафу стояла мраморная статуэтка: девушка на скамейке, у нее на коленях раскрытая книга; девушка оторвала взгляд от книги, подняла голову, смотрит вдаль.

Ему вдруг сделалось ужасно тоскливо: ничего он из этих шкафов не возьмет, не унесет, — и зачем сюда явился.

Вошла Ривочка.

«Ничего не выбрал? Пойдем чай пить, а то остынет. Я тебе потом сама что-нибудь отыщу».

Протянула ему руку: «Пошли».

А у него ладонь — он почувствовал — мокрая, потная. Неловко провел, отирая, о полу куртки, сжал в непослушных пальцах ее тонкие пальчики.

На столе, покрытом белой скатертью, стояли красивые чашки (как из таких пить-то?), серебряная сахарница, молочник тоже серебряный. Возле каждой тарелки салфетка в серебряном колечке.

Тося в белом переднике принесла из кухни блестящий никелированный чайник.

«Я сама», — Ривочка потянулась взять у нее чайник.

«Сама! — не отдала чайника Тося. — Хозяйка! Пальцы ошпарить, кто будет на пианине играть?»

Посреди стола громоздились в вазочках какие-то шарики, покрытые шоколадной глазурью, посыпанные сахаром крендельки.

«Ты его спроси: может, он есть хочет, — сказала Тося. — Смотри, какой мужик здоровый. Что ему это баловство»,

Он покраснел.

«Вы, Тося, его совсем смутили. А ты, может быть, и правда, голоден? Хочешь бутерброд?»

«Ничего я не хочу», — сердито сказал он.

«Нет, нет, печенье непременно попробуй: его папе из Киева прислали».

Тося разлила чай.

«Тебе с молоком? — Ривочка взялась за молочник. — Папа между прочим обожает пенки. А ты?»

Он не успел ответить, как из молочника скользнула в чашку густая длинная пенка.

Его чуть не стошнило от одного ее вида.

Ривочка заметила его смятение. И он понял, что — заметила. В ее широко раскрытых глазах блеснул озорной интерес. Она подвинула к нему чашку.

«Только непременно с печеньем. Вот возьми кренделек».

Своими тонкими пальчиками она протянула ему обсыпанный сахаром завиток.

«Ну, смело, — подбодрила она его и засмеялась. — Одним махом. Как микстуру».

Она сложила губы трубочкой и, слегка склонив голову, смотрела на него.

«Не хочет, пусть не пьет, — сказала Тося, которая тоже все заметила. — Сама, небось, от сливок нос воротишь. Давай сюда, я выпью».

Он взял чашку за витую ручку, такую нежную, что, казалось, отломится и останется в пальцах, быстро поднес ко рту и одним громким глотком схлебнул пенку. Сейчас вырвет, тоскливо подумал он. Взял из тонких пальцев Ривочки кренделек, отгрыз кусочек. Двинул стулом.

«Ладно. Я пойду».

«И чего обидела!», — сердито сказала рябая Тося.

«Ты, правда, обиделся? — Глаза у Ривочки были огорченные. — И книгу не выбрал».

«В другой раз»...

## 5

На экране между тем средних лет мужчина, коротко обстриженный, с короткой, мощно отлитой фигурой тяжеловеса, торопливо, один за другим засовывал в рот целлулоидные шарики для настольного тенниса и с силой выплевывал их в мишень. Опять же требовалось (так он сам объявил) за минуту взять в рот и выплюнуть несколько десятков шариков и при этом попасть в цель. Лицо и шея мужчины побагровели, он со скоростью заведенного механизма подносил руку ко рту, шарики летели пулей, с пустым стуком ударялись о доску мишени, падали на пол и катились по сцене; зрители, подбадривая героя, считали хором: «...дрейундцванциг... фирундцванциг...», и каждый раз, когда он со скоростью заряжающего устройства автоматического оружия закладывал в рот шарик, страшно было, что он второпях вместо того, чтобы выплюнуть, по ошибке его проглотит.

«Дурак! — смеялся *Старик*. — Нашел, на что время тратить! Обучил бы верблюда, у верблюда бы лучше получилось. А?»

Стрелка часов, обгоняя метателя шариков, обежала круг. Под рукой у человека на сцене осталось несколько так и не выпущенных в цель шариков. Но публика было великодушна, и он все равно сорвал свои бурные аплодисменты.

В дверях появилась старшая сестра Ильзе. *Профессору* пора было делать процедуру. Он виновато улыбнулся и суетливым шагом двинулся вслед за сестрой.

*Ребе* уже несколько минут не смотрел на экран. Человек с шариками его не заинтересовал, и он снова погрузился в свои вычисления. Энергетический канал, который он прокладывал в юго-восточном направлении, где-то совсем недалеко наталкивался на могучую преграду, которую никак не удавалось обойти. Водя карандашиком по карте, *Ребе* предположил, что это район Освенцима, здесь всегда возникали сложности. Он спешил: время позднее, а он не мог бы заснуть, не выполнив дневного задания *Учителя*, не почувствовав на лбу его легкой прохладной ладони — сигнала, что маршрут найден, энергия добра достигла цели.

«Вот стыдоба!.. — что-то происходившее на экране очень возмущало *Старика*. — Это же надо на такое идти ради тачки лавированной!.. Вы, *Ребе*, взгляните только...»

Но *Ребе* в своем картузе сидел, вобрав голову в плечи, и водил по карте огрызком карандаша.

«Как черепаха из мультфильма», — усмехнулся *Старик* и стал смотреть один.

## 6

...Он смотрел и вспоминал: специальное училище в большом приволжском городе, Западную Украину, где надо было укоренять и укреплять на присоединенных территориях непривычную для тамошних людей советскую власть, войну, которую он прошел от начала до конца, до Рейхстага (на Рейхстаге, впрочем, не распалился), четыре года трудной работы, отмеченной скромным орденом и подюжиной медалей, — только в сорок шестом он вдруг снова оказался в родном городе, куда его ничто не тянуло. Мать перед самой войной насмерть задавил поезд: прямо по путям возвращалась домой после ночной смены (Ида написала в открытке: «как Анну Каренину»), на похороны он не выбрался, а потом город захватили немцы, и сестру Иду уже через несколько дней расстреляли вместе с пятью тысячами других самых ненужных евреев в старых каменоломнях за городской чертой.

Он попал в город ненадолго, всего на несколько недель: послали для усиления в состав группы, занятой трудным путанным делом. Многих из прежних знакомых в городе уже не было: одни погибли на фронте, других расстреляли немцы, некоторые не вернулись из эвакуации, но оставались и такие, кого он помнил и кто помнил его, — он старался не встречаться с

ними: не хотел лишних связей, лишних отношений, да и люди эти, жизнь которых уже давно разминувшая с его жизнью, не интересовали его. Работы был непочатый край, он отправлялся в управление рано утром, домой возвращался за полночь, несколько раз кто-то на улице окликал его, о чем-то расспрашивал, он отвечал сухо и торопливо.

Его поселили на частной квартире, специально предназначенной для сотрудников, прибывающих в командировку. Вторую комнату занимала веселая одышливая толстуха весьма преклонного возраста, отрекомендовавшаяся ветераном трудового фронта. Он был уверен, что она доносчица, поэтому держал себя с ней непринужденно, пошучивал и приносил к вечернему чаю конфеты и печенье из служебного буфета.

Порученная работа уже подходила к концу, когда однажды под вечер ему сообщили, что какая-то женщина, старая его знакомая (фамилию он слышал впервые), просит его принять. Он приказал пропустить — в кабинет вошла Ривочка. За десять лет она, конечно, постарела, морщинки на лице и глаза усталые, но это он разглядел позже, когда она сидела напротив, ярко освещенная лампой, а сперва, когда появилась на пороге, только задохнулся, как прежде, мальчиком: *она*.

Тотчас справился с собой.

«Это у вас по мужу фамилия?»

Она кивнула.

«Давно?»

«Четвертый год. Девочке уже полгода».

«А родители?»

«Родители погибли».

«Здесь?». Он кивнул на окно.

«В дороге. Ехали в эвакуацию, а вагон разбомбили».

«А вы что ж?»

«А я жива».

Он вспомнил сверкающие корешки книг за стеклом шкафа, мраморную статуэтку — девушка, мечтающая на скамье,

«И что же делает ваш муж?»

«Он очень хороший человек. Намного меня старше. Благодаря ему я и жива осталась. Работал на Криницком заводе, инженером. Недавно его арестовали».

Ему показалось, будто кто-то туго затянул на нем ремень. Впрочем, следовало ожидать что-нибудь подобное: не для того же она явилась в управление, чтобы на него посмотреть.

«Я знаю, что он невиновен», — быстро прибавила Ривочка.

«Об этом мы с вами судить не можем».

Он что-то слышал про аресты на Криницком заводе, но завод был совсем не по его части.

«Я к этому делу не имею ни малейшего отношения».

Ривочка покорно кивнула.

Сейчас она встанет и уйдет навсегда. Сердце у него сжалось. Перед глазами, точно высвеченный лампой, возник *тот* вечер,



весь разом: толстый доктор, книги в шкафу, мраморная девушка на скамье, серебряный молочник с пенками, рябая Тося в белом переднике, *ты только не вздумай лезть целоваться*.

Он чувствовал, что Ривочка медлит, и знал, что всю жизнь себе не простит, если упустит такую возможность. Губы у Ривочки были сомкнуты печально и строго, его томило желание припасть к ним, заставить раскрыться, ответить ему, вобрать его в себя. «Опомнись, — свистел в уши страх. — Узнает кто, костей не соберешь», но не в силах был ничего с собой поделать. Крепко сжал зубы, точно перекусывая какой-то проводок, подмигнул Ривочке, обвел глазами комнату, показывая ей на стены, на потолок (она понимающе кивнула), молча написал на листке бумаги свой домашний адрес, поставил над ним: «Завтра в 7 веч.», показал ей листок (она снова кивнула), порвал, клочки положил в карман. Завтра было воскресенье, а по воскресеньям толстуха уезжала в деревню, где у нее имелся огород, и возвращалась обычно за полночь, если вообще возвращалась, иной раз оставалась ночевать у товарки в деревне. Едва за Ривочкой затворилась дверь, он, будто чары оставили его, тотчас пожалел о том, что сделал, и чуть не бросился вдогонку. Но такое было бы совсем неосмотрительно. Он стал придумывать разные объяснения на случай, если про их свидание сделалось бы известно, объяснения выстраивались толково и убедительно. И по мере того, как отступал страх, мечта о Ривочке, жестокая, тревожащая тело мысль, что теперь она в его власти, всё крепче овладевала им. Он будоражил память разными замечательными штуками, которым обучила его, когда их воинская часть стояла в Польше, податливая повариха из местных, и теперь примерял, как будет всё это проделывать с Ривочкой, при этом Ривочка возникала в его воображении не теперешней, с какой он только что расстался, а давней тоненькой девочкой, которая стоит перед зеркалом и, подняв руки, снимает через голову платье.

Вечером в воскресенье он загадя высматривал ее, прячась у окна за кружевной занавеской. Ривочка появилась перед домом, как было условлено, ровно в семь. У нее была усталая походка, — но разве он мог рассчитывать, что она на крыльях прилетит? Думать об этом не хотелось. Страх, что кто-то ее заметил, электрическим разрядом на мгновение сжал сердце, но радость предстоящего тут же охватила его, сердце застучало быстро и громко, он бросился отпирать дверь до того, как раздастся звонок — резкий вскрик звонка грубо разорвал бы нетерпеливую, заполненную лишь гулками ударами его сердца и стуком каблуков на лестнице тишину ожидания; уже на пороге он обнял Ривочку и поцеловал, — не отпугивая, коротко, как друзья целуются при встрече: «Ну, вот и увиделись!» Посреди стола сиротливо пристроились бутылка красного вина и маленький торт, купленные в служебном буфете (по карточкам не найдешь). Он принялся было тотчас разливать вино, но Ривочка отодвинула стакан: «Я не могу, у меня времени совсем мало: соседку попросила за дочкой присмотреть». Он вдруг обрадовался, что у нее времени мало, что дочка.

«Удалось что-нибудь узнать?» — спросила Ривочка.

Она присела на краешек стула, как просительница, обеими руками держала на коленях маленькую дамскую сумочку. Он снова вспомнил статуэтку — девушку с книгой на коленях, устремившую взгляд вдаль. Ривочка сидела, опустив голову, и не смотрела на него.

«Пока немного, — соврал он. — У нас ведь непросто. В чужие дела вмешиваться не положено. Ищу ходы. Может быть, что-нибудь и высветлится».

«Спасибо!», — Ривочка подняла голову и внимательно на него посмотрела.

«Если он не виноват, всё обойдется».

«Спасибо», — снова сказала Ривочка.

«А я все эти годы думал о тебе, все десять лет. Всякое, конечно, случилось, но, кроме тебя, настоящей любви в жизни не было».

Ривочка в третий раз повторила: «Спасибо».

«Я все-таки налью. Выпьем, чтобы всё хорошо кончилось».

«Хорошо, налей», — покорно сказала Ривочка и положила сумочку на стол.

Они выпили.

Он, волнуясь, прошелся по комнате, остановился у Ривочки за спиной, положил руки ей на грудь. Наклонился и, тяжело дыша, поцеловал ее шею. Она сидела, не двигаясь, и молча смотрела в окно. Там, за окном, ворона на ветке чистила перья.

«Я люблю тебя», — сказал он, не сомневаясь, что так оно и есть.

Грудь у Ривочки была маленькая, девичья. Как у той девочки, что перед зеркалом через голову снимала платье. Это вдруг, как жгучим бичом, подхлестнуло его желание; непослушными пальцами, почти обрывая, он начал расстегивать пуговицы на блузке.

«Это так надо?» — спросила Ривочка.

«Глупая! Я же люблю тебя!».

«Отвернись, — сказала Ривочка. — Я сама разденусь».

Он получил всё, что желал получить, хотя всем телом чувствовал, что она старается скрыть свое безразличие; это мешало ему и сердило его, но не останавливало; он, как задумал, заставил Ривочку испробовать острые блюда, которые мастерица была готовить польская повариха, и, когда в какую-то минуту Ривочка резко отвернулась от него и выдавила, не скрывая неприязни: «Не хочу!», он вспомнил пенку и хрипло засмеялся. Он понимал, что не любовь привела ее к нему, и все-таки ему было хорошо, может быть, он был даже счастлив, но едва всё кончилось, почувствовал неодолимое желание, чтобы она скорей ушла: неровен час, соседка вернется с огорода раньше обычного или еще что-нибудь обратится непредвиденное.

«Выходи осторожно, — предупредил он. — Оглядишься, чтобы ни с кем не встретиться».

Она не засиживалась. В прихожей на прощанье он обнял ее: «Сделаю, что смогу». Она внимательно посмотрела ему в глаза: «Я

верю. Потому и пришла». Вдруг улыбнулась, кокетливо, как встарь: «Ты раньше хороший парень был». Растроганный ее улыбкой и торопясь закончить свидание, он повторил: «Что смогу», хотя заведомо знал, что ничего он не может, и не сделает, и не захочет сделать, что срок его командировки кончается через несколько дней, и обратный билет уже выписан, и впереди ждет его новое, очень заманчивое, назначение.

7

Телевизионный конкурс подошел к концу. После того, как отчаянный парень в кожаной куртке, вздыбливая свой мотоцикл, проделал разные невероятные трюки, а следом целое семейство выстроило на сцене высокую, ломкую, как карточный домик, пирамиду из стульев, на которую и взобралось в полном составе, стали подводить итоги. Публика большинством голосов отдала первое место девице, мучившейся в аквариуме со змеями. Победительница снова вышла на сцену, почему-то по-прежнему только в бикини и лифчике, села в красный *опель*, включила мотор, торжественно погудела и под овацию зала медленно поплыла за кулисы.

*Старик* был недоволен: «Этот верблюд с шариками хоть плевать в мишень научился, а она что? Залезла в банку с водой, зажмурилась от страха, постояла три минуты и ухватила тачку. Змеи, конечно, не ядовитые — кто же разрешит ядовитых? Может, и вовсе слепые какие-нибудь, без рта, вроде червей. Тут главное брезгливость одолеть. У многих также страх врожденный. *Ребе*, вы боитесь змей?»

*Ребе* откинул паутинку от глаз и улыбнулся. Несколько минут назад ему удалось выполнить задание. Восточнее Освенцима он нашупал узкое пространство, достаточное для прохождения энергии, тотчас направил туда поток и теперь чувствовал прикосновение легкой прохладной ладони.

«Раньше боялся, но с некоторых пор перестал», — ответил *Ребе*.

...Он шел в тот день по лесу, и вдруг, у самых его ног, тропу, которой он шел, переползла большая серая гадюка. Она ползла похозяйски, не торопясь, сильными движениями толкая вперед свое крепкое, пружинистое тело, — всем своим видом она будто предлагала ему остановиться и уступить ей дорогу. Он, и вправду, в страхе отскочил назад, позабыв в это мгновение, что в руке у него топор, а на ногах, хоть и ношенная, но еще крепкая обувь, но тотчас спохватился, решительно шагнул к тому месту, где под нависшей над тропинкой зеленью скрылась змея, приподняв топором нижние ветки куста. Здесь, в укромном месте селится змеиный выводок — тонкие, как карандаш, детеныши шустро копошились на мшистой земле, между жесткими стеблями лесной ягоды. Господи, счастье-то какое — словно теплым ветром дохнуло в лицо *Ребе*, которого в ту далекую пору никто, конечно, так не называл: всё живет, растет, множится, движется куда-то, куда

нам и понять не дано! Нет, нет, не зарубишь, не затопчешь!.. «Как вам хорошо открылось, — сказал тогда Учитель. — Чувствуете в себе силу? Вот и есть, что дальше передать»...

*Ребе* за козырек осадил назад свою фуражку, смотрел на *Старика* и улыбался.

«Тот или не тот? — как всегда, вот уже который год терзал свою память *Старик*. — И если не тот, где же я его видел?»

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

#### 1

Процедуры были унижительны, достаточно утомительны, но при этом странно возбуждали *Профессора*. «Теперь спать», — старшая сестра Ильзе протянула ему снотворную таблетку в пластмассовом стаканчике. Но как раз спать после процедуры совершенно не хотелось, наоборот, он испытывал особенный прилив бодрости, голова была ясная и тело бодрое, — похоже, и правда, как утверждал доктор Лейбниц, благодаря процедуре из организма выводятся ядовитые шлаки, спутники старости и хворей. Однажды ему даже захотелось обнять Ильзе, он порывисто протянул к ней руки и взял ее за талию. Лицо Ильзе оставалось невозмутимо. «Вы слишком тепло одеваетесь на ночь» — она ловко стащила с него вязаную фуфайку, которую он любил надевать под пижаму. Бедный Профессор не узнал, что в тот вечер в его карточке появилась запись о попытке сексуального притязания; это дало основание доктору Лейбницу добавить ему кое-какие медикаменты и установить за ним более строгое наблюдение.

И на этот раз снотворное после процедуры не подействовало. *Профессор* включил над кроватью свет и снова взялся за роман. Если бы он не был убежден, что доктор Лейбниц не может знать мучительные подробности его жизни, он предположил бы, что тот умышленно подsunул ему эту книгу. Он-то рассчитывал на легкое чтение, *крими* какой-нибудь, не тревожащий душу и дающий дополнительное упражнение в языке, а роман глава за главой заглядывал его в самые неудобные углы памяти, возвращал к тому пережитому, которое, если даже подчас отодвигалось в сторону под натиском свежих впечатлений, никогда его не оставляло.

#### 2

...Героем романа оказался университетский профессор, достигший почтенного возраста и, казалось, полного преуспевания. Жизнь его была не увлекательна, но и не утомительна: не увлекательна, но и не утомительна была его работа, не увлекательна и не утомительна была его жена, и он сам, сознавая, что уже достиг своей вершины и никуда более взбираться не придется, к тому же нет и необходимости, как бы лишь прогуливался по устроенной на вершине смотровой площадке, обозревая привычные и приятные

глазу окрестности, и всё более сам становился, он чувствовал это, человеком не увлеченным и не утомительным. Он пошучивал над собой, повторяя вычитанный где-то афоризм Шатобриана, что счастье есть однообразие житейских привычек, при этом понимал, что для того, чтобы не утратить это счастье, следует иногда ворошить, вспенивать установившееся однообразие: ненадолго, но жестко контролируя процесс, привпускать в свою жизнь некоторую долю хаоса, а затем, почувствовав, что зашел слишком далеко и начинаешь испытывать незапланированное увлечение и утомление, вновь возвращаться к привычному существованию, становящемуся после таких отступлений (приятель-психолог называл их *фатическими*) заново привлекательным. Время от времени он охотно принимал приглашение на какое-нибудь рискованное научное сборище, где можно было получить не только причитающуюся по заслугам дозу признания, но и крепкий нокдаун от засветившегося на ученом небосклоне бунтаря, затевал острую журнальную полемику, отправлялся в экзотическое путешествие (побывал даже в Антарктиде), заводил краткосрочную любовницу или попросту разрешал себе изменить жене. Он — профессор из книги — с малолетства водил машину и всегда водил ее охотно и радостно. Машина, летящая по автобану, была не просто продолжением его самого, но при этом еще и выгороженной частью пространства, где он ощущал себя легко и освобожденно, не испытывая, как он объяснял, ни земного притяжения, ни давления атмосферы. Еще мальчишкой обрел он совершенную уверенность водителя, эта уверенность, тоже еще в мальчишестве, обрела словесное выражение в виде формулы: *ситуацию на автобане создаю я сам*. Странно, что при любви к цитатам профессор из книги не укоренил в памяти известного изречения, что за рулем может себя чувствовать в безопасности любой дурак, пока навстречу ему не едет другой дурак.

Началом аварии стал тот момент, когда во время очередного семинара профессор из книги увидел напротив себя за столом студентку, которую прежде никогда не замечал. Барышня, впрочем, была ничем не выдающаяся, и, если бы не возникла прямо перед его глазами, он вряд ли бы обратил на нее внимание: обычная студентка в черном облегающем свитере и джинсах, с темной щеточкой коротко стриженных волос — из тех мелких, худеньких, низкорослых девчонок с бледными, рано потрепавшимися мордочками, которых пруд пруди в университетской толчее. Он бы не придал появлению этой новой особы ни малейшего значения (ну, спросил бы во время перерыва, что привело ее к нему на семинар), если бы не почувствовал тотчас, как увидел ее странно-внутреннего беспокойства. Девчонка, заметно сдерживая улыбку, с веселым любопытством смотрела на него, — сам ли он говорил или слушал кого-нибудь из студентов, она всё смотрела, и в глазах ее и в губах дрожала скрываемая улыбка. Он обеспокоился, что у него непорядок в одежде (на этот счет он был к себе весьма придирчив), но всё было на месте. Он прислушивался к своим

словам (и это мешало ему), приглядывался к схемам, которые, хотя темы его семинара были самые метафизические, любил чертить на доске, всё было как всегда, и привычные лица других студентов подтверждали это. Всё было как всегда, кроме жужжащего беспокойства, вызываемого присутствием незнакомки. Он ждал перерыва, чтобы спросить, что ей нужно и найти повод послать ее подалее, но едва объявил перерыв, в комнату вошел сотрудник деканата с какими-то бумагами. Профессор стоял и разговаривал с ним, на минуту упустив из памяти незваную гостью, но она напомнила ему о себе: подступила сзади и запросто потянула за рукав. Ей, к сожалению, нынче некогда остаться на вторую половину семинара, но она положила ему на стол свою работу и в пятницу вечером пойдет поговорить о ней к нему на Мельничную. Он был ошеломлен ее наглостью, тем более при сотруднике деканата (было бы в равной степени глупо как-то объяснить или не объяснить ему случившееся), всего же более его ошеломило упоминание Мельничной улицы: там была у него небольшая однокомнатная квартира, его ученый кабинет, там проводил он часы уединенных занятий, размышлений о жизни, откровенных бесед с несколькими друзьями, только и знавшими об этом убежище. Ни одна женщина не переступала порога на Мельничной; даже супруга, обозначая уважение к его самостоятельности, ни разу не зашла туда. Отделавшись наконец от собеседника, профессор из книги поспешил к столу, чтобы заглянуть в оставленную девчонкой увесистую папку: в ней вместо обещанной студенческой работы лежала напечатанная типографским способом, очевидно купленная в нотном магазине партитура балета Стравинского «Весна священная».

Проце всего было бы посчитать эту историю розыгрышем, но профессору из книги отчего-то сделалось не по себе. Он попытался распросить кое-кого из студентов о таинственной посетительнице, никто не знал о ней ничего, лишь одна девушка припомнила, что видела ее на химическом факультете (причем тут химия? — у профессора отношения с химией были весьма далекие) и что имя ее Натали, друзья зовут ее Ли.

Сперва профессор почувствовал приступ ярости, что в последние годы происходило с ним весьма редко и, как правило, по какому-нибудь незначительному поводу (например, при обнаружении на переднем стекле автомобиля живописного мазка черного птичьего помета), потом в странном смятении решил было, что вовсе не пойдет в пятницу на Мельничную, тут же раздраженно обуздал себя: не хватает только отказаться от любезной сердцу квартиры из-за того, что туда угрожает ворваться наглая девчонка. Он подумал также о полиции, но тотчас решительно отверг эту мысль: еще яйцо не снесено, а шум поднимется точно снесена планета, — вполне достаточно пригласить на пятницу пару друзей и сообща устроить шантажистке хорошую выволочку. В такого рода размышлениях, подчас почти лихорадочных (жена, заметив, что с ним происходит нечто необычное, забеспокоилась

даже о его здоровье), прошли два дня до пятницы и первая половина пятницы. Иногда ему удавалось убедить себя, что нелепо произошло всё же, конечно, не более чем розыгрыш, но как только он начинал верить в это, его охватывало горькое разочарование, почти отчаяние. Что бы он ни придумывал, в глубине души он, страшась и нестерпимо желая, ждал продолжения и знал, что в пятницу непременно будет на Мельничной, и непременно один, и она придет непременно. Он не понимал, зачем ему это нужно, и, более того, понимал, что это ему совсем не нужно, но чем ближе подступал назначенный час, чем сильнее были смятение и тревога, тем сильнее желал этого.

В пятницу после занятий он поспешил на Мельничную, замечая, что торопится, и раздраженно коря себя за это. В квартире было сумрачно, шторы задвинуты, пахло обкуренными трубками, которыми он иногда баловался, размышляя в одиночестве. Профессор вынул из портфеля бумаги и бросил на стол, уговаривая себя, что скорей всего ему предстоит вдоволь поработать нынешним вечером и что усердная работа будет лучшей насмешкой над дурацкой тревогой минувших дней, но едва он успел скинуть пиджак, в передней раздался звонок. Так судьба стучится в дверь. — цитата автоматически прокатилась в памяти. Он нажал пружину замка, дверь распахнулась, будто выстрелила. Девчонка стояла на пороге и улыбалась. «У тебя еще и зуба нет», — сказал он сердито. Она больно обняла его за шею и поцеловала в губы. Он попробовал отстраниться: «Слушай, я старше тебя на сорок лет!» Она хрипло засмеялась: «А я тебя на вечность». Он подхватил ее на руки и понес в комнату. Свитер и джинсы облегли ее плотно, как кожа, он с трудом сдирал их. Когда всё случилось, стремительно и остро, профессор из книги с ясной, будто высвеченной прожектором очевидностью понял, что в это мгновение жизнь его переломилась, что годы, которые ему придется теперь доживать, никак не приложить, не приклеить к тем не увлекательным и не утомительным годам, что остались позади...

Только позже они заметили: входная дверь осталась нараспашку: появившись кто-нибудь на лестнице, мог бы заглянуть, не случилось ли чего...

### 3

Господи! Так оно всё и было! Так оно всё и было...

Задыхаясь от волнения, *Профессор* отложил книгу в сторону.

Так оно всё и было.

Звонок из редакции какой-то неведомой молодежной газеты, просьба об интервью — и собственный голос, услышанный будто со стороны, как чужой, когда он (при его всегдашней опасливой щепетильности во всем, что касалось выступлений в прессе) почему-то охотно, даже поспешно согласился тотчас принять корреспондента. И получаса не прошло, послышался сигнал в домофоне (в Москве настало уже время железных дверей и осадных предос-

торожностей), он, точно подстегнул кто-то, бросился спрашивать и отворять, лифт загудел шмелем и в голове загудело, и мир перед глазами вдруг начал ломаться и множиться, будто увиденный сквозь граненую пробку флакона от духов, чья-то рука в подъезде лишь потянулась к звонку — дверь распахнулась, точно сама собой. Темные сияющие глаза, темные прямые волосы, челка — эдакая маленькая московская Мирей Матье. Крепкое пожатие маленькой руки: «Так вот вы какой!» Она смотрела на него снизу вверх, пухлые плотные губы слегка приоткрыты. Но в это мгновение еще ни мысли, ни желания прижать ее к себе, поцеловать. «Боже мой, я ведь в шлепанцах, забыл туфли надеть!» — спохватился он и нелепо — он чувствовал: по-стариковски — переступал ногами, в нахлынувшем смятении безуспешно решая, как ловчее пропустить ее из тесной прихожей в комнату, а она к тому же всё пожимала его руку нежной крепкой ладонью: «Так вот вы какой!» Наконец они, как в комедийной мизансцене, вместе протиснулись в дверь, она будто поневоле тесно прижалась к нему и снова отступила, это быстрое прикосновение упругого тела обожгло его, он порывисто склонился к ней. «Так вот вы какой!» — она засмеялась и подставила ему губы.

... Два года минуло с тех пор, как неожиданно умерла Амалия, с которой *Профессор* прожил десять счастливых лет. И хотя, пока они были вместе, возле него время от времени появлялись другие женщины, ее уход стал для него освобождением не от уз супружества, как это нередко бывает, особенно у мужчин, но внезапным освобождением от зова пола: словно с собой унесла Амалия постоянно горевший в нем и то и дело ярко вспыхивавший интерес к женщине, который был, казалось, неотделимой частью его существа. Дети откровенно вынашивали намерение, воспользовавшись случаем, снова воссоединить его с их матерью, Анной Семеновной, но, если всякая мысль об обладании женщиной теперь вообще сделалась чужда ему, то предположения о совместной жизни с прежней женой, к тому же постаревшей на десять лет, воспоминания о ее привычках, о ее теле, давно нелюбимом и нежеланном, о подробностях ее одежды попросту отвращали его. Тем не менее, он согласился вместе с детьми подать документы о выезде в Штаты, куда они намеревались взять и Анну Семеновну, и даже не отказывался, если это окажется необходимым, заново — но только фиктивно! — зарегистрировать брак с ней: одинокой старости он страшился еще больше.

Сперва он предпринимал попытки, вопреки нежеланию духа и тела, восстановить свое мужское начало. Знакомый врач, к которому *Профессор* рискнул обратиться, весело посоветовал ему искать помощи не у медицины, а у женщин. Но заветные встречи с женщинами начали обретать в его исполнении откровенно комический характер. Однажды после затянувшегося вечернего заседания он потащился провожать до гостиницы приехавшую к ним в институт на конференцию иногороднюю сотрудницу. По дороге он, болтая о разной ерунде, пытался представить себе свою



спутницу в минуты близости, и при этом чутко прислушивался к своему телу — прозвучит ли что-нибудь в ответ, хотя уже по одному тому не надеялся ничего услышать, что представляла себе и прислушивался. В гостиничном номере он с заученной страстью поцеловал даму, умело помог ей раздеться, опытным взглядам примечая разные уютные частности, которые прежде привели бы его в чрезвычайное возбуждение, после чего укрыл ее одеялом, пожелал спокойной ночи и удалился. Дама оказалась незабываемой: на другой день она сказала ему, смеясь: «О вас тут легенды рассказывают! Дон Жуан! А вы, оказывается, всего-навсего прекрасный Иосиф». Так, прекрасным Иосифом прожил он два года, пока судьба крепкой, безжалостной рукой не перемешала, не переиначила всё в его позднем, остаточном времени.

...«Меня, между прочим, зовут Вика, Виктория», — сказала гостья. — Ты только не уходи». Не уходи! Да ему чудилось, он, как дерево в землю, навсегда врос в это маленькое ладное тело, из которого сильными толчками врываются в него горячие соки жизни. Он был счастлив и ненасытен. Четырехугольник окна посинел, по нему медленно плыл тонкий серп молодого месяца. «Видишь, это наш ребенок, — сказала Вика. — Вот он родился и начинает расти. И теперь он будет расти, расти, и станет большим и крутым». «Но потом начнет сходить, — огорченно сказал Профессор. — И в конце концов совсем сойдет. И его не будет». Он почувствовал отчаяние оттого, что такое случится и что нет никакой возможности предотвратить это. «А мы нового родим», — засмеялась Вика.

Потом она спала, закинув руки за голову, уверенно разбросав по дивану свое маленькое тело, дыхание ее было ровно и уверенно, а Профессор смотрел на нее, всем существом не столько сознавая, сколько чувствуя, что с появлением этой маленькой женщины жизнь пойдет иначе, он не ведал, как, но совсем по-другому, возможно, неожиданно и опасно, и поселившаяся вдруг где-то в самой глубине его души тревога, протискиваясь в какие-то трещинки и щелки охватившего его было счастливого покоя, начала тихонько точить его, будто сверчок в укромной камерке пробовал свой инструмент.

Профессор смотрел на освещенное светом ночного неба спокойное лицо женщины, лежавшее у его плеча, и вспоминал, как в пору далекого детства толстая няня Матреша закрывала ему, мальчику, лицо большой мягкой ладонью: «От солнца свет, а от луны смута».

4

И правда, жизнь вскоре повернула на такую же, хотя, конечно, в чем-то на свой лад, тряскую, опасную поворотами дорогу, что и у профессора из книги, которую, чудилось ему, наверно, неспроста подсунил ему доктор Лейбниц: осуждение, насмешки, нелепые слухи и непонятно почему распадающиеся отношения с давними приятелями, непонимание среди своих семейных и не-

довольство руководителей института, которым досаждали письмами и звонками родители Вики, энергичные — на двадцать с лишком лет младше *Профессора* — господа из новых господ, желавшие оградить дочь от посягательств старого сатира, точно она была затворницей из монастырского интерната, а не повивавшей виды московской редакционной барышней, чей современный любовный опыт подчас смущал пусть искушенного, но, как он вынужден был убеждаться, несколько старомодного почтенного возлюбленного. Но всё это стоило вытерпеть ради того ежевечернего счастливого часа, когда Вика появлялась у него и первое же ее прикосновение было, как электрошок, который вновь заставляет биться остановившееся сердце. Едва она оказывалась рядом, настоящее переставало иметь значение, истаявало со всеми сложностями и неприятностями, как весенний ледок, — перед ним открывалось утраченное уже было пространство будущего.

Вскоре в минуты мечтаний, являющие собой не менее существенную, чем ласки, часть любовного времени, как-то почти само собой обозначилось, что им надо ехать в Германию, благо оба знали немецкий, он — с детства, со времени приходивших на дом с частными уроками сперва Гертруды Фрицевны, потом Минны Эдуардовны (войну *Профессор* прошел переводчиком при штабе дивизии), Вика учила язык в университете. Планы у Вики (она называла их по-современному: *проект*) были наполеоновские: чуть ли не газету она там, в Германии, намеревалась издавать. «И еще мы родим ребенка, — говорила она. — Я читала, что самые выдающиеся дети рождаются у молодой матери от старого отца». Это *старый* язвило его, но как иначе обозначить пролеглие между ними полвека (разве что промолчать?). «Я уже не успею вырастить ребенка», — печально говорил он. «Ничего, я всё сама сделаю»... Будущее снова распахивалось перед ним. Но после, прижимаясь щекой к волосам одарившей его счастье маленькой женщины, он смотрел на темное небо за окном и, не желая того, слышал назойливую песенку, доносившуюся из укромной каморки сверчка.

Дети, сын и дочь, сердились на него, и обижались, и жалели его. Они с малолетства были привязаны к отцу, и это удивляло *Профессора*. Он корил себя за то, что не давал им многого, что мог бы дать, мысленно оправдываясь перед ними, а не перед женой, за свои романы и измены. Когда наступила пора окончательного решения, сын позвонил ему по телефону: «Хоть ты и упираешься, мы всё равно возьмем тебя с собой, одного не оставим». Говорил бодро, но *Профессор* слышал в его голосе и раздражение, и печаль. Он нервно засмеялся: «Что значит, *возьмем*? Я не чемодан, который можно взять или забыть в пустой квартире». Сын позвонил не вовремя: Вика в клетчатом хаалате *Профессора*, который был ей очень велик, сидела, по-турецки скрестив ноги, на диване и изучала немецкие путеводители. *Профессор*, обернувшись, подмигнул ей и прибавил совсем весело: «А если я и чемодан, то тяжелый, с большим перевесом». «Ничего, — сказал сын, — если понадобится,

оплатим перевес, но лучше заранее разгрузить чемодан до нормы». *Профессор* хмыкнул и повесил трубку. Дочь приехала уговаривать его: «Ты уверен, что эта женщина, которая вдвое моложе меня и могла бы быть твоей внучкой, обеспечит тебе необходимый уход». Он отозвался сердито: «Я выбирал не сиделку, а жену». Взял руку дочери в свою и поцеловал: «Кура моя, мне хотелось бы умереть рядом с тобой, но теперь это невозможно. Одна надежда, что успею дожить стоя, а не лежа». Дочь заплакала. В детстве по воскресениям она заползала утром к отцу в постель, он читал ей сказки, и они называли друг друга сказочными именами: *кура-окурава* и *петух-петушухно*.

## 5

Ночная дежурная фрау Бус, большая и толстая, заметила свет в комнате *Профессора* и вплыла к нему. *Профессор* сидел на кровати, его лицо было залито слезами. «Пф, пф, — раскрасневшись, запыхтела добрая фрау Бус. — Что случилось? Всё хорошо. Всё хорошо». Она обняла *Профессора* за плечи и начала укладывать на подушки. Он уткнулся мокрым лицом в ее белый свеженакрахмаленный передник. «Было страшно, а теперь страх зайчиком ускакал», — говорила ему в детстве няня Матреша, выключив свет в комнате и обнимая его перед сном. И он вправду видел зайца, такого, как на картинке в книжке, с белым ярким зеркальцем под хвостом, который скакал прочь в кусты. Огромная мягкая грудь фрау Бус низким облаком нависла над ним. Сделалось спокойно и тихо. Он всхлипнул еще раз-другой и заснул.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

## 1

В так называемые *свободные* часы (хотя, кроме доживания отпущенных каждому из них часов жизни, обитатели *Дома* никакими заботами обременены не были) те, кто передвигался самостоятельно и понимал, куда движется, неспешно направлялись в холл. Тех же, кто по слабости тела, а также по слабости ума самостоятельно не передвигался, привозили сюда в высоких креслах — в этих креслах, отделенные от прочего мира столиком-перегородкой, они проводили весь день, спали, или, казалось, что спят, подчас бормотали что-то, суетливо или, наоборот, раздумчиво шевелили пальцами, строя из воздуха какие-то фигуры перед собой, сосредоточенно уйдя в себя, думали о чем-то своем, никому не ведомом, порой же с напряженным блеском глаз тревожно всматривались, вслушивались во что-то, тоже ведомое лишь им самим.

## 2

«Представьте себе, дамы и господа, что вы находитесь на телефонной станции... — *Старый Фриц* всегда обращался к собесед-

никам, даже если перед ним сидел один человек (даже если вовсе никого не было, но вызрела потребность говорить), так, будто держал речь перед солидной аудиторией. — ...Не на нынешней телефонной станции, где повсюду сплошь автоматические устройства, в зале никого, только маленькие лампочки вспыхивают там и здесь, показывают соединение — на старинной станции, какие были в наше время. Мне пришлось недолго работать на такой в годы войны. Перед вами десятки проводов со штекерами на конце, и вы должны, услышав в наушниках названный номер, быстро схватить нужный штекер и воткнуть его в нужное отверстие на щите. Вы меня поняли, уважаемые дамы и господа?.. Теперь представьте себе, что все эти десятки или сотни проводов лежат перед вами спутанные, кучей, как спагетти в миске, и дырки на щите бесмысленно на вас уставились, потому что вы не помните, какая из них что обозначает, а в этот момент вам в уши кричат номер телефона. От страха, от растерянности, оттого, что ничего другого не в силах сделать, вы хватаете первый попавшийся провод и суете штекер в первую попавшуюся дырку. В итоге Наполеон Бонапарт, вместо того, чтобы отдать приказ о расстановке сил под Ватерлоо или узнать у супруги о здоровье наследника, беседует с китайским императором Вень Гуном или ближайшей службой такси... Примерно то же самое происходит в нашем мозгу с наступлением старости: время невосвратимо пожирает большую часть нервных клеток, а оставшихся слишком мало, чтобы найти нужный номер. И врач, побеседовав с вами несколько минут, печально качает головой и пишет в вашей карточке неприятное слово *деменция*, и вы всё чаще слышите возле себя имя доктора Альцгеймера...»

## 3

Холл был всегда красиво убран, персонал об этом заботился. Каждые несколько месяцев оформление интерьера менялось. Помещение являло собой то охотничью хижину, то старинную кухню с очагом и полками посуды дедовских времен, то деревенский сарай, где по стенам были развешаны тележные колеса, дуги и упряжь, который затем уступал место выставке современно художника. Один угол был отгорожен высокой до потолка сеткой, за ней птицы щебетали, перепархивая в ветвях стоявшего в кадке дерева. Была еще и одинокая, всеми любимая птица Керри, обитавшая в отдельной клетке, — большая, черная с ярким желтым ожерельем; скрипучим голосом она охотно произносила разные слова, например: *алло, морген* или (сглатывая) *ауфвидерзеен*. Но как бы ни преобразовывалось пространство холла, одно оставалось неизменным — большой транспарант на стене напротив окна, под часами (циферблат изображал улыбающийся круг солнца).

*Mach es wie die Sonnenuhr —  
Zähl die schönen Stunden nur! —*

стояло на нем. То есть: поступай, как солнечные часы — считай лишь счастливые часы!

В холле властвовал *Старый Фриц* — так называли все этого удалого поджарого старика с обветренным лицом морехода и светлыми, веселыми, как новый серебряный талер, глазами. На самом деле был он не Фриц и не Фридрих, и уж тем более не Фридрих Великий, чье легендарное имя — *Старый Фриц* — он присвоил или получил где-то когда-то: как бы там ни было, все называли его *Старый Фриц*.

*Старый Фриц* был замечательный эрудит. Кажется, не возникало проблемы, в которой он чувствовал бы себя несведущим, разговора, в котором не имел бы сообщить собеседникам что-либо интересное. Говорили, будто прежде он преподавал в гимназии историю и географию, ему приписывали также какие-то таинственные эзотерические путешествия по Востоку, сам он объяснял свои обширные познания тем, что в детстве был мелким и низкорослым: когда он садился за стол, матушка подкладывала ему под задницу толстенный энциклопедический лексикон. — «Я впитывал всё, что там написано, как растение всасывает соки земли». Даже по территории доктора Лейбница — в пространстве медицины — *Старый Фриц* прогуливался уверенно, как по собственной комнате.

«Я принес из сада розу и подарил ее нашей милой фрау Хильдебрандт, — рассказывал он. — Фрау Хильдебрандт взяла розу и опустила ее цветком вниз в стакан с минеральной водой. Она еще помнит, что цветы ставят в воду, но уже не помнит каким концом и в какую воду. Потом она забудет, что цветы ставят в воду. Потом, наверно, вообще забудет, что такое цветы. Мы, дорогие дамы и господа, катастрофически вырождаемся. Каждый год в Германии двести тысяч человек забывает, каким концом ставят цветы в воду. Если так пойдет дальше, через пару десятков лет пять процентов нации будут держать цветы в вазах вниз головой. Пять процентов!.. Общественно развитые страны оплачивают прогресс душевным здоровьем и в состязании на приз доктора Альгеймера непременно выигрывают с хорошим счетом у менее развитых. При тоталитарном режиме вас постоянно бьют по рукам и по голове: делай так, думай так. И постепенно ваши действия и мысли приобретают необходимый режиму автоматизм. Никто не размышляет о том, где у розы какой конец и почему ее надо ставить в воду, а не в молоко. Всё неукоснительно ясно. Надо экономить на дровах, уметь собрать затвор винтовки, выпороть нашкодившего ребенка, ходить по воскресениям в церковь или отдать жизнь за кого положено. При тоталитарном режиме мозг отучен от разномыслия, к которому в наших демократических оранжереях дитя приучают, едва оно начинает лепетать. «Представьте себе, наш малыш схватил розу и поставил ее вниз головой в кружку с молоком!» — «Поразительно интересно! Какой замечательный мальчик! Из него непременно получится что-нибудь необыч-

ное!» И только позабытый в углу прадед, не успевший вполне переартировать демократическое жаркое, ворчит недовольно: «Врезать бы ему хорошенько по заднице!»

«Брра... Брра... Брраво!» — поддержала оратора птица Керри. *Старый Фриц* весело сверкнул глазами и погрозил ей пальцем.

«В старинной книге я нашел однажды забавный рассказ. Встречаются двое. Один спрашивает другого: «Кто вы такой?» Второй отвечает: «Человек». — «Кто?» — «Человек». — «Это я понял. Но кто еще?» — «Просто человек». — «Но *просто* человека, человека *вообще* не бывает. Человек еще непременно солдат, врач, механик, портной... Так кто вы такой?» Вы понимаете, мои дамы и господа? Мы прежде всего хотим быть людьми вообще и таковых видеть вокруг, и от этого увязаем в диалектике, борьбе и единстве противоположностей, разнообразии мнений и возможных решений. Очень жаль, но с этим ничего не поделаешь: чем больше в человеке человека вообще, тем охотнее подхватывает его под руку доктор Альцгеймер...»

## 5

«Тарахтит, мешает работать, однако интересен, — прислушиваясь к речам *Старого Фрица*, думал *Ребе*, возившийся в уголке со своими вычислениями. — Между тем, дело, может быть, обстоит совершенно иначе. Наступает момент, когда человеку необходимо становится, самому того не сознавая, оборвать проводки телефонной сети, выгородить себе пространство вокруг, чтобы побыть в нем один на один с собой, что-то додумать в своих исканиях, довести до конца без участия тех, кто образует мир вокруг, вот хоть без этого шумного *Старого Фрица*, который всё знает и всё, что знает, считает необходимым сообщить другим. От жизни, которой живет человек, замкнувшийся в выгороженном им пространстве, до нас иногда доходят лишь случайные обрывки сигналов — тут, там два-три штекера вдруг оказываются неосознанно воткнуты в отверстия на щите и доносят разрозненные отзвуки происходящего за воздвигнутой стеной. Нам эти сигналы кажутся безумием, бредом, восстановить по ним целое несравнимо труднее, нежели древнюю вазу по найденному черепку, нередко это попросту невозможно, тогда как для человека по ту сторону стены они, может быть, исполнены смысла. Точно такой же нелепостью кажутся, наверно, этому человеку за стеной доносящиеся от нас сигналы. Как будто жители двух планет нежданно выхватывают своими антеннами из космоса случайно выброшенные туда слова, несущие отпечатки иной, неведомой жизни. Для фрау Хильдебрандт, уронившей голову на грудь и будто дремлющей в кресле на колесах, роза, поднесенная Старым Фрицем, может быть, нечто совершенно иное, чем для него. Так же, как для птицы, мухи или собаки. Или — кто знает? — может быть, цветы у нее там ставят в воду вниз головой?..»

«Только не подумайте, уважаемые дамы и господа, что я хоть в чем-либо противник демократии, — *Старый Фриц* отчаянно замахал руками, показывая, что подумать так было бы непоправимой ошибкой. — Тот, кто пережил национал-социализм, готов платить за демократию любую цену. Я готов лучше водить компанию с доктором Альцгеймером, чем быть скроенным по общей мерке дрессированным подданным, исполняющим всякую команду, как собственное желание. Гитлер неслучайно уничтожал душевнобольных: ведь душевнобольные — то же, что инакомыслящие. Он не знал, о чем они думают, и не мог приказать им думать, как ему хотелось. Он уничтожал душевнобольных, потому что они портили расу. Общность мысли была признаком чистоты расы...»

Ребе поднял голову от расчетов, осадил фуражку на затылок, отогнал ладонью набежавшую паутинку.

«Между прочим идею уничтожения душевнобольных подсказал фюреру простой честный гражданин Третьего рейха и законченный патриот. У честного патриота был сын, подросток, с несколько подпорченными от рождения мозгами. Вместо того, чтобы посещать школу, вступить в гитлерюгенд и в конце концов стать солдатом и пасть за фюрера, он сидел дома, молот чужь и вдобавок намазывал на хлеб возмутительно толстый слой мармелада. И не в силах вынести такой беспорядок честный патриот и несчастный отец сочинил письмо фюреру и попросил, чтобы ему разрешили самому прикончить неудавшегося парня, который портит чистоту расы, не приносит пользы родине и зазря ест народный хлеб...»

*Старый Фриц*, желая усилить эффект, сделала паузу и обвела взглядом собеседников; его глаза возбужденно круглились.

«...Здесь в игру вступил некий почтовый чиновник при фюрере — в рейхсканцелярии имелся такой доверенный господин, который просматривал всю поступавшую туда обширную корреспонденцию. Этот ушлый господин, от которого немало зависело, а именно подать или не подать какое-либо письмо наверх для личного ознакомления, сообразил, что вопль честного патриота — сущий клад и большая политика, и, соответственно, ступенька в его, чиновника, карьере. Он положил письмо на отдельное блюдо и с необходимыми комментариями поднес фюреру...»

«И что же? — *Ребе* нетерпеливо перебил *Старого Фрица*. — Разрешили патриоту убить сына?»

«Доподлинно это неизвестно. Похоже, государство взяло работу на себя. Государство любит само убивать своих подданных. Но письмо стало звуком рога, начавшим охоту. Я докопался до этой истории лишь много позже. У меня здесь был свой интерес: моя младшая сестра была не в себе, родители держали ее у какой-то дальней тетушки в Чехии — все-таки протекторат, подальше от старательных глаз.»

«Арр-р-ш!» — сердито подытожила черная с желтым ожерельем птица Керри.

И кто только мог научить ее такому слову в этой тихой заводи.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

«Вам не кажется, милый *Ребе*, что здесь всегда полнолуние, — спросил *Профессор*, стоя вечером у окна. — Никак не захвачу молодой нарождающийся месяц. — Как ни взгляну в окно — эта тарелка».

«Полная луна располагает к мечтаниям. Жаль, что мы туда добрались — теперь уже никаких иллюзий: камни и пыль, как на проселочной дороге где-нибудь под Херсоном».

*Ребе* вспомнил: таежными ночами в просветах неба между верхушками деревьев пыл полный месяц, он жадно смотрел на эти синеватые разводы и пятна, ему мерещились моря и горы, и по склонам гор ступеньками к небу города, скалистые башни и стены, что-то вроде Тибета, о котором он, впрочем, и не знал ничего толком.

«Что это вы, друзья, на луну напустились? А? — подospel к разговору *Старик*. — Это от старости. Луна — планета молодых, влюбленных. Вот и любовные стихи — всегда про луну. А про солнце — что? *Ярче брызни?*..»

«Я вовсе не нападаю на луну, — стал оправдываться *Профессор*. — Просто заметил, притом шутя, что здесь всегда полнолуние».

«Держите это при себе. Донесет кто-нибудь доктору Лейбницу, получите дополнительную таблетку».

*Старик* засмеялся.

«А что, дорогой Профессор, может быть, вам, в самом деле, влюбиться? Если силы есть и охота. Вот хоть фрау Бус, чтобы далеко не ходить. Женщина еще в соку и всего много. Даже поговаривают — девица. А? Сразу луну полюбите».

*Профессор* покраснел: «Но это уже слишком».

«Пора спать», — *Ребе* за козырек натянул фуражку на самые глаза.

«Идите первый, — предложил *Старик*. — А то я потом надолго займу сортир».

### 2

...Когда он очнулся, то подумал было, что его убили — и обрадовался. Неужели так оно теперь и будет — совершенный покой, тишина, ни грохота, ни лязга, ни криков, ни страха, ни спешки, ни ожидания смерти, ни переменчивой надежды, которую то и дело упускаешь из рук и снова схватываешься за нее,



как дитя за ниточку воздушного шарика, ни жестокой необходимости убивать и быть убитым, ни стертых в кровь ног, ни плеч, натруженных ружейным ремнем, вещмешком, шинельной скаткой, неужели так оно теперь и будет, что сможешь вольно лежать на теплой земле, не чувствуя тела и не мучаясь душой, лежать, раскинувшись, и, закрыв глаза, смотреть в огромное, безмолвное, неподвижное *никуда?*..

Тут он открыл глаза и увидел совсем рядом, справа, большой, тяжелый сапог, — это был немецкий сапог, из прочной свиной кожи, с крепкими, не сношенными подошвами, будто и не отшагали они по дорогам и бездорожью недобрую тысячу километров. И когда он, худенький, глазастый, с вьющимися светлыми волосами юноша, которого тогда никому в голову не пришло бы именовать *Ребе*, увидел этот немецкий сапог, он тотчас почувствовал боль во всем теле, будто его били мешком, наполненным камнями; ему показалось, что голова у него не круглая, а мятая, топорщится гранями, и в голове было гулко, как бывало в детстве, если, купаясь, нырял глубоко и набирал в уши воды, рот свело от сухоты и горечи, и на зубах хрустел песок. Он услышал раздававшийся со всех сторон короткий лай команд, изредка одиночные выстрелы, голоса деловито перекрикивавшихся немцев. Заметив, что он открыл глаза, сапог качнулся и несильно, но больно ударил его по голове. И тотчас сверху, почудилось, с неба, раздался приказ *встать! руки вверх!* сапог снова качнулся и снова несильно, но больно его ударила, и он, преодолевая боль и слабость, поспешил подняться, не заставляя повторять приказ, — он учил немецкий в школе и в Московском университете, где успел окончить три курса математического, не говоря уже о том, что тысячекратно повторяемое *хенде хох!* с первых дней сделалось наизусть известным личному составу Красной армии. Владелец сапога, желтоволосый немец в очках, показал ему идти впереди и повел к теснившейся у обочины дороги темной толпе пленных.

Потом, окутанные облаком пыли, они шли колонной по разбитой проселочной дороге, той самой, по которой накануне торопливо уносили ноги от следовавших по пятам *преобладающих сил противника*, как писали в сводках командования, шли, не останавливаясь, подстегиваемые — *Быстро! Быстро!* — командами конвоя, и когда какие-нибудь из пленных, раненые или изнеможенные, не в силах были идти дальше или замедляли взятую скорость движения, таких, опять же не останавливая колонну, выдергивали на обочину и пристреливали, тут же, без лишних слов, не обращая внимания на совершаемое убийство, как прихлопывают, не отвлекаясь от дела или разговора, севшего на лоб комара.

Один раз, впрочем, у придорожного колодца раздалось *стой!*, и пленные возмечтали было, что сейчас им позволят напиться, но конвойные, черная ведром воду и поливая друг друга, умылись, наполнили свежей водой подвешенные у пояса алюминиевые фляги и тут же приказали следовать дальше. Время от времени шагавший пообок от колонны в своих крепких сапогах желтоволо-

сый немец, придерживая очки, запрокидывал голову и вливал из фляги в рот несколько глотков воды, и в эту минуту светлому юноше с большим синяком под глазом, которого никому бы в голову не пришло тогда назвать *Ребе*, виделось всякий раз, что он купается в запруде у мельницы, где всегда купался, когда летом с отцом и матерью жил в деревне на даче, — ныряет глубоко и плывет с открытыми глазами в желтоватой воде, сквозь которую, высвечивая дно, пробиваются лучи солнца, и видит, как на бревенчатых сваях, заросших мшистыми водорослями, шевелятся черно-зеленые волосы.

Рядом с ним в колонне шел пожилой солдат, много его старше, с седыми висками и седой щеточкой усов, по имени Виктор Иванович, — этот Виктор Иванович толковал вполголоса, что главное продержаться первые день-другой, а дальше, так ли этак ли, беспременно повернется к лучшему. «Чего нам с тобой бояться? Мы с тобой не евреи, не коммунисты, не командиры. Этих-то быстро в расход, а нам с тобой — что? Ну, в лагерь отправят. Я в советском четыре года был. Видишь, живой. Работать будем. Войне-то, всем видать, скоро конец». «Я добровольцем пошел», — обиделся юноша, в котором никто еще не узнавал *Ребе*. «Добровольно пошел, добровольно и уйдешь. Не мы с тобой эту войну придумали, не мы ее и просрали. Орали, орали: чужой пяди не хотим, своей вершка не отдадим! А вышло: и на чужую рот раззявили, и своя — где она? Москва-то вон уже — за ближним лесом. А Берлин?..»

Под вечер оказались в каком-то населенном пункте. Они топтались на небольшой, утоптанной ногами площади, в мирную пору здесь по выходным дням гомонил, наверно, людный базар, а по праздникам проходила со знаменами, плакатами, портретами и бумажными цветами демонстрация трудящихся. Одной стороной прямоугольник площади упирался в скучное двухэтажное кирпичное здание райкома или райисполкома, или того и другого вместе. Над входом в здание висел, обмякнув от безветрия, взамен прежнего красного флага новый — тоже красный с черной свастикой посередине. Местные жители, собравшись группами, жались к штакетнику окаймлявших площадь домов и, негромко переговариваясь, смотрели на пленных. Лица у пленных были темными от дорожной пыли, усталости и голода. Некоторые, не в силах дольше стоять, садились на землю; кому-то конвойные разрешали это, других поднимали окриками, пинками, ударами прикладов, и от этого происходящее и особенно будущее казались исполненными опасной неизвестности.

Какая-то женщина из ближнего дома вынесла ведро воды. Немец-конвойный взял у нее ведро, поставил на землю и показал, что можно подходить по одному и пить, но кружки не взял. Пленные, один за другим, становились на четвереньки, окунали в ведро лицо и жадно хватали пересохшим ртом быстро убывавшую тепловшую воду. Следом еще несколько женщин принесли свои ведра. Когда очередь дошла до *Ребе*, воды в ведре оставалось на самом дне...

...Вода была уже совсем теплая, грязная от песка и пыли, соленоватая, как пот. Он сделал несколько глотков, поднялся снова на ноги и увидел в толпе, совсем рядом — два-три шага и руку протянуть — полную немолодую женщину в вызывающе праздничной кофте с цветастой вышивкой на груди. Женщина смотрела на него с каким-то веселым любопытством, точно всё происходившее было лишь занимательной игрой. Когда взгляды их встретились, женщина подмигнула ему и повела головой, очевидно приглашая идти за ней, и отступила на шагок — вот сейчас повернется и уйдет, так что нечего ему медлить. И он не то чтобы понял — почувствовал: существует ли эта женщина на самом деле или только привиделась ему, только морок, но для него ничего более не остается, как следовать ее зову. Желтоволосый в очках немец чуть в сторонке отгрызал от плоского белого сухаря, на который положил ломоть шпика; но о немце он в эту минуту как-то и не подумал: просто шагнул к женщине, не отрывая взгляда от ее ярких глаз, будто за прочную нитку потянула. «Убьют!» — вполголоса выкрикнул сидевший у его ног Виктор Иванович и ухватил было за поду гимнастерки, но он сделал еще шаг, и еще, — желтоволосый немец в сторонке громко грыз сухарь, и то ли вид показывал, то ли в самом деле был всецело занят своим шпиком и сухарем; а он на немца даже посмотреть позабыл. Когда он приблизился к женщине, она неторопливо повернулась и пошла прочь, всем своим видом увлекая его за собой. Толпа слегка расступилась, пропуская его, и тут же сомкнулась снова.

С трудом переступая потертыми в кровь, дрожащими ногами, он шел за женщиной узким проулком, и от всего мира вокруг в эти бесконечно долгие минуты остались лишь широкие бедра женщины, обтянутые тесной суконной юбкой, и мелькавшая по обе стороны пути полоса штaketника. Потом, разомлев от еды, он дремал в углу небольшой комнаты, кажется, единственной в доме. Воздух за окном, затянутым полотняной занавеской быстро меркнул. Женщина вышла поразведать, что творится на божьем свете, и велела ждать. Он ждал, и даже возникшее опасение, что вместе с женщиной явится немецкий патруль, не в силах было растолкать его густую сладкую дрему.

Женщина скоро вернулась. «Поди, пойми. Ни тех, ни этих. Заварили кашу, а герои, вроде тебя, разгребай. Ну, да ладно. Солнышко взойдет — развиднеется. Новый день, и жизнь заново. Давай-ка я твою белье постираю. Печь протоплена, до утра высохнет. Да и самого помыться не грех: в бане, как война началась, наверно, ни разу и не был...»

Впервые предьявляя свою наготу женщине, он сидел, согнув острым углом ноги, в тесном цинковом корыте, а она, стоя над ним, плескала на него теплую воду из ковша, ласково терла его мочалкой, намыленной серым обмылком. Чтобы не намочнуть, она сняла кофту и юбку и осталась в голубых трикотажных рейтузах и

белом сатиновом лифчике, с трудом удерживавшем ее тяжелые груди. Прядь темных с сединой волос, выбившаяся из-под косынки, свисала ей на лицо.

«Ну, совсем маленький, просто мальчик совсем, — приговаривала она и тут и там водила мочалкой по его усталому, побитому телу, без смущения касаясь мест, которых он и сам обычно касался со смущением. — Ну, куда таким детям воевать?»

Когда она низко склонялась над ним, он чувствовал, как ее груди ложатся ему на плечи.

«И на еврея похож, — тихо смеялась она. — Волосы светлые и глаза, а похож. У меня перед самой войной еврей был. Командир. Тоже белевский. Убили, наверно».

Она порывалась в шифоньере, достала свою полотняную рубашу. «Мужского нет ничего, надень эту, пока твое сохнет». Рубаша была ему велика, женщина, смеясь, обдернула ее на нем: «Видали, Георгий-победоносец!.. Ну, ложись скорее. Я сейчас». Он лег на большую скрипучую кровать и, слегка прикрыв глаза, следил потихоньку, как женщина быстро постирала белье, потом сама помылась и, обнаженная, приблизилась к нему: «Ты уж пусти меня, пожалуйста. Другой кровати у меня нету». У него перехватило дыхание. «Кто вы?» — спросил он. «Как кто? Баба Яга! Накормила, напоила, в баньке помыла и спать уложила». Кровать заскрипела, и он почувствовал, как его со всех сторон обняло, вобрало в себя большое, горячее женское тело».

## 4

Уже светало, он забылся сном, и ему (так потом казалось) тотчас приснилась гроза: молния сверкала, и гром грохотал прямо над головой. Еще не проснувшись вполне, он привычным уже слухом тотчас различил голос артиллерийских орудий, будто по команде тревоги резко вскочил на ноги и, отдавая должное выучке, в момент натянул на себя еще не просохшее, пахнувшее простым мылом белье и заскорузлое обмундирование. Стрельба между тем закончилась так же неожиданно, как началась, в наступившей тишине слышно было, как где-то перекаликаются люди и совсем по соседству раз за разом, не переставая, кукарекает перепугавшийся петух.

«Ты куда собрался? Еще успеешь из огня да в полымя. Пропадешь, я плакать буду. — Женщина босиком подошла к окну, откинула край занавески. — Вроде тихо. Да сиди, говорю. Сперва сама узнаю». Она не спеша натянула юбку, повязала косынкой голову.

«В городе-то опять ваши, — доложила она, вернувшись. — Ты беги к своим, пока ихние не пожаловали. Сила у них, — не оглянешься, назад будут. Только ты своим про себя не рассказывай. Знал, да забыл: контузия. Вон синячище какой! Да подожди, обниму!..»

5

Он пробежал между рядами штакетника. На площади лежали вниз лицом два убитых немца. Они лежали голова к голове, руки их были раскинуты, точно они перед смертью потянулись обнять друг друга. Окна кирпичного исполкомовского здания глядели на восток; темные стекла жарко пылали в лучах восходившего солнца. Над входом плескался под утренним ветерком прежний повытцветший красный флаг, без свастики. У крыльца прохаживался с винтовкой знакомый, из его взвода, красноармеец Билялетдинов: значит, это их полк опять овладел населенным пунктом.

«Ух ты, живой! — приветствовал его Билялетдинов. — А мы уже похоронили тебя. Ты где пропал?»

Он чувствовал кожей влажное, постиранное белье, и ему было стыдно перед Билялетдиновым.

«А Карасева, дружка твоего, убили, — сказал Билялетдинов, когда он уже шагнул на ступеньки крыльца. — Так голову и снесло снарядом. Совсем без головы лежал».

С Юрой Карасевым они учились в университете, вместе пошли в ополчение, потом добровольно в армию.

Комбат, старший лейтенант Маслов хмуро пометил что-то в измызанной записной книжке. Он рассказал комбату всё без утайки, только женщину, его спасшую, именовал старушкой. «Потом разберемся, — сказал старший лейтенант Маслов. — Получайте у старшины Авдеева винтовку — и в строй».

В середине дня противник начал наступление и выбил их из населенного пункта. И они снова бежали по той же пыльной проселочной дороге, и уже почти догнали уходившие на восток основные силы, как налетела немецкая авиация и начала нещадно бомбить отступающие части, и белокурый солдатик, которого десятилетия спустя соседи по немецкой богадельне будут именовать *Ребе*, снова оказался повержен на землю, потому что его тело пробила горячий зазубренный кусочек металла. Он очнулся в тряском кузове заполненного ранеными грузовика; рядом, повернув к нему лицо, лежал до подбородка укрытый шинелью красноармеец Билялетдинов. «Опять живой!» — засмеялся Билялетдинов, когда он открыл глаза. Скоро Билялетдинов умер, и голова его на каждом ухабе громко стучала о днище кузова, пока кто-то не обернул ее шинелью.

6

... «*Ребе*, вам что-нибудь говорит такое имя — Аккерман».

*Старик* сидел на кровати, свесив ноги, по обыкновению, без подштанников: он объяснял, что по ночам у него преют яйца.

«Оставьте меня в покое. Вы же видите, я сплю. Наверно, полночь уже».

Голос у *Ребе*, даже когда он возмущался, был тихий и не выдавал внутреннего волнения.

«Уж полночь близится, а германов всё нет... — Старик хрипло засмеялся. — Помните во время войны так говорили, когда ночные немецкие налеты задерживались».

«Я сплю».

Ребе лежал на спине, устремив взгляд на высветленный лунным светом потолок.

«Врете вы. Никогда вы не спите. Я, как ни проснусь, вижу ваш открытый глаз. Даже страшно».

«Это вы себя боитесь, — сказал Ребе. — Не нависайте надо мной. Я сплю».

«Так что вы можете сказать про Аккерман?»

«Кажется, город есть такой. В Бессарабии».

«От ваших справочников и таблиц у вас, Ребе, голова как у кассирши на вокзале. У меня мать была кассиршей. Так у нее голова была забита названиями железнодорожных станций. Я спрашиваю не про город. Не было ли у вас знакомой женщины по фамилии Аккерман? Может быть, Ида Аккерман? А? Или Софья? Или Фира?..»

«Оставьте меня в покое. Я уже вам сто раз говорил, что среди моих знакомых женщины по фамилии Аккерман не имелось. И мужчины тоже. Спите, ради Бога. И откуда у вас эта страсть к ночным допросам?»

«Ну, ну, не обижайтесь. Сами знаете, когда не спится, всякое лезет в голову».

«Не знаю. Мне всегда спится».

Старик прошлепал в туалет, долго плескал там водой, вернулся, взобрался, кряхтя, на кровать и вскоре захрапел.

Ребе лежал неподвижно. Его воображение рисовало на светлой прямоугольной поверхности потолка очертания границ, извилистые полосы рек, синие пятна водоемов, темные сгущения горных хребтов, прокладывало сложную сеть линий, обозначающих пути передачи энергии.

«Дался ему этот Аккерман», — думал Ребе. Он еще раз на всякий случай порылся в памяти, набитой, как карман у школьника всякой всячиной, не обнаружил там следов Аккермана и, отбросив паутинку от глаз, снова целиком занялся своими мыслями.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

Ему и самому казалось, что он никогда не спит, ни на минуту не уходит из пространства бодрствования. Возможно также, по ночам, когда другие полагали, что он заснул, и он сам считал происходящее с ним каким-то подобием сна, глаза его оставались открытыми. Во всяком случае, видения, возникавшие в его воображении (или это всё же — сновидения?), никогда не становились целиком иным, жившим по собственной воле миром, в котором он подчинялся бы этой воле не в силах вмешаться и переменить ход

вещей. Его видения-сновидения непременно разворачивались на фоне покрывающего комнату потолка со скромной лепниной по углам и стоявшего в ногах кровати шкафа, а на поверхности которого гримасничало четверугольное отражение окна, то серебристо яркое, то вдруг тускневшее почти до невидимости в зависимости от льющегося в окно лунного света и двигавшихся по небу облаков. Даже стоявшая на шкафу фарфоровая фигурка охотника, дующего что есть силы в большой искривленный полумесяцем рог, — она принадлежала, должно быть, прежнему постояльцу, давно покинувшему земные пределы, — даже эта фигурка, почти не замечаемая в течение дня, маячила перед его взором в часы ночных видений. Натянув потуже фуражку и устроив голову на подушке, он не погружался в стихию сна — просто спустя некоторое время переставал слышать храп *Старика*, упрямый и однообразный, как топ шагающей в ногу колонны, и в этот момент память, словно наугад открытая книга, предлагала ему какое-то, тотчас остро схватываемое ощущение пережитого — шорох и удары воды о железную, казавшуюся не слишком прочной стенку трюма, или смешанный запах зимнего леса, морозного воздуха, снега и кострового дыма, или еще что-нибудь. Первое ощущение тотчас начинало множиться, ветвиться, обрастать новыми ощущениями, с ним связанными. Пилы скрипели, и промерзшие стволы сосен гулко отзывались на удары топора, пот за воротом щекотал нечистую прыщавую кожу, но при этом постоянный холод, как натянутая и отпущенная музыкантом струна, неустраимо дребезжал между лопатками; он в одно и то же время и видел, и чувствовал свои грубые, будто из дерева наскоро вырубленные руки, торчащие из дыр рукавицы грязные, почти утратившие способность осязать пальцы с закаменевшими, окаймленными черной полосой ногтями; он заново пьянел от сделанной на морозе, единственной, бьющей в голову, как эфир оператора, затяжки чужой слюнявой самокруткой. Но при этом его открытые глаза видели серебристый четверугольник окна, высвеченный лунным лучом на дверце шкафа, волокнистую тень плывущих за окном облаков; бравый охотник в шляпе с пером надувал щеки и что есть силы трубил в рог, вызывая товарищей броситься на могучих конях в погоню за выскочившим сдуру из леса перепуганным зайцем...

## 2

«...Вот так же, как дым над лесом, поднимается и растворяется в околосемном пространстве энергия от производимых на земле добрых дел, и есть люди, которым дано умение аккумулировать эту добрую энергию и посылать дальше, в места, пораженные злом». Глаза *Учителя* — точно стекшие в его запавшие глазницы две большие капли небесной сини; беседуя, он мнет в кулаке мягкую седую бороду. «Почему же сюда никто не посылает такую

энергию?» — спрашивает он *Учителя*. «Может быть, кто-нибудь и посылает, откуда нам знать. Территория зла так обширна, а творимое зло так многообразно, что не всегда замечаешь частицы получаемого добра. Добрую мысль, доброе чувство, веру, надежду, любовь, в тебе промелькнувшие, подчас нелегко уловить в постоянстве голода, холода, жестокости, несправедливости. Но они явились, промелькнули — подействовали, изменили что-то. Нам не дано ведать целое, нам открываются лишь фрагменты происходящего. Да и не всякий способен почувствовать в энергетическом поясе, окружающем планету, нужную энергию, выбрать необходимый заряд, определить направление, переслать. Тех, кто на это способен, немного, большинство бродит по свету, не помышляя о дарованной способности, не ведая, как применить ее, — и некому сказать им об этом. Наша встреча неслучайна, конечно. В знак этой встречи я пришью вашу тень к своей одежде — так дервиши на Востоке пришивали к своим лохмотьям тень выбранных в спутники учеников...»

## 3

*Учитель* называл его: *Лев в квадрате*.

«Так называли близкие моего учителя, профессора К., — объяснил он. — Он тоже был Лев Львович. Замечательный мыслитель, может быть, открывавший людям новые пути, идеалист и чудака. Вы не читали его работ? Впрочем, где бы они могли вам попасться — все под запретом. У меня были его книги и оттиски, многие даже им подписанные, — слава Богу, хватило ума оставить за рубежом, когда возвращался в отечество. Наступит день, вы отыщете старый дом на тихой парижской улице, возьмете у консьержки ключ, подниметесь на четвертый этаж, зажжете на письменном столе лампу под зеленым матерчатым козырьком-абажуром... Вы смеетесь?.. Между тем ученик должен безоглядно верить всему, что говорит дервиш... В последних работах — они напечатаны в считанных экземплярах — профессор К., если пробиться сквозь некоторую странность его речи, пришел к таким откровениям, что диву даешься. К сожалению, мало кто познакомился с ними. В бродившей эмигрантской бузе труды его казались далекими от интересов жизни, а сам он старым и ненужным. Молодые коллеги, энергичные и шумные, задвинули его вместе с разным старым хламом в темный, пыльный угол. «Кто?.. Профессор К.?.. Ах, этот смешной старичок, Лев в квадрате?.. Да он уже давно не в себе...» В эмиграции он протянул недолго: в середине двадцатых мирно почил в Берлине. После смерти, прибавлю, с моим Львом в квадрате произошла весьма мистическая история. Супруга его, Софья Кирилловна, из бывших девиц-нигилисток, чуть ли не народоволка, конечно, отчаянная материалистка, ссылаясь на какие-то разговоры с покойным, решила тело земле не предавать, а назначить для дальней-



шего служения науке. Таким образом материальная часть профессора К. оказалась в какой-то научной медицинской лаборатории, об этом, как водится, посудачили и, опять же как водится, забыли. Через несколько лет — в пору экономического кризиса — лаборатория не выстояла, и, при распродаже имущества, ее научный руководитель, добросовестный немец, возвратил то, что осталось от профессора К., а именно скелет, супруге. Софья Кирилловна бровью не повела, установила скелет в углу своей маленькой гостиной и на вопросы посещавших ее отвечала без смущения: «Это мой муж, профессор К.». Когда власть захватили нацисты, она сумела перебраться в Париж, и скелет увезла с собой, а там воздвигла в новом своем жилище. Софья Кирилловна умерла незадолго до прихода немцев. Не посчитавшись с ее пожизненным материализмом, покойницу отпели по всем правилам и похоронили на кладбище Батиньоль. Скелет, по просьбе откуда-то возникших дальних родственников, положили в ту же могилу. Только не в гробу, а в полосатой матрасной наволочке. И на памятнике два имени — профессора К. и супруги. Будете на Батиньоль, найдите, сделайте одолжение. Заодно и меня помянете... Ну, что вы смеетесь?.. Неужто не чувствуете, что всё, что с вами происходит, лишь короткая остановка на пути в Париж?..»

4

Охотник на шкафу трубил в изогнутый рог. Крепкие всадники, хрипло перекликаясь, съезжались к месту сбора. Истошно и злобно лаяли возбужденные травлей собаки. Окровавленное тело зверька лежало, распластавшись, на взбитой копытами черной земле...

«Вы что рассчитываете, что вам подадут завтрак в постель? А? *Старик* в одной рубашке стоял возле его кровати. — Подъем, милый *Ребе*, подъем! Предупреждаю: я надолго займу сортир».

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Старшая медицинская сестра Ильзе приходила к доктору Лейбницу по вторникам и пятницам в половине шестого вечера и оставалась у него до восьми. В восемь доктор смотрел по телевизору *Новости*, а в четверть девятого отправлялся на вечернюю пробежку. Совсем рядом с домом, где жил доктор, только улицу перейти, располагался городской парк, постепенно переходивший в небольшую рощу. Доктор бежал по раз и навсегда установленному и промеренному маршруту, сперва аллеей парка, потом просекой, до того места, где просека, вынырнув из-под сени деревьев, выбрасывала его на простор поля, солнечно-желтого в пору

цветения рапса, — отсюда доктору оставалось только подняться по утоптанной тропе на вершину отлогого холма; там доктор в темпе, не теряя взятого ритма, совершал несколько гимнастических упражнений, чтобы снять напряжение мускулов и отрегулировать дыхание, и пускался в обратный путь. На вершине холма стоял невысокий, в рост человека, крест с вырезанной из дерева фигурой распятого Христа — создание какого-то умельца-самоучки, привлекавшее не искусством исполнения, но заведомо ощутимой искренностью веры мастера. Некоторое время назад кто-то, то ли богохульствуя, то ли, скорее всего, в безотчетном порыве спора с несправедностью мироустройства, перебил Христу ноги ниже колен и отодрал их от основания креста. Христос висел теперь на одних руках, обломки ног закапчивались растерзанными в щепу страшными кульями. Под ними сам мастер, оплакивая свое творение, или какой-то доброхот прибил дощечку, на которой было вырезано: «Палачи не посмели перебить Господу голени. Ты сделал это». Совершая возле креста свою разминку, которая издали могла показаться молитвенным ритуалом, доктор думал о том, что, как искусство мастера бесцельно перед творением варвара, точно так же совершеннейшее создание Творца — мозг человека — бессильно перед биохимическими процессами, происходящими в его клетках.

Несмотря на возраст (ему исполнилось шестьдесят три) доктор смотрелся молодежью и сильным. У него были отлично развитые икры и бедра, плоский живот, не отяжеленный пивом (он употреблял пиво в самых умеренных количествах, чаще всего как средство релаксации), прямая спина и прочная шея. Всё это являлось встречному взору, когда доктор в белой майке, обтягивавшей тело, и коротких ярко-красных трусах уверенным, ровным шагом бежал по заведенному маршруту. Даже волосы у доктора вполне сохранились — рыжеватые, слегка завитые на концах. Он и любовник в свои шестьдесят три был отменный. Дважды в неделю, в отведенные для любви часы, он практически без осечек, искусно и неумолимо выполнял всю намеченную для себя программу.

## 2

Несколько лет назад доктор Лейбниц продал в столице свою психиатрическую и психоаналитическую практику, которую вел весьма успешно, получая приличный доход, развелся с женой — не для того, чтобы быть с кем-то, а для того, чтобы быть одному (взрослый сын самостоятельно жил в Голландии), — и переехал в этот небольшой городок. Ему нужны были сосредоточенность и покой, чтобы исполнить свое, как он полагал, жизненное назначение. Человек любознательный, он, еще молодым, с первых дней врачебной работы, завел привычку записывать в особую тетрадь рассказы некоторых больных, беседы с ними, истории

их жизни, особенности внешнего облика, характера, поведения. Таких тетрадей накопилось семьдесят восемь. Размышляя, куда бы употребить их, доктор принялся перечитывать записи. Поначалу его поманила скромная мысль подготовить на их основе несколько статей для каких-нибудь специальных медицинских изданий. Но материалу было вдосталь, и он стал примериваться к книге, что-нибудь вроде — доктор почти таил от себя такое на первый взгляд неправомерное сравнение, и всё же мечталось! — что-нибудь вроде Фрейда или Юнга. Опять же, к удивлению самого доктора, оказалось, что и это не предел: странные сюжеты, которыми были заполнены тетради, вдруг стали обретать в его воображении какой-то иной смысл, экипироваться точными и зримыми подробностями, соединяться один с другим, преобразуясь в новые сюжеты, соответственно и реальные больные, посещавшие в разное время практику доктора Лейбница, начали перевоплощаться в иные, всё более властно и как бы сами собой являющие себя образы, и так до тех пор, пока однажды доктор не сообразил (поначалу сам тому не доверяя), что намеревается писать уже не ученый труд, а нечто совсем на оный не похожее, — может быть, даже роман. Проверяя себя, он прочитал заново несколько современных романов, которые в разное время произвели на него впечатление, а также в качестве образца кое-что Томаса Манна и Германа Гессе, и, хотя был человеком здравомыслящим, или, может быть, именно поэтому, пришел к убеждению, что то, что он предполагает создать, если удастся создать именно то, что предполагает, не уступит тому, что он прочитал.

Однажды доктор увидел в музее перо Гете — одно из многих, которые извел за жизнь великий олимпиец, обстриженное и очиненное гусиное перо с темневшим засохшими чернилами кончиком, некогда выводившим, не исключено, строки «Фауста», — и вдруг понял, что именно так, не на компьютере, не на пишущей машинке, а по-старинному, пером по бумаге будет писать свой роман. Несколько листов рукописей Гете, фотографии с которых были выставлены тут же в музее, подобный набегающий волне, стремительный, клонящийся вправо почерк поэта, даже поправки в рукописи, решительно перечеркнутые слова и новые, найденные взамен, даже случайные чернильные брызги, похожие на созвездия, очаровали доктора и укрепили в принятом решении.

Впрочем, порыв, охвативший доктора перед музейной витриной, спустя некоторое время нашел и научное подтверждение. В одной статье, очень кстати попавшей ему в руки, он прочитал, что человек, выводящий слова пером на бумаге, сам того не замечая, беззвучно артикулирует, воспроизводит буква за буквой все составляющие слово звуки, и это эмоционально прочнее связывает пишущего с текстом, нежели механические удары по клавиатуре, когда действуют только пальцы.

Возможно, тяготение к классике было в докторе наследственным. Отец доктора, всю жизнь протиравший штаны в какой-то таможенной конторе, посвящал целые вечера после службы переводам из древних греческих и римских поэтов; переведенные стихи он аккуратно вписывал в разграфленную конторскую книгу, точно такую, в какой на службе отмечал принимаемые и отправляемые грузы. Откуда взялась в отце страсть к античным текстам, доктор так и не узнал: он был единственный, очень поздний ребенок и ходил еще в начальную школу, когда отец оставил этот мир; у матери, женщины простой и не очень грамотной, вечерние занятия отца никакого интереса не вызывали.

Обдумывая будущее сочинение, доктор Лейбниц вспомнил известное суждение о том, что человек на каждом шагу своей жизни выбирает одну из двух возможных моделей поведения, выражаемых формулой *быть или казаться*, и вдруг усомнился в достоверности этой формулы, издавна представлявшейся бесспорной. Что значит *быть*, если тебе неизвестно, какой ты *есть*. Ты рисуешь только автопортрет, твой портрет рисуют другие, каждый по-своему. К тому же человек по природе неоднозначен, текуч, изменчив в помыслах и желаниях. Он непременно, один легко, другой всякий раз ломая себя, третий то так, то этак, в чувствах, взглядах, оценках волею или неволею приравнивается к людям, событиям, обстоятельствам. Жизнь, хочет того человек или нет, постоянно формирует, оттачивает, шлифует, дырявит его, как бесконечная игра волн обрабатывает поселившийся в полосе шельфа камешек. И все эти замечаемые или не замечаемые человеком перемены его *Я* означают для него *быть*. Привычка *быть* — это тоже *казаться*. Так же, как потребность *казаться* выявляет наше *быть*. Доктор вспоминал: пациенты, терзаясь в исповеди, точно живую кожу сдирали с себя маску — и под ней, сверкая прорезью глаз, являлась другая маска. Верьте женщине, когда она говорит, что любит только вас и никогда никого, кроме вас, не любила. Верьте другу, когда он пожимает вам руку и клянется, что никогда не предаст вас. Верьте палачу, целующему ребенка. Каждую минуту театр вокруг вас и с вашим участием разыгрывает новое представление.

В писчебумажном магазине доктору приятно попалась дорогая толстая тетрадь в черном кожаном переплете с тисненым заголовком: *Мемуары*. На титульной странице под эпитафией: *Всё меняется, написанное остается* следовал набранный колонкой перечень тем воспоминаний, которые владельцу тетради предлагалось запечатлеть на века. Среди этих тем значились: *Мои радости. Мои заботы. Мои мечты. Мои возлюбленные. Мои дети. Моя кухня. Мои вина. Мои путешествия*. Доктор обмакнул в флакон с черными чернилами высмотренное на блошином рынке старинное стальное перо, вставленное в жел-

тешую от времени костяную ручку с приплюснутым и выточенным в виде лезвия кинжала концом, зачеркнул приведенный список и надписал над ним крупными буквами: КОМЕДИЯ МА-СОК и строчкой ниже: *Роман*.

## 3

Пока были только заготовки, планы, наброски, будущая книга лишь прояснялась, складывалась понемногу; доктор Лейбниц предполагал в полной мере заняться ею, исключительно ею и более ничем другим, позже, когда выберется на пенсию и переберется на Сицилию. Бог весть, почему — на Сицилию, почему не на Корсику, не на Барбадосские острова, не в Гренландию, но как-то так само собой укоренилось в душе, что — именно на Сицилию. У доктора и деньги были отложены, купить там небольшой дом, — он заинтересованно просматривал бюллетени о стоимости недвижимости на Сицилии, нигде больше. Именно там, в уютном доме на одного, с кабинетом — большое во всю стену окно в сторону моря — он, ни на что не отвлекаясь, займется главным делом жизни. Важно, конечно, хорошо сохранить себя, не только физически (доктор внимательно следил за показателями своего телесного здоровья), но и духовно. Духовное же здоровье требует такой же настойчивой тренировки, как физическое: с утра до вечера — энергичная деятельность, без перегрузок, но регулярная, не знающая незапланированных передышек.

Медицине известны наблюдения, проводимые в монастырях. Именно насельников монастырей, даже в самом позднем возрасте, менее, нежели прочих, поражает старческая слабость ума, деменция, болезнь Альцгеймера. Исследуя мозг монахов и монахинь, проживших восемьдесят, девяносто и добрую сотню лет, врачи удивляются тому, что явные болезненные поражения мозга, которые при жизни пациентов вроде бы непременно должны были обеспечить старческое умственное недомогание, не вызывали его. В восемьдесят, девяносто, сто лет эти старички и старушки, облаченные в выбранные однажды и на всю жизнь рясы и платья, так же исправно, как и полвека назад, произносили слова молитв, читали священные книги, вышивали, клеили, строгаали, выписывали нужные тексты, пели в хоре, готовили кушанья — инерция духа и действий побеждала материю. И доктор Лейбниц старался жить по-монастырски. Однообразие дней, их распорядка и наполнения не томило — радовало его.

Еще доктор Лейбниц знал, что жизнь, чем дальше, тем больше отнимает будущее и взамен надставляет прошлое. С годами она всё более оказывается заполнена прошлым — человек оказывается обречен строить настоящее, захватывая в него не из будущего, не из книги, которую пишет мечта, а из отработанного материала воспоминаний. Доктор Лейбниц знал, что нужно учиться жить освобожденно от прошлого, в потоке времени, об-

ращенном лишь в одну сторону. Однажды он услышал от одного пациента, старика-богослова, что Бог каждый день как бы заново творит мир. Эта мысль показалась доктору необыкновенно привлекательной. Именно так! Каждый день заново рождаться, начинать жить в только что сотворенном или, может быть, им самим творимом мире, — как еще можно спасти свое будущее?..

Доктор Лейбниц знал поэтому, что однажды и этот городок, ставший временным его пристанищем, навсегда исчезнет из его жизни, исчезнет вместе со стариковским домом и всеми его обитателями, с просчитанным до каждого шага маршрутом ежедневной пробежки, с верной Ильзе по вторникам и пятницам. Он никогда не будет вспоминать о нем, разве что увидев его во сне, как не вспоминает другие города, где пришлось жить прежде, как не вспоминает жену и сына, многих и разных людей, встреченных на пути, многие события, которые, казалось ему когда-то, сильно волновали его. Он будет сидеть в высоком кресле за письменным столом, весь отдавшись своему назначению, каждый новый день станет для него новым сотворением мира, а перед ним за огромным во всю стену стеклом будет только море.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

По вторникам и пятницам, собираясь к доктору, Ильзе надевала черное белье. «Женщины с такой белой кожей, как у тебя, должны носить черное белье — мужики от такого с ума сойдут», — говорил Петер. Этот Петер был тот самый парень — ее первая любовь, — вдвоем с которым она, совсем молоденькая, как только разрушили стену, драпанула с Востока, из бывшей ГДР, на Запад, чтобы начать новую жизнь, и который, как только началась новая жизнь, ее бросил. Петер был шофером такси и здесь, на Западе, пару месяцев спустя, еще в поисках работы, обкрутил одну богатую старуху, владелицу автопредприятия, и женился на ней. Он предлагал Ильзе жизнь втроем и ловко доказывал многие преимущества такого решения, но она отказалась наотрез, тем более когда увидела эту старуху с острыми, злыми глазками на большом розовом лице и выкрашенными хной ярко-рыжими волосами, и, понимая все ожидавшие одинокую девушку трудности, отправилась дальше одна на поиски своего счастья.

Внешне Ильзе казалась холодной и бесчувственной. Ее большие холодные глаза были похожи на театральные зеркала, сделанные из серебряной фольги, которые ничего не отражают, никого и ничего не пропускают внутрь. На службе Ильзе была исполнительна, как хорошо отлаженный механизм, никому из обитателей *Дома* и персонала не оказывала ни малейшего предпочтения, с точностью исполняла всё, что требовалось, и не де-

лала ничего лишнего. Добрая фрау Бус потихоньку называла ее *аптекарьскими весами*. Но при этом Ильзе была влюбчива, или, может быть, постоянно нуждалась в любви. И тот, кто оказывался ее избранником, вдруг видел, как распускаются ее яркие, зовущие в себя зрачки, узнавал жадность и бесстыдство ее ласки.

Мужчин в городе, тех, кто мог привлечь внимание Ильзе, было не так-то много, да и, чтобы отыскать таковых, нужны были способствующие обстоятельства, так что после некоторых попыток, частью, относительно удачных, она, не затрудняя себя дальнейшими поисками, как-то само собой начала влюбляться во врачей, опекавших ее богоугодное заведение. Один раз, правда, она чуть не изменила принятому правилу, почувствовав неодолимое влечение к электрику, приходившему в случае необходимости разного рода починок. Электрик был похож на Петера, такой же веселый и наглый, но Ильзе, может быть, именно поэтому, преодолев себя, позвонила в фирму и без всяких объяснений попросила прислать другого мастера.

Сначала был доктор Беккер, невысокий, по плечо ей, полный, с женским тазом и маленькими руками. На голове доктора, из-под редких, старательно уложенных волос глянцево сквозила лысина. Доктор носил очки в тяжелой, как тогда было принято, роговой оправе. За толстыми стеклами очков темнели добрые, грустные глаза. Некоторые утверждали, что доктор Беккер — еврей. В любви доктор был пылок и замечательно нежен, хотя и не изобретателен. Но Ильзе хватало того, что он предлагал и того, что она умела от него добиться. Доктор непременно желал познакомиться Ильзе со своим семейством: жену его звали Дагмар, у них было четверо детей. Дагмар взяла обе руки Ильзе в свои и пригласила заходить, когда доктора нет дома: «У двух женщин всегда найдется, о чем посекретничать».

Дагмар была тоже маленькая, с игривой челкой-пони и в таких же, как у доктора больших очках. Дагмар умела варить особенный кофе, очень крепкий и душистый; она и печенье пекла сама, легкие вкусные завитушки, ни в одной кондитерской таких не найдешь. Дагмар окончила университет, изучала там историю и литературу, заодно еще какие-то науки, и, о чем бы ни заходила разговор, непременно рассказывала что-нибудь необыкновенно интересное. Со временем так повелось, что Ильзе заходила к Дагмар чаще, нежели доктору удавалось вырваться к ней самой; при встречах с неожиданно обретенной приятельницей угрызения совести совершенно не томили Ильзе: когда они встречались, ей казалось, что всё происходящее с доктором происходит во сне или на другой планете, или даже вовсе не происходит. Точно так же, оставаясь вдвоем с доктором, она без малейшего усилия воли забывала о существовании Дагмар. Лишь изредка, заглядывая в темневшие за стеклами очков глаза Дагмар, она спохватывалась: догадывается или нет? А та улыбалась и гладила легкими пальцами ее руку: «Когда мы расстанемся,

мне будет очень тебя не хватать»... Иногда Дагмар подносила ее руку к губам, чтобы поцеловать. Впрочем, дальше дело не шло. Доктор Беккер вдруг получил выгодное предложение и уехал с семьей куда-то в Баварию. Дагмар прислала Ильзе несколько густо исписанных красивым острым почерком открыток, но Ильзе не умела отвечать на письма...

Ненадолго в Доме и, соответственно, в жизни Ильзе появился юный — недавно из университета — доктор Финк. Ильзе, ничем внешне не нарушая субординацию, четко руководила им, юный доктор, постоянно путавшийся в том, что ему надлежит делать, без ненужной заносчивости принимал ее руководство. Быстро выяснилось, что и в личной жизни доктору Финку, лишь недавно вырвавшемуся из-под родительского крова, не хватает доброй наставницы. Подчас он задерживался, дожидаясь, пока Ильзе кончит работу, чтобы проводить ее, поведать о своих сомнениях, выслушать ее советы. А когда они приближались к двери Ильзе, доктор как-то само собой принимал приглашение войти, тем более, что на улице порой бывало и холодно, и дождливо, а у Ильзе всегда царил уют — в вазе на столе свежие цветы, по дивану разбросаны цветастые подушки, и, когда ни придешь, для гостя находится бокал прохладного белого вина. «Что им делать вдвоем? — сокрушалась добрая фрау Бус. — Он совсем молоденький, еще вихрастый петушок, а она такая уверенная, и глаза у нее такие холодные». (Фрау Бус, увы, и вправду, плохо представляла себе, что они делают вдвоем, поскольку, дожив до преклонных лет, не обрела собственного опыта и имела представления о предмете только из разговоров, учебных пособий, а также кинофильмов, которые ныне редко обходятся без откровенных сцен.)

## 2

Доктор Лейбниц не был похож на прежних ее возлюбленных, хотя вроде бы мужчина как мужчина — это чувствовалось по первому же нетерпеливому объятию, едва она переступала порог (сам доктор к ней никогда не приходил). Даже в минуты полной телесной близости Ильзе не в силах была понять, *что же она такое* этот доктор Лейбниц. Даже в эти минуты ей казалось, что их разделяет темный глубокий ров, который не перейдешь, не переступишь, и поэтому даже при воспоминании об этих минутах возникало ощущение какой-то томящей неполноты. А ведь доктор не держался скрытно, охотно отвечал на вопросы, сам кое-что рассказывал о себе и, не боясь пересудов, подчас приглашал ее вечером в итальянский ресторан *поболтать на свободе*.

В глубине полутемного зала красновато пылал очаг. Толстый, подвижный, как паяц, пекарь в высоком белом колпаке у всех на глазах выпекал нежнейшую пиццу. Они занимали место в уголке и, сидя друг против друга, пили терпкое вино и в самом



деле болтали весь вечер. Доктор щедро оделял ее какими-то занимательными историями, у Ильзе расцветали зрачки, своей большой прохладной рукой она накрывала его руку, но, позже, дома, ей отчего-то никогда не удавалось припомнить толком, о чем был разговор и *что* говорил доктор.

Однажды летним воскресным утром они отправились на велосипедах за город. Лесная дорога вывела их к большому озеру с заросшими травой и кустарником почти до самой воды берегами. Доктор, едва слез с велосипеда, тотчас разделся и бросился в воду, а Ильзе, расстелив одеяло, подставила спину набиравшим зной лучам солнца. Она закрыла глаза, и уже через несколько минут тонкая дремота опутала ее, воздух в ушах зазвенел кузнечиком, стало казаться, что всплески воды и веселые крики купальщиков доносятся откуда-то совсем издалека. Доктор, наплававшись, выбрался из воды, сел рядом; капли, падавшие с его рук и волос, приятно обжигали кожу Ильзе, она тихонько ахала. Он принялся писать что-то мокрым пальцем на ее горячей спине.

«Что ты пишешь?»

«Отгадай».

Нажимая посильнее, он снова начертил несколько букв.

«Это имя?»

«Географическое название».

Он провел влажной ладонью по ее коже, как проводят влажной тряпкой по доске, стирая написанное.

«Читай еще раз».

Ильзе чувствовала, что это почему-то очень важно, прочитать сейчас то, что он пишет, но, кроме начального *S* никак не получалось схватить остальные буквы, тем более связать их в целое.

«Ты хочешь туда уехать?» — спросила она, стараясь не выдать голосом тотчас нахлынувшую тоску.

«Сейчас я напишу, чего я хочу», — он засмеялся и легонько пощекотал ей пальцем между лопатками.

Она повернулась к нему:

«Можно, я поеду с тобой?»

«И что ты там будешь делать со стариком?»

Он по-прежнему смеялся.

«Там ты будешь не старше, чем здесь».

Он весело вскочил на ноги:

«Тогда вперед!»

Ильзе взглянула снизу на его мускулистые ноги, живот, на всю его ухоженную фигуру, вспомнила его уверенную силу, когда они лежат в постели, подумала сердито: «Он бодро протянет еще десять лет, и двадцать, а то и все двадцать пять...» Встала неторопливо, заколола крепче волосы и побрела за ним к воде...

Этот паршивец Петер говорил ей когда-то: «Любящая женщина, как собака: даже если любимый выбежал за сигаретами, ей тотчас начинает казаться, что он ушел навсегда». Всякий раз, по вторникам и пятницам, подходя к дому доктора, Ильзе тайно опасалась, что ей отворит какой-нибудь незнакомый человек или что на двери будет повешено объявление «Сдается». Но отворял доктор, всегда уже наготове, в купальном халате, нетерпеливо обнимал ее, и она, не вспоминая недавних сомнений, тотчас воспламенялась от его желания. Как-то раз, в момент острой ласки она вдруг хрипло засмеялась: «Знали бы они там, в *Доме*, какая я на самом деле!»

Доктор хмыкнул и освободил ее из объятий.

«Знаешь, эта толстуха фрау Бус называет меня *аптекарьскими весами*».

«Что ж, она права. Ты *на самом деле* — аптекарские весы, точно так же, как сейчас, со мной, ты тоже — *на самом деле*. Человек постоянно меняет маски, но в любой маске играет самого себя. Если роль не его, он такую маску не наденет».

Ильзе снова засмеялась:

«Не боишься, что я с тобой только изображаю страсть, а на самом деле подсчитываю в уме, сколько стоит новый диван?»

Доктор тоже засмеялся:

«Значит, и это — ты, и опять же — *на самом деле*».

Прижал ее к себе:

«Ну, что же — изображай... Изображай...»

Они вместе принимали душ (доктор любил, чтобы вместе) и под чуть теплым его дождем продолжали любовную игру. Пока она одевалась, доктор, быстро натянув белую майку и красные трусы, варил кофе. И всякий вторник и всякую пятницу, прежде чем расстаться с доктором, Ильзе ждала, что в этот день произойдет что-нибудь необычное, какое-то важное слово будет сказано, рука потянется удержать ее, но мелькали страницы календаря, всё шло по-заведенному: в восемь доктор включал телевизор, быстро целовал ее на прощанье. Она не спеша, какая бы ни была погода, пешком, чтобы отойти и прогуляться, направлялась на другой конец города в сторону своего жилища; по дороге заходила в супермаркет и покупала бутылку белого вина и сыр рокфор, который очень любила.

*(Окончание в сл. номере)*



## Елена ИВАНОВА-ВЕРХОВСКАЯ

*/ Москва /*

\* \* \*

Вот створ калитки, край скамьи,  
И сад, он полон сил и блеска,  
А там вечерние огни,  
Сухие вздохи перелеска.  
Все длилось сотни лет подряд  
И за день длиться перестало.  
Березы с липами стоят  
Теперь, как беженки с вокзала.  
Лучи ломая, жжет закат  
За актом акт судьбу к финалу,  
Но зрителей последний ряд  
Свистит и требует: «Сначала!»  
Чтоб полусумрак, полусвет  
На фоне поля и колодца  
Продлились. Или даже нет,  
Чтоб просто знать, что все вернется.  
О как же медленно тепло  
К ладоням и стволам струится,  
И то, что сказано — прошло,  
Лишь, что не названо — случится.

### Прага

Когда бледнеют утренние ветры,  
Слетая с башен, бьют часы на каждой.  
И в полумраке, перед первым светом,  
Все прочь, все дальше переключка стражи  
Как будто? Но торжественно знаком.  
И близок профиль улиц, схожий с Дантом,  
Подписанный славянским языком  
С графическим латинским вариантом.

Как сделалось? И в этом нет вины,  
 Легло на душу точно крест нательный,  
 Как будто рядом не было страны,  
 И жил народ и выживал отдельно.  
 У каждой сути должен свой зенит  
 Свершиться, свой талант, своя отвага.  
 Вот так над Влтавой Чехия звенит  
 В колокола твоей вершины — Прага.  
 Здесь по ночам уместен только дождь,  
 А днем и солнце даже станет лишним,  
 И дом не нужен, как в него войдешь,  
 Когда вдоль облаков пылают крыши?  
 А путники спуют, а мир не тих,  
 В присутствии янтарного напитка.  
 Мосты как продолжение мостовых  
 Выстраивают новую попытку.  
 И вот уж тяжелеет поступь. Рим  
 Вдоль прежних улиц гонит толпы звонко.  
 Как это просто быть везде чужим,  
 И уходить за Цезарем вдогонку.

## Июль

Тяжелую, стылую воду  
 Загадочной ямы лесной,  
 Я чувствую как непогоду  
 В июльский сгустившийся зной.

Хранит прошлогодние листья,  
 Глубинную схватку корней,  
 И лес, обнаженный и чистый,  
 Как в зеркале видится в ней.

Со дня убывания света,  
 Длиннее которого нет,  
 Взрываются сумерки лета,  
 Как хвост улетевших комет.

Еще впереди сенокосы,  
 И яблочный спас и другой,  
 Но яростно кормятся осы  
 Погибшей в пруду стрекозой.

Но жажда, которой не хватит  
 Тепла, если дни на излет.  
 И каждый за что-нибудь платит,  
 Кто после, а кто-то вперед.

## Лето в Симеизе

Из зимней беспросветной лени,  
 Из мутного, как сон, стекла  
 Вдруг отслоились два мгновенья,  
 Почти бесплотных два крыла.  
 «Жива ли я? — Жива, жива...»  
 И островерхние растенья  
 Как перья пробует трава,  
 Вплетая бабочки движенье  
 В рисунок облаков и птиц,  
 И в очертанья чьих-то лиц,  
 Что наклонились над травой.  
 Огромный воздух голубой  
 Стал веществом и стал простором,  
 И птичьим щебетом, и вздором,  
 И медноликою сосной.  
 Живое отражение лета  
 На влажном движется песке, —  
 То птичий след оставит где-то  
 Из ничего возникшим светом —  
 Смолой на выцветшей доске  
 Застынет вдруг, живя подробно.  
 А ливни сумеркам подобны,  
 И дремлет кошка в холодке.

\*\*\*

Как мешает влюбленность теченью обычного дня.  
 Обязательным просьбам, привычным звонкам и вопросам.  
 Ты достанешь меня, даже взглядом достанешь меня,  
 и я стану ничем, просто легким огнем папиросы  
 в чьих-то пальцах. Уносит дыхание прочь.  
 А вчера ты прошел и махнул бесполезно рукою,  
 я лечу пропадать. Серым присвистом мгlistая ночь  
 созывает туман, чтобы таять потом над рекою.  
 Скоро лета канун, обозначенный словом — весна,  
 и осыплются вишни и майские грянут морозы.  
 Я давно собираюсь смешать и забыть имена,  
 разметав лепестки, будто письма, в разреженный воздух.  
 То озон, то озноб, опалив полукружия слов,  
 в небесах грозное бесчинствует, плавится жало.  
 Я давно бы сказала: по кругу проходит любовь,  
 только слеп этот странник, и ему не вернуться к началу.  
 Ты зашел далеко, ты сумел бы и дальше зайти,  
 где по пояс трава — видно вправду приснилось мне лето.  
 И проснуться не жаль — засыпать я боюсь. Отпусти.  
 И потом отпусти. И не надо мне больше об этом...

\* \* \*

А когда спешить друг к другу устали,  
Сразу осень отвернулась и скрылась,  
Прохожу сегодня теми местами,  
Не узнать их, знаешь, все изменилось.

Заметать следы торопится город,  
И следов-то тех — самая малость...  
Поднимаю на ветру стылый ворот,  
Лишь одна зима на свете осталась.

А тебя здесь вспоминают не часто,  
Впрочем, это все, конечно, пустое...  
Время к нам, ко всем давно безучастно,  
Ничего лечить им, знаешь, не стоит.

Навестить тебя — мне повода нету,  
А случайно встретить — где та случайность?  
Набираю телефон, жду ответа...  
Знаешь, все-таки, наверное, скучаю.

\* \* \*

Вот и я больше дни не считаю,  
Отпускаю кружиться окрест,  
Будто ту говорливую стаю  
Из каких-то несбывшихся мест.

И подхватит их воздух незримый,  
То поднимет, то бросит опять,  
Соберу ли, пройду ли я мимо?..  
Мне уже ничего не поднять...

Потревожит ли отзвуком чувства  
Неуверенный утренний свет?..  
Все равно. Здесь дождливо и пусто.  
Только осень, а прошлого нет.

Только этой равниной покатою,  
Только ей и дышать точно зверь...  
Так любить не умела когда-то,  
Для чего же умею теперь?



## Владимир АЛЕЙНИКОВ

*/ Коктебель /*

### Воитель

...Ветер ли свежий с востока ночью, во тьме, из глуби времени и пространства, разъятого, для кого-то, и собранного мгновенно в единый, предельно сжатый, энергетический сгусток, распаханного, на север, на запад, на юг, на восток, и вытянутого зачем-то, как мост, посреди вселенской, в движении вечном, жизни, для памяти и для речи, для новой, желанной встречи, сюда, в укрое киммерийский, в мой дом и в сон мой тревожный, где вновь чередой видений томило меня бывшее моё, налетел внезапно, ворвался с вестью о чём-то далёком и незабвенном, или что-то ещё случилось в мире нашем, право, не знаю, трудно сразу понять, и, тем более, трудно сразу об этом сказать, — да только с утра лежали на влажной земле, на садовых дорожках, и на ступеньках крыльца, и у двери входной, не шурша ещё под ногами, под ледком ещё не хрустя, раскалённые, жаркие груды воспалённых, иссиза-алых листьев дикого винограда, над которыми сызнава пели, бормотали, меланхолично и тихонько что-то играли, так прощально и грустно звучали посреди осенней, с избытком чувств, и дум, и надежд, поры, в удивлённо-прохладном, чутком к звукам этим, густеющем воздухе, отрешённо-звенящие струны устремлённых вперёд и ввысь, по привычке давней, упругих, оголённых, устало вздыхающих, о какой-то потере скорбящих и упрямую веру таящих в предстоящее с новой весной возрождение, цепких, выносливых, вдохновенно, в любую погоду, сквозь преграды вьющихся лоз...

Игорь Ворошилов, человек исключительно своеобразный, а вернее, и это правда, уникальный, такой, каких днём с огнём не сыщешь в разброде всё неожиданно переиначившего и смешавшего нашего нынешнего междувременья, за которым вижу я, отшельник давнишний, отрешённые от всего, что душа их не принимает, понимания, просто внимания терпеливо, устало ждущие, за чертою смуты бредущие к эмпириям своим наивным, огорчённые,

гордые тени драгоценных моих товарищей по сражениям лет былых, тоже друг мой, причём настоящий, периодически, чаще ли, реже ли, но неизменно появлялся на горизонте.

Некоторые из прежних, памятных мне доселе, стремительных ворошиловских появлений, порой спонтанных, но всегда для меня желанных, поневоле хотелось сравнить с прохождением непредвиденным поистине беззаконной, как Пушкин заметил, кометы или падением, с высей вселенских, в земную действительность, крупного метеорита.

Но такое, из ряда вон выходящее, по причинам, не всегда, не для всех, объяснимым, случалось не так уж и часто.

В большинстве — старшинстве — случаев появление друга Игоря скорее напоминало, да, со всеми приметами зримыми и догадками всеми незримыми, с удивительной схожестью внешней с конкретным оригиналом, с методичностью завораживающей, ритуальной, олицетворяло какое-нибудь одно из четырёх времён года, удачного или до крайности неудачного, в зависимости от его, Игорева, настроения и состояния данного светлой, мятежной, мятущейся, крылатой его души.

Ещё совсем ведь недавно, в прежней моей квартире, он по долгу жил у меня, помногу, в охотку, работал.

Сутками напролёт вели мы с ним, по традиции, сложившейся как-то сразу и принятой нами обоими как нечто закономерное, перемежающиеся с трудами, его, живописными, и моими, со словом связанными, бесконечные, словно молодость, беспредельные, словно свет, безграничные, словно мир, доверительные беседы.

Теперь обстоятельства — надо же! — негаданно изменились.

Ночлег у меня, куда надёжнее, чем у других, больше не мог для него быть по возможности длительным, с наличием благ минимальных для жизни, столичным пристанищем.

В подмосковных Белых Столбах, где, так уж вышло, имелась у него захудалая комната, было ему находиться, в одиночестве затянувшимся, и в прежнее-то, посветлее, потому что моложе был, время, невыразимо тошно, а с годами, с их опытом горьким, с каждым прожитым без его любимой, желанной, единственной, без Миры, слишком далёкой, живущей отнюдь не в столице, а в провинции, на Урале, напряжённым, сумбурным, тяжким, в ожидании счастья растрченным, канувшим в прорву бездонную, только чаюньем и сохраняемым, только творчеством и озаряемым, годом — ещё тошнее.

Он маялся там, на отшибе, один, почти что в глуши.

Его то и дело тянуло к людям, в их гущу, где было главное: то есть — общение. Какая-никакая, а среда!

Он кочевал. Приезжал в Москву, бродил по знакомым.

И мне, признаться, его так порою не доставало!

Вижу его в отдалении, высокого, высоченного, выше многих вокруг, нескладного, сутулящегося, словно стесняющегося нежданного своего появления на людях, но в то же время и полного



духовных сил и физических, врождённых сил, от природы, значительного в движениях и жестах, с великолепной головой мыслителя, странника очарованного, и воина, с взлохмаченной, тронутой проседью, шевелюрой, с резко, решительно и смущённо вперёд выдающимся, слегка искривлённым, несколько карикатурным носом — этаким хоботком смешным добродушного зверя, с полураскрытыми, детскими, шевелящимися губами и подбородком, упрым, твёрдым, вдруг придающим притягательное обаяние узкому, со щеками, наспех выбритыми, лицу, из глубины которого, таинственной, недоступной для многих непосвящённых, сияют умные, зоркие, пронзительные глаза.

То ли сказочный витязь, отважный, в мир на подвиги славные вышедший и застывший вдруг на распутье, то ли большой ребёнок, волею судеб заброшенный в совершенно чужой, огромный, хаотичный столичный город, ужасающий, но и властно, беспощадно, неумолимо, так, что лишь вздохнуть остаётся да шагнуть в эту прорву хищную, притягивающий к себе.

А вернее всего, пожалуй, так: художник от Бога, призванный в мир для того, чтобы в нём, трудясь неустанно, созидать, а не разрушать.

Изобретатель, а не приобретатель, — по формуле горячо любимого им Хлебникова, делившего человечество на эти две категории.

Мазила.

К тому же — верзила.

С виду — ну впрямь грозила.

Застенчивый и неловкий, но рвущийся в бой дерзила.

— Да, я мазила, — писал когда-то, в пылу вдохновенном, в сиянии неизменном правоты высокой своей, словно странник, дервиш, мудрец на пути, ведущем к прозреньям небывальым, с вершины духовной, Ворошилов своим родителям, тревожившимся за судьбу непутёвого, хоть и талантами с детских лет поражавшего всех, непохожего на других, понормальной, попроще, людей, в рядовые каноны и русла не вмещающегося, хоть тресни, озадачивающего многих, огорчающего поневоле их, отца и мать, продолжающих, тем не менее, твёрдо верить в то, что всё ещё образуется, что, даст Бог, дождётся он в будущем изменений к лучшему в жизни, встанет на ноги, образумится, заведёт, возможно, семью, словом, все оправдает надежды наконец, горячо любимого, но такого, каков уж есть, что поделаешь с ним, такой уродился, видать, их сына, — но вы должны знать, что этот мазила — один из лучших мазил России.

Старое, тесноватое, задрипанное пальто с протёртыми, коротковатыми рукавами, мятые брюки с разноцветными пятнами красок, дешёвые, вдрызг разношенные ботинки, рубашка линейная, мешковатый пиджак или свитер — одежда его привычная, не

стоящая внимания лишнего, слишком условная оболочка, из-под которой иногда, всегда непредвиденно, заставая врасплох окружающих, вдруг взмывал, на глазах у всех, поражая, обескураживая даже виды видавших людей, устремляясь куда-то ввысь, в небеса, ну а может, и дальше, в глубь вселенной, к мирам неведомым, к озареньям, прозреньям, чаяньям, к измерениям неземным, некий плотный, жаркий, светящийся луч ли, столб ли, — столько могучей, первозданной, светлой энергии там таилось, где-то под спудом, не понять ничего, и всё тут, не проникнуть туда, внутри.

Самим собою — и только самим собою, подчёркнуто, мол, как же ещё иначе, по-другому ведь быть не может, человек, да ещё и художник, должен быть лишь самим собою, и никем иным, это важно, это главное, это правило непреложное, это закон, так уж в мире заведено испокон веков, — оставался он везде и всегда, в любой ситуации, самой ли сложной или так себе, пустяковой, жил, не просто существовал, рефлексирова, прозябая, в нищете хронической, где-то на отшибе, вне досяганья, в глухомани, да и в столице, в суете, в пестроте повседневной, в тесноте бытовой, коммунальной, в толчее вагонной, вокзальной, в темноте мастерских подвальной, в пустоте окраин печальной, там, где снег заметал повальным все пути, или дождь прощальный шёл всю ночь до утра, — он жил, сам по себе, независимый от обстоятельств житейских, невесёлых, а то и плачевных, и трагических, зачастую, то на чём-то сосредоточенный сокровенном, ушедший вглубь, в лабиринты своей метафизики, в измерения своей мистичности, ввысь, к истокам своим ведическим, то внезапно, разом встряхнувшись и опомнившись, распрямляющийся в непредвиденном и стремительном, по чутью, по наитью, порыве.

По-журавлиному как-то голенастый и длинноногий, с могучей грудною клеткой, в отрочестве и в юности хороший спортсмен — пловец, бегун, конькобежец и лыжник, неутомимый ходок, бездомничая, неделями бродил он по всей Москве, по причине слишком знакомого, постоянного до безобразия, опостылевшего вконец, но куда от него деваться, да и как, отсутствия денег, не имея возможности ехать, хоть куда-нибудь, к цели смутной, на транспорте городском, просто шёл себе, да и всё тут, в направлении нужном, пешком, и даже из Подмосковья добирался, бывало, в столицу вовсе не на электричке, но терпеливо, привычно вышагивал, в одиночестве, в любую погоду, и в пору года любую, десятки, а общей сложности сотни и тысячи километров, о чём-то своём размышляя, вдоль тянувшихся в пространство, сквозь время его земное, железнодорожных путей.

Постоянно недоедавший, при случае подходящем, разом, обычно, впрок, навёрстывал он упущенное.

Способен был выпить чуть ли не ведро спиртного, любой, даже самой высокой, крепости, при этом всегда поминая вырази-

тельным, добрым словом своего былинного деда, выпивавшего регулярно, по семейным преданиям, добрую четверть водки — а ну-ка представьте эту ёмкость себе — за обедом, а потом с удвоенным рвением приступавшего к разнообразным хозяйственным, благо вдосталь их, как известно, бывало, работам.

Если уж он рисовал, если уж он дорывался до любимейшего занятия своего, до темперных красок, акварели, гуаши, угля, сангины, карандашей, восковых мелков или туши, до всего, чем способен был он заполнять пустую дотоле поверхность кусков оргалита, картонок, фанерок, листов бумаги, дощечек, холстов, то происходило это на едином, невообразимо долгом, таком, что и сравнивать не с чем его, дыхании, без малейших, вполне естественных, для любого другого, только не для него, находящегося в творческом трансе, признаков усталости и без всяких, даже крохотных, перерывов, покуда длилось и властвовало над ним, над его душою, нужное, с ритмами, важными для созданий его, состояние, — и количество сделанных им работ, изумлявших свидетелей ворошиловского рисования, учёту не поддавалось, и свет их, и дух высокий очевидными были для всех.

Именно так работал он, бывало, в давние годы, у меня в квартире, под музыку Моцарта или Баха, держа на коленях картонку или бумажный лист с подложенной под него какой-нибудь твёрдой основой.

Ещё в такую далёкую пору, что диву даёшься теперь, в совершенно другую эпоху, в новом столетии, как и в самом деле давно это было, хотя никуда не ушло из души, из памяти, и уже никогда не уйдёт, в шестидесятых, во время первого моего посещения Ворошилова в Белых Столбах, где в облупленном доме барачного типа была у него своя комната, нелюбимая, но, с натяжкой, да всё же своя, собственная, то есть та, где прописан, чудом полученная однажды от Госфильмофонда, где работал он, по специальности вгиковской, киноведом, — ещё тогда, в подмосковной круговерти снежной, которая за окном клубилась, поблизости, вечера, густея, темнея, когда посмотрел я едва ли сотую часть «картинок» ворошиловских, так называл их он, а вокруг меня лежали, висели, стояли и валялись, на каждом шагу, где попало, бессчётными горами, кипами и холмами прочие, удивительные, неожиданные, пока что не увиденные, творения, так их лучше всего называть, полагаю доселе, и я, поражённый всем, что предстало предо мною, с трудом, постепенно в себя приходил, а он стоял среди этих сокровищ, долговязый, смущённый, радушный, радуясь, что пришлось по сердцу мне светоносные эти произведения, — понял я навсегда, что это великий художник.

Что бы он и когда бы ни делал, за что бы ни брался, — во всём, это сразу бросалось в глаза окружающим всем, был у него исполнский, и никак не иначе, дух, раблезианский размах.

С такой вот, необычайной, одному ему только и свойственной, широтой души и безмерной, необъятной творческой щедростью, с безудержностью в пристрастиях геркулесовых и запросах, с неистовой самоотдачей, он, такой уж, как есть, разумеется, не вписывался ни в какие общепринятые, стандартные рамки — и для обитателей московских квартир и приятельских, большей частью подвальных, прокуренных, тесноватых, сырых мастерских то и дело бывал непонятен, а нередко и неудобен.

При необходимости, ежели случай такой выдавался, для некоторых, не знавших толком его, неожиданно, поражая их, этих некоторых, озадачивая, восхищая, обнаруживал он обширные познания в философии, истории, литературе, без музыки просто жить не мог, хорошо разбирался в учениях эзотерических, историю мировой живописи превосходно знал, — и, в противовес премудростям этим, живо интересовался политикой, вообще абсолютно всем, что происходит в мире окружающем, регулярно газету «Советский спорт» читал, внимательно, пристально, за ходом соревнований, решительно всех, следя.

Общий язык находил и с интеллектуалами, и с похмельными горемыками у пивной окраинной или в магазинных, километровых, с нервотрепкой, очередях за желанной выпивкой, — был в высшей степени демократичен.

Этот крупный во всём, природой, так считали друзья, рассчитанный на столетие, человек тратил себя, стремительно, буйно и неудержимо, ежедневно и ежечасно, как сроду никто себя не тратил из окружающих.

Он точно ежемгновенно и обострённо-чутко прислушивался к различаемым только им самим, и никем другим, особенным ритмам бытия — и жил, в этих ритмах находя отраду и волю, широко, размашисто, щедро.

Вырос он в Алапаевске, городе, исторически связанном с царской семьёй, в семье по-советски униженных, гонимых спецпереселенцев, сорванных с места, высланных, неизвестно зачем, с Кубани — в глухомань, далеко на Урал.

Род свой вёл Ворошилов — от запорожских казаков.

Правильная, сечевая, на украинский лад, скифской древности отзвук хранящая, степовая его фамилия должна бы писаться правильно, по традиции, — Ворошило.

Но фамилию, по привычке государственной, неистребимой, как это сплошь и рядом делалось, начиная с Екатерины Второй, и продолжалось, при прочих царях, чиновничьи крысы, дабы вытравить память о Славии запорожской, о силе её, о славе прежней, о духе воинском, умело русифицировали.

При советской власти, когда всё поставлено было с ног на голову, половину кубанцев сознательно записали, конечно же, русскими, а другую их половину — разумеется, украинцами, чем внесли немалую путаницу в само понятие этого древнего, монолитного, единого, на протяжении озарённых служением родине тысячелетий, народа.

Ведь казаки — вовсе не воинское сословие, а народ.

Один из вполне легендарных ворошиловских славных дедов носил фамилию птичьую, щебечущую, — Горобец. По-украински так называется именно птица, известная всем, — воробей. Можно себе представить этого двухметрового, наделённого богатырским, отменным, железным здоровьем и, к тому же, ещё обладавшего просто чудовищной силой и редкой работоспособностью, былинного предка Игорева, человечиха-«воробья».

В древнем роду ворошиловском, по отцовской и по материнской линии, было немало таких вот, дюжих и рослых, полных сил, крутых мужиков.

Запорожцы, уж так повелось, да и все вообще казаки, испокон веков, искони — прирождённые воины. Кшатрии.

Вот и мой друг Ворошилов был прирождённым воителем.

По природе своей. По крови. По рождению. Вечным воином.

Нелепым всяким историям, перед которыми сразу же тускнеет и попросту меркнет прославленный повсеместно и многими почитаемый доселе театр абсурда, начало своё берущий не где-то на стороне, в чужих, зарубежных краях, а в пьесах нашего Чехова, комическим происшествиям, таким, что и в самом деле не хочешь, да обхохочешься, и вспомнишь в первую очередь не кого-нибудь там, а Гоголя, событиям драматическим, из тех, что, уж так положено у нас на Руси давно уже, за версту отдают Достоевским, и даже вполне трагическим событиям, за которыми встаёт едва различимая, но явная тень Шекспира, сопутствовавшим Ворошилову постоянно, в любые годы жизни бурной его, недолгой, к сожалению, — несть числа.

Их он словно упрямо притягивал, отовсюду, где бы хоть раз он случайно ни появлялся, где бы ни обитал, — к себе.

Так, наверное, на войне — вызывают огонь на себя.

Пару забавных случаев — пусть звучит по-одесски это, ничего, — нынче можно, пожалуй, вам, читатели, рассказать.

Как-то бродили мы с Игорем в Сокольниках. В тех Сокольниках, где блистательный Толя Зверев, работавший там не кем-нибудь, а, представьте себе, маляром, когда-то, в пятидесятых, за неимением нужных для него холстов и картонов, на природе, среди шелеста лиственного и весёлого щебета птичьего, писал, на газетах прямо, на «Правде», «Советской культуре», «Известиях» и «Вечорке», маслом, свои этюды, на которых деревья окрестные хоровод с облаками водили, было небо хмельным немного, в доску пьяной была трава, поднимались цветы войсками зазеркальных, сказочных стран, пребывал в измерении странном весь подаунный, подсолнечный мир, белый свет был ещё дороже, чем в его довоенном детстве, каждый взгляд был ещё пронзительнее, чем вчера, и каждый мазок был ещё точнее, чем прежде, и всегда устремлялся в завтра, чтобы завтра уйти в послезавтра, и так далее, в

яром азарте, вдохновении, взлёте, трансе, — в тех Сокольниках, где однажды заприметил его случайно там гулявший один человек, по фамилии Румнев, и сразу же изумился, увидев здесь, в старом парке, среди природы среднерусской, перед собою, неустанно производящего несравненную, дикую, дивную, фантастическую, поющую, небывалую просто живопись, натурального русского гения, и немедленно с ним познакомился, и повёл его тут же к Фальку, и прославленный мастер, узрев произведения зверевские, сказал, что такие художники рождаются раз в столетие.

Стоял июнь. Было в мире не то чтобы очень жарко, но достаточно всё же тепло для того, чтобы нам обоим очень уж захотелось выпить пива, именно пива, холодненького, шипучего, по возможности, если выйдет, если вдруг пофартит, — побольше. Возможности наши были тогда, увы, ограниченными. Однако на несколько кружек желанного, даже в мыслях восхитительно пузырящегося, светло-жёлтого, лёгкого, жажду летом лучше всего утоляющего, пенистого напитка некоторое количество денег, немного бумажных, и в основном, конечно, разнообразной мелочи, мы всё-таки наскребли.

Ну а поскольку скромные, но очевидные средства были, как говорится, налицо, и нам оставалось истратить их по назначению, то мы, разумеется, тут же, вдохновлённые предвкушением удовольствия, незамедлительно, собрались, быстро вышли из дому — и двинулись вместе в поход.

От моего тогдашнего дома, недавно построенного и заселённого нами, жильцами, тоже недавно, менее года назад, нового дома, кирпичного, буровато-жёлтого цвета, говорившего мне всегда о присутствии осени в мире, даже летом, даже весной, ну и, само собою, зимой, когда среди снежной, завихряющейся белизны, морозной, вьюжной, холодной, напоминал он мне о жёлтой листве осенней, со всеми её оттенками, — дома, гнезда богемного, приюта для сонма знакомых моих, на улице, ставшей весьма популярной в Москве, улице шумной, проезжей, названной в честь неизвестного нам Бориса Гадушкина, до Сокольнического, манящего нас к себе, огромного парка, было рукой подать.

Следовало пройти пешком по знакомой нам улице в сторону, противоположную помпезной ВДНХ, или проехать несколько совсем коротеньких, быстро сменяющихся остановок на красном — «трамвайная вишенка страшной поры» — трамвае, пересечь свободно раскинутый над пространством, изрезанным грубо, широко, на глазок, размашисто, вкривь и вкось, поперёк и вдаль, разветвляющимися, змеящимися, норовящими убежать неизвестно куда и тут же возвратиться скорей обратно, железнодорожными рельсами и мазутом щедро пропитанным, и щебёнкой засыпанным впрок, боковыми юркими тропками, как морщинами, изоброщённым и забытым внизу почему-то, как ненужное нечто, мост, под которым со свистом и грохотом пронеслись зелёные пригородные электрички, свернуть направо — и вот она, в меру

запущенная и не в меру для нас притягательная, вся, как есть, с листвою и мусором, с прохожими одиночными и с группами подгулявших окрестных людей, окраина парка, лесного массива, озона сплошного, приволья на столичной глинистой почве, чего-то вроде понятного, но такого, что сразу не выразить, словом, некоего прорыва из жары в прохладу блаженную, на две трети воображаемую и на треть отчасти похожую то ли вправду на явь неведомую, то ли, может, всё же на сон.

Поездку на быстром трамвае, ради более чем серьёзной экономии нашей наличности, мы, подумав, сразу отвергли.

Мы шли вдоль трамвайных рельсов, быстрым шагом, вдвоём, пешком — и так вот, по давней привычке, как два пешехода заядьих, незаметно, за разговором, прошаи всю короткую улочку, заросшую, вдоль дороги, не просто слишком высокими, по прямотаки гигантскими, разносящими щедро по всей, ошалевшей слегка от сплошной круговерти белой, округе свой обильный, всепроникающий и, похоже, вселенский пух, светлокорыми, слишком широкими, рук вдвоём не сцепить, в обхвате, примечательными своими необъятными, слишком свободно и уверенно расположенными в городском, расписанном кем-то по минутам, не по часам, подневольном, имперском времени и предписанном властью пространстве, доселе могучими кронами, старыми тополями, ряды которых, редея, устало чередовались с приземистыми шеренгами облупленных низких бараков, уже теснимых упорно и плотно к ним подступающими, одновременно, со всех четырёх сторон, угрожающими оттеснить их совсем отсюда в никуда, навсегда, новостройками, потом поднялись на мост, прошли по нему, спустились вниз — и вмиг оказались в запущенной, густо заросшей стоящими не почти вплотную, но с перебором, так, что плотней не бывает, друг к другу, сосед к соседу, вид к виду, порода к породе, стеною сплошной, деревьями и сроду никем никогда издревле не подрезаемыми, косноязычными, праздными, языческими кустами, полной свежей, приятной, ласкающей глаз, расплёснутой всюду зелени и птичьего дружного пения, части парка, больше, пожалуй, напоминавшей лиственный, полноценный, таинственный лес.

Да это и был ведь самый что ни на есть настоящий, довольно большой, просторный, нешуточный, словом, лес.

Иногда деревья слегка расступались, и в этих проёмах обнаруживались залитые солнечным светом поляны, до такой одуряющей степени и с восторгом таким непомерным, ошалело, в геометрической, разрастающейся прогрессии, как пришлось, охотно заросшие густейшей зелёной травой, что в ней только чудом, случайно можно было вдруг обнаружить разомлевшие и покрасневшие, раскалённые на солнцепёке тела позабывших здесь о приличиях и порядках, доверившихся покою, пускай не совсем надёжному, но всё же вполне заслуженному, и воле, пусть относительной, но всё же вполне доступной, загорающих москвичей.

Мы с Ворошиловым шли напрямик, достаточно быстро, постепенно, интуитивно всё ускоряя шаг, шли — к цели своей, к тем заманчивым и зовущим к себе местам, где в Сокольниках, на приволье, вот ведь как, торговали пивом, шли иногда по дорожкам, иногда — и через поляны, наискось, по петляющей в зарослях диагонали, пересекая эту, окраинную, лесную, в достаточной степени дикую, территорию парка огромного, — и вскоре, с трудом немалым, но всё-таки добрались до более окультуренных, с различными аттракционами, павильонами и ларьками, всем известных, вольготных, сокольнических, с птичьим щебетом, с шелестом лиственным, с небом синим над щедрой зеленью, над гульбою людскою, мест, — и в итоге благополучно, без особых в пути приключений, без ненужных недоразумений, оказались в одной из пивнушек.

Там, постояв поначалу, как и все сограждане, в очереди, получили мы наконец из натруженных красных рук пивной рыхлаватой тётки, по привычке неистребимой и корыстной к тому же, небрежно, мол, и так сойдёт, ничего, всё допьёте, до самого доньшка, ею налитые на глазок и дополненные художественно пузырящимися, напоказ, да и только, громадными шапками скользкой, схожею с мыльной, пены свои, не очень-то чистые, полудитровые кружки, по четыре кружки на брата, потом отыскиали себе местечко довольно удобное с краю, поближе к зелени, к природе желанной, устроились за столиком — и принялись утолять, наконец-то, жажду.

Первую кружку выпили мы залпом — в награду за пройденный нами, целенаправленно и довольно быстро, немалый, в несколько километров, по улицам, по жару, сквозь гущу Сокольников, путь, скорее даже, и в этом свой резон есть, — за маршбросок по пересечённой местности.

Вторую кружку мы выпили тоже довольно быстро, вслед за первой, вдогонку, чтобы закрепить ощущение временной, но зато и приятной, свежести, с натяжкой — даже прохлады, сопутствовавшее всегда самому понятию — пиво.

Жажда, казалось бы, — так ли? — частично, пусть и частично, что, в общем-то, хорошо, нормально, по нашим понятиям тогдашним, по нашим правилам давнишним, была — ну, пусть, поверим в это, на время, вообразим себе, что это именно так, что всё в ажуре, в порядке полном, — утолена.

У нас оставалось ещё по две, всего-то, кружки.

Денег больше — у нас обоих — не было. Ни копейки.

Приходилось нам проявлять выдержку — и растягивать мнимое удовольствие.

Мы закурили. Я — сигарету, привычную, в молодости, в красной пачке, без фильтра, «Приму». Ворошилов — свою папиросу, извлечённую им из растерзанной, смятой пачки, дешёвый «Север».



Мы поглядывали вокруг — и почти ничего друг другу, что случилось, хоть и не часто, почему-то не говорили.

Надо прямо заметить, без всяких околичностей и недомолвок, — никакого комфорта мы здесь, в пивнушке, вовсе не чувствовали.

Ну, добрались до пива. Делов-то! Подумаешь, невидаль!

Ну, сидим в захудалом, пропахшем кислым запахом, то ли пивным, то ли, может, ещё каким, всё бывает ведь, заведении. Народу в нём — предостаточно. С избытком. Полным-полно. Шум, непрерывный, всеобщий. Сплошной, неумолчный гвалт. Гогот какой-то, хохот. Крики, призывы, смех. Чья-то, в зачатке, драка. Чьи-то, в итоге, слёзы. В общем, подобье мрака. Бред и разброд — сквозь грёзы. Шаткий, немислимо грязный столик, с которого тихая, пьяненькая уборщица с грохотом собирает пустые кружки, которые, больше для виду, изредка, нехотя протирает подозрительно серой, сырой, вонючей, мохрящейся тряпкой.

А уюта — нет и в помине.

И покой — он-то напрочь отсутствует.

К тому же, количество пива в наших кружках, — пусть и сознательно, от безвыходности, скорее, от нелепейшей безысходности, что маячила впереди, что сжимала сердце в груди, отпивали его мы крохотными глотками, — всё уменьшалось.

Глоток за глотком, слово за слово, за минутой минута — и вот он, пожалуйста, грустный итог похода нашего: пиво уже, незаметно как-то, но, тем не менее, выпито.

Надеяться на продолжение, наверное, слишком наивно принимаемого тогда нами летнего долгого пиршества было нечего. Да, надеяться было нечего. Да и не на кого.

На какие шиши, скажите, нам сейчас его продолжать?

Оставалось одно лишь действие, вынужденное, реальное, драматическое, эпохальное, — плестись восвосяи обратно.

Что и пришлось нам сделать.

Эх, частенько такое бывало!

Не успеешь порой и во вкус войти, как тут же приходится приятное для души занятие прерывать.

А всё — по простейшей причине: из-за отсутствия средств.

Солнышко, для кого-то, может быть, и весёлое, но уж точно, что не для нас, горемычных друзей, пригревало.

Мы, смилив себя, возвращались, из пивнушки, с её толкотнёй, из приволья, из щебета птичьего, из весёлого шелеста листового, из лесного зелёного мира, обратно, в мою квартиру.

Там, глядишь, что-нибудь толковое, может, к вечеру и придумаем.

Вдруг зайдёт кто-нибудь из моих многочисленных, несть им числа, это верно, столичных знакомых, да ещё и предложит выпить вместе с ним, в охотку, пивка, ну а может быть, и не только, почему бы и нет, пивка, а чего-нибудь и покрепче.

Казак — он всегда в седле.  
 В бедах — не унывает.  
 Правда — есть на земле.  
 Всякое ведь бывает.

Вот мы и шли с Ворошиловым, сокращая свой путь, срезая все углы, приминая траву зелёную на полянах, огорчённо шурша подошвами по дорожкам разнообразным, шли — с обидою на действительность, на житуху нашу нескладную, вот уж точно, практически нищую: ну скажите нам, почему же никогда не выходит так, чтобы хоть единственный раз двум друзьям отдохнуть спокойно, — сплошь и рядом что-нибудь этому, с изуверством настырным, что ли, с подковыркою ли какую подозрительной, да мешает, всё мешает, и это тянется, шлейфом долгим, длиннее некуда, мы-то знаем, из года в год, и конца и краю вот этому безобразию натурально не предвидится, да, похоже, не предвидится, никогда.

С каждым пройденным метром по местности густолиственной, пересечённой, с каждым сделанным шагом по тропкам и дорожкам, с их пылью, камнями, с их песком, их глиной, корнями, вылезавшими узловатыми, шишковатыми, твёрдыми, прочными, как металл, сплетениями дружными, то и дело, из-под земли, из-под сочной травы, наружу, может — просто погреться, на свет, ну а может быть, чтоб о них ненароком кому-то споткнуться, Ворошилов, глядя вперёд, в никуда, или в дебри грядущего, настроения лучшего ждущего, в роли путника, вечно идущего да идущего, в поисках сущего, да, возможно, всякое грезилось на пути, всё мрачнел и мрачнел.

Он уже не шёл, как обычно, в нужном ритме, быстро, размашисто, а почти что по-стариковски, с напряжением, ковылял.

Он сутулится, втягивал голову, горделивую ранее, в плечи, отчего его крупный нос ещё больше вперёд выдавался и покачивался на ходу, как печальный, ненужный, лишний, озадаченный бестолковщиной и тщетой, вопросительный знак — мол, ну что это, братцы-кролики дорогие, за жизнь такая?

Жажда, обоими нами недавно, совсем недавно, вроде бы, пусть и на время, но всё-таки утолённая, ненадолго, понятное дело, снова томила нас.

Во рту было сухо. Так сухо, что сложно выразить это. Поймут ли нас? И хотелось просто-напросто пить.

Пива ли выпить, воды ли, с градусами ли, без градусов ли, влаги бы лишь, — уже как-то, можно сказать, всё равно.

Впереди блеснула полоска отчасти лесной, прохладной, зеленовато-бурой, отчасти пронзительно-синей, отражающей небо высокое с белыми, кучерявыми, плывущими преспокойно, куда-то к хорошей жизни, к обещанным светлым далям, редкими облаками, стоячей, тихой, нетронутой давно, зацветшей воды.

Мы подошли с Ворошиловым к мелкому, густо, старательно, до самых краёв заросшему липкою тиной пруду.

Глядя на слабо, как в луже, хлюпающую внизу, рядом, почти под нашими ногами, такую блёклую, окраинную, захолустную, позабытую, позаброшенную, воду, в которой, как в зеркале, непротертом, довольно тусклом, заодно с деревьями ближними, отражались и мы, Ворошилов, поначалу меланхолически, а потом оживившись заметно, и даже с таким пламенным, геройским, эпическим пафосом, произнёс похвальное слово летнему, именно летнему, не бывает ведь лучше, купанию, — и тут же, прямо по ходу своего монолога, вспомнил, как в отрочестве, на родине, в Алапавске, на Урале, любил он, взяв камень побольше, чтобы раньше нужного времени не выплыть вдруг на поверхность, ходить преспокойно по дну речки, ходить и пугать плавающих девчонок, иногда хватая их за ноги.

Ворошилов, припомнив прошлое, даже повеселел.

— Я здоровый тогда был, выносливый, не то, что теперь, в Москве, при такой-то жизни сумбурной, такой был крепкий, поверь, что куда там, кремень, монолит, богатырь из былин, да и только! — сказал он мне, по привычке простирая длинную руку ввысь куда-то и вдаль, и при этом чуть покачивая головой.

Покосился вспыхнувшим глазом на меня и этак спокойно, скромно, просто совсем, прибавил:

— Под водой я мог находиться по четыре минуты. Запросто. Много раз. Много, много раз. Как в цыганской песне поётся. И без всяких там перерывов. Набирал я побольше воздуха — а у нас был он чистый — в лёгкие — и нырял. А когда выныривал — воздух в лёгкие вновь набирал. И — нырял. Всё нырял и нырял. Веселился. Всем весело было. Девки наши визжат огушительно. Парни наши дружно смеются. Ну а я всё ныряю себе — да выныриваю. Развлекаюсь. Между прочим, такие забавы — тоже спорт. Настоящий спорт. Я, возможно, был чемпионом. Все рекорды шута побивал. По четыре минуты сидел под водой, даже больше сидел, ведь бывало, — и хоть бы что!..

Ворошилову я — не поверил:

— Брось, Игорь, шутки шутить. Четыре минуты! — да это ведь очень много, неслыханно много. Думай, что говоришь.

Ворошилов даже обиделся:

— Вот ей-Богу, Володя, было, и не раз! По четыре минуты, ну, чего там, подумаешь, невидаль, и поболее, до пяти, до пяти, и час-тенько, минут под водой, бывало, сидел! Жив, как видишь. Ты что, мне не веришь?

— Нет, конечно! — ответил я.

— Значит, вижу я, ты не веришь?

— Нет. А ты, вспоминая подвиги, те, былые, из мифов, из сказок, всё же думай, что говоришь.

— Часы у тебя, Володя, есть? — спросил Ворошилов.

— Есть, конечно. Идут исправно. Вот они, посмотри, на руке, — показал я свои часы.

— Так. Идут. Всё в порядке. Очень хорошо. Ну тогда — смотри!

Без всяческих лишних слов, не просто, как часто бывает с любимым из нас, очень быстро, а стремительно, по-спортивному, Ворошилов скинул с себя, раз — и всё тут, рубашку и брюки.

Он стоял, по-бойцовски подтянутый, на берегу пруда, высоченный, как тополь, в длинных, сатиновых, так называемых «семейных» старых трусах, бывших когда-то чёрными, а теперь линялых и сморщенных, разминая широкие плечи, перебирая ногами, демонстрируя всем своим видом непривычным — готовность к бою.

— Я готов! — громко крикнул он мне. — Засекай, друг Володя, время!

И грузно, с разгону, плюхнулся в раздавшийся, охнувший пруд.

Зеленовато-бурая перепуганная вода расплескалась от неожиданного человеческого вторжения в тишину её и сонливости, а потом с натугой сомкнулась, грязно-белой покрывшись пеной, закипев, над его головой.

Стоя на берегу, я смотрел на свои часы.

Одна минута прошла.

Другая прошла минута.

Третья минута прошла.

Секундная стрелка сделала ещё один быстрый круг.

Четыре минуты. Четыре!

Ворошилова, занырнувшего в пруд сокольнический, всё не было.

Я уже начинал беспокоиться.

Секунды бежали. Четыре с половиной минуты... Факт!

Ворошиловская голова, облепленная обильной, мокрой, бледно-зелёной ряской, с выпученными глазами, с плотно закрытым ртом, показалась, как в детских фильмах по мотивам народных сказок, на поверхности ошалевшего, потерявшего разом покой от Гераклова нового подвига, а вернее, Гераклова-Игорева, столь недавно ещё безмятежного и в забвении пребывавшего, а теперь перемены почуявшего в горькой доле своей, пруда.

Вынырнув, Игорь с шумом выдохнул воздух оставшийся — и новую порцию воздуха в лёгкие тут же набрал, и — задышал, всей грудью, задышал, как ни в чём не бывало, не судорожно, и не час-то, а спокойно, вполне нормально, будто бы и не нырял, будто бы и не сидел под водой, в пруду, так долго.

— Ну что, старина, проверил? — крикнул он мне из пруда, стоя в воде по пояс и пробираясь к берегу.

— Проверил! — откликнулся я.

— Убедился? — уже патетически произнёс он, глядя на мир, приоткрывший неожиданно свои небывалые, новые грани, сквозь листву, и траву, и цветы, и беспечность летнего дня, и разливы тёплого света, и ненужность мыслей недавних, с их тоской, для него, для воителя, состояний смурных победителя.

Я сказал:

— Убедился. Четыре с половиной минуты сидел ты под водой, вот в этом пруду. Странно даже. Действительно, странно.

— Что я слышу? Что значит — странно? — возмутился вдруг Ворошилов. — Вот, нырнул. Привычное дело. Для меня. Для других — не знаю. Для меня-то — дело знакомое. Если хочешь — я повторю!

— Да ладно уж, вылезай! — сказал примирительно я.

Но Ворошилова что-то в тоне моём заело.

— Спорт есть спорт. Вот что важно. Для пущей убедительности — повторяю! — крикнул он. Развернулся — и тут же погрузился, по новой, в пруд.

— Сколько? — спросил он, вынырнув.

— Четыре минуты десять секунд! — ответил я. — Вылезай!

— Мало! Как я недотянул? — огорчился, ударив ладонью по воде в сердцах, Ворошилов. — Это не по-спортивному. А ну-ка ещё разок заньрну. Засакай время!

Развернулся — и снова нырнул.

— А теперь-то сколько? — азартно выкрикнул, вынырнув, он.

— Четыре минуты и...

— Ну, скажи!

— Тридцать пять секунд.

— Вот теперь-то гораздо лучше! — воспрянул в пруду Ворошилов. — Теперь выходит по-моему. Как в прежние времена. Эх! — вспенил он воду обеими руками, — есть ещё порох в пороховницах! Есть!

Покуда Игорь нырял, а я, на часы поглядывая, засекал, по-судейски, время, на берегу пруда помаленьку, один за другим, собираться стали, всё гуще, всё активнее, всё смелей, превращаясь в праздную стайку, любопытные, любознательные, так их лучше называть мне, люди.

— Что тут, граждане, происходит? — проявил интерес умеренный к ворошиловскому нырянию пожилой гражданин, похоже, что из зощенковских рассказов на московскую почву пришедший, в мятой летней шляпе, которую то и дело снимал он, держа на весу её и вытирая тоже мятым платком носовым потный, гладкий, мясистый затылок.

— Что-нибудь случилось, товарищи? — деловито и быстро спросил человек невзрачный с портфелем, в котором, судя по звуку, звякало что-то стеклянное.

— Эй, ребята! Что там такое? — подходя поближе, кричали парни крепкие, с виду — рабочие, подвыпившие слегка, гуляющие в Сокольниках в свой выходной день.

— Что такое там? Что стряслось? — раздавалось со всех сторон.

— Ничего здесь такого, граждане, вы поймите, все разом, особенного, необычного — не происходит! — успокоил я всех вопрошающих любопытных одновременно. — Просто-напросто друг мой показывает, что сидит он в пруду под водой по четыре минуты за просто, даже больше порой, по четыре с половиной, бывает и так.

Любопытные, любознательные — поначалу все озадачились.

А потом, прикинув и взвесив, по привычке, все «за» и «против», принялись, один за другим, критиканствуя, возмущаться:

— Ерунда!

— Чепуха!

— Враньё!

— Что за шутки?

— Так не бывает!

— Столько времени под водой просидеть нельзя! Невозможно!

— Не рассказывай, парень, сказки!

Тут Ворошилов обиделся.

— Как это — ерунда? Почему же это — враньё? Как это — так не бывает? — возопил он громко и гневно, разобидевшись, из пруда. — Как это — что за шутки? Почему — не рассказывай сказки? Вот он — я. И могу сидеть под водой четыре минуты. Даже больше могу сидеть. Понимаете? Значит — умею!

— Ты, парень, не заливай, — сказал ему гражданин в шляпе. — Дыхалки не хватит у тебя, чтобы столько сидеть под водой. Ты слышишь? Ды-ха-л-ки!

— Дыхалки-то у меня хватит! — грозно и весело ответил ему Ворошилов. — Спорим, что просижу под водой четыре минуты с какими-то там секундами? На бутылку портвейна — спорим?

— Идёт! — согласился охотно гражданин в мятой летней шляпе. — А где тут портвейн продают? Сейчас ты за ним, за портвейном, и побежишь, весь мокрый. Не успеешь даже обсохнуть. Как миленький, побежишь!

— Портвейн, поясняю заранее, продают вон в том заведении, — указал Ворошилов перстом на синеющую за зеленью кустов и деревьев стенку павильона буквально в минуте быстрой ходьбы отсюда, — а за портвейном, кстати, пойдёте вы, а не я. Ну так что, действительно спорим?

— Я же сказал! — откликнулся гражданин в мятой летней шляпе.

— Тогда, — Ворошилов строго поглядел на меня, — Володя, засекай, пожалуйста, время! И вы, — обратился он к присутствующим, при этом сделав царственный жест рукою, будто бы одаряя их чем-то необычайным, — и вы, дорогие сограждане, засекайте, все вместе, время!

Игорь нырнул. И — вынырнул.

Посмотрел на меня вопросительно.

Я крикнул ему, показав на часы:

— Четыре минуты и тридцать семь секунд!

И тут же нестройным хором подтвердили это все зрители.

— Папаша! — тряхнула головой, облепленной водной растительностью, Игорь, — вы это слышали? Уговор наш остался в силе? Вы проспорили. Я победил. Посему — вперёд! За портвейном!

— Это я мигом! — с готовностью откликнулся гражданин в шляпе. — Проспорил — куплю сейчас. А ты молодец!

— И не такое бывало! — скромно, куда уж скромнее, ответил ему Ворошилов.

Гражданин в шляпе ринулся к синему павильону — и через пару минут вернулся обратно, с бутылкой портвейна в руке. Ворошилов, кряхтя, отряхиваясь от растительности липучей пресноводной, вылез на берег.

Чтоб kota за хвост не тянуть, поскорей открыли бутылку.

Нашёлся, как по волшебству, и стакан. Он всегда, замечу, вовремя находился, да и в нужном, представьте, месте, в былые, с их героизмом и трагизмом их, да и с юмором нестигаемым, времена. Ворошилов, недолго думая, ополоснул его, на всякий случай, в пруду.

Мы втроём — Ворошилов, я и гражданин проспоривший в мятой летней шляпе, которого поощрить мы решили, — выпили.

Светлая птица удачи пролетела над нами тогда, приветливо, даже по-дружески, по-доброму как-то, взмахнув над нашими головами своими лёгкими крыльями.

Почему-то решительно всем собравшимся возле пруда гражданам вдруг захотелось, да так, что азарт всеобщий, собравшись в единый, жаркий сгусток энергетический, как молния шаровая, пронзил округу мгновенно, спорить с Игорем, спорить и спорить, на бутылку портвейна, конечно: просидит он четыре минуты или даже, может, поболее, под водой, вот в этом пруду, — или всё же не просидит?

Наверное, всем собравшимся хотелось ещё, по причинам, понятно, различным, для каждого, — но прежде всего — в удовольствии, на природе, в Сокольниках — выпить.

А тут, как в сказке, — такой вполне подходящий повод!

Ворошилов уже вошёл в ритм — и вошёл в роль.

К тому же, выпив портвейна, почувствовал он себя в отличной спортивной форме.

Каждому гражданину он вкратце, весьма толково, чтобы сразу стало понятно, разъяснял, не ленясь, терпеливо, почему он сидит в пруду, и спорил, с каждым в отдельности, потом, на бутылку портвейна, что пробудет он под водой свои четыре минуты.

Граждане — разволновались. В раж незаметно вошли.

Спор — заводная штукавина.

Граждане спорили, спорили, — и проигрывали, проигрывали.

Им оставалось только бежать в павильон за портвейном, купить его — и возвращаться, как можно скорее, обратно.

Ворошилов, стоя в пруду, отпивал из каждой бутылки, понемногу, пару глотков, остальным делился со мной и с проигравшими гражданами.

Он был, великий ныряльщик, великодушен и щедр.

Он хлебал портвейн — и нырял, вдохновенно, уверенно, снова.

Вскоре берег пруда был густо, словно семечками, усеян любопытными современниками.

Пруд, в который Игорь нырял, окружали плотным кольцом бутылки портвейна, частично пустые, частично полные. Стекланные их бока поблёскивали на солнышке.

Ворошилов нырял — и выныривал.

И — выигрывал, выигрывал, выигрывал.

Всеобщее, бурное, праздничное народное ликование придавало ему, герою, победителю, новых сил.

Он обрёл спортивную форму.

Он чувствовал нынче себя действительно молодцом.

Он не только жажду свою утолил, да с каким размахом, но в придачу к ней получил возможность реальную — выпить, разумеется — тоже с размахом, да ещё и вместе с народом.

Ну и, само собой, это была — работа.

Да, такая вот, своеобразная, но — работа. Творческий труд.

И это все поголовно сограждане осознавали.

К тому же у всех сограждан, просто чудом, в кои-то веки, появилась такая хорошая, счастливейшая возможность: выпить — вместе, здесь, на природе, от души, в своё удовольствие, выпить — впрок, — да ещё и присутствовать при таком необычном зрелище.

В тот день в павильоне сокольническом, синем, как небо высокое над столицей всею, над летнею бестолковщиной и суетой, продан был на корню весь имевшийся запас портвейна дешёвого.

В тот день молва быстрокрылая о славном ныряльщике Игоре разнеслась по всем развесёлым, для кого-то, для большинства, островком природы спасающим сердца и души Сокольникам.

В тот день Ворошилов негаданно, словно в сказке, вдруг оказался на вершине успеха спортивного, и даже спортивной славы, а с нею и выпивонной, что тоже почётно, доблести.

Он и сам, как следует, выпил — и всех вокруг угостил.

И все, кого ни спроси, кого ни возьми, сограждане, современники наши, люди, это, прежде всего, человеки, собравшиеся могучею ратью возле пруда были ему благодарны — и за зрелище, и за выпивку.

И рекордом личным его стало, к восторгу всеобщему, пребывание под водой в течение четырёх, для кого-то — слишком коротких, для кого-то — долгих, минут, и пятидесяти пяти чемпионских весомых секунд.



А потом, незаметно как-то, а для многих и неожиданно, потому что день был хорошим, а для многих и замечательным, наступил, изумив сограждан появлением своим негладким на при-волье, вот здесь, в Сокольниках, среди блаженства хмельного, вечер — и водные процедуры, сулившие прорву выпивки, Ворошилов, слегка уставший, решительно прекратил.

Он выбрался из пруда к ликующей, как на празднестве, случайном, почти волшебном, и никак не иначе, толпе, где шло уже поголовное, с восклицаниями невятными, с объятиями, с заверениями в дружбе навеки, братание.

И мы с ним вдвоём, снабжённые немалым запасом оставшегося, выигранной в спортивной упорной борьбе, портвейна, побрели, напрямик, сквозь заросли, сквозь аллеи и тропы, в сторону моего, передышку сулящего и пристанище нужное, дома.

Там, в тиши, на седьмом этаже, в однокомнатном скромном рау квартиры моей, спасительной для меня и моих друзей, предстояло нам скоротать этот летний, просторный, благостный, с лещащим по всей округе, сплошным, воздушным, сквозным, бедеющим в темноте, залетающим в окна открытые, уносящимся в гулкую даль, тополиным вселенским пухом, вечер — после дневных, непредвиденных, непростых, спортивных, отчасти, в основном же почти мистических, но зато и славных, трудов.

И, уже ближе к ночи, сидя у меня в квартире, на кухне, и задумчиво попивая портвейн, богатырь Ворошилов порою грустнел и вздыхал — об одном лишь вздыхал, об одном — эх, ну надо же, не удалось ему дотянуть всего-то пяти каких-то секунд несчастных — до пяти минут, ровно пяти полноценных, желанных минут сидения под водой!

Вот когда был бы полный порядок!

Вот когда был бы точно — рекорд!

И его неумная сила клокотала и пела в нём.

И, поглядывая на него, понимал я: и это он — может.

Не сейчас, поднабравшись портвейна, он способен на подвиг, на взрыв, на решительный, мощный выход всех его потаённых энергий в мир, наружу, на белый свет, а потом, как-нибудь потом, в нужный час, и пожалуй — вскоре, вдруг начнётся, само по себе, как-то исподволь, из ничего появившись вроде бы, став — сразу всем, тем, в чём явь и правь заодно, просияв над землёй и восстав сквозь сумрак и бред, словно луч, долгожданное чудо, и проявится эта сила — не в нырянии, нет, но — в творчестве.

Что в дальнейшем и подтверждалось — и не изредка вовсе, а многожды.

Доказательств чему — смотрите же — более чем достаточно.

То есть — работ ворошиловских.

И дыхания в них. И света.

И движения — вглубь и ввысь.

А однажды сидели мы с ним, как это слишком уж часто в прежние времена с нами бывало, в печали, а может быть, и в тоске, с нищетою накоротке, совершенно без средств, столь нужных людям для существования, — говоря простым языком, всем на свете сразу понятным, чётким, жёстким, суровым и внятным, — без единой копейки денег.

Было это, пожалуй, вскоре после истории с нырянием ворошиловским в сокольническом пруду.

Ну конечно, всё тем же летом, в шестьдесят девятом году.

И пора была, разумеется, тёплой. Пора — в преддверии городской, надолго, жары. Солнечная. Цветущая. С птичьими дружными песнями и зелёной, свежей, приветливой молодой окрестной листвой.

А мы в эту пору — томились. Оба. Просто не знали, куда нам себя девать. Нечего нынче скрывать. Не было в душах покоя. Бывало ведь и такое. И не такое бывало. И проходило помалу. Всякое с нами бывало. Может, облабовала доля нелёгкая нынешний, звонком трамваев пронизанный, словно красною нитью прошитый, стежками неровными, день? Куда в нём бред заоконный свою отбрасывал тень?

Ворошилов, сумрачный, тихий, осунувшийся, докуривал слежавшиеся остатки своего привычного «Севера».

Если так и дальше пойдёт, если сложится всё потом для него неудачно, — то примется, огорчившись, надувшись, отыскивать свои же окурки в пепельнице — глядишь, и хватит ещё на две или даже на три коротких, на нервах, затяжки.

Для поддержания духа, в горький час, у себя и у друга, включил я старый проигрыватель и поставил пластинку — цыганские, весь набор, с перебором, песни и романсы, любимые нами, — в исполнении заграничного, удалого, лихого, буйного, а ля рюс, отчасти, с акцентом, непонятно каким, с оркестром разухабистым, струны рвущим, разрывающим людям сердца во хмелю, в гульбе воспаряющим к небесам, вовсю восхваляющим страстей роковые сплетения и глубины их океанские, на земных просторах широких, в измерениях зазеркальных и в таинственных звёздных высях, певца Теодора Бикеля.

Эту пластинку странную, модную в нашей компании, слушали, под настроение, мы частенько, особенно — выпив.

Заезженная, затёртая, она скрипела, шипела, — и голос певца иностранного с натугой, с трудом немаалым, пропадая и возникая, прорывался сквозь скрип и шип.

Но на сей раз нам и цыганщина, понимал я, не помогала.

Уже на третей, с призывами к неведомым далям, песне включил я проигрыватель, снял пластинку, ненужной ставшую, молча сунул её в конверт и поставил на полку, к прочим, тем, что были тогда у меня, пусть немногим и тоже заигранным, но зато и хорошим пластинкам, — не до музыки нам, — с глаз долой.

Ворошилов ходил по комнате — и о чём-то сосредоточенно, лоб наморщив и шевеля то и дело губами, думал.

Подошёл он к двери балкона, открытой настежь с седьмого нашего этажа — куда-то туда, в простор, столичный, и подмосковный, а может быть, и вселенский, — и оттуда, из этого радостного, несмотря ни на что, простора, сюда, в эту комнату, к нам, долетал разгонистый, тёплый, но всё-таки хоть слегка освежающий, приносящий с собою некие смутные намеки на что-то хорошее, подбодрить нас, наверно, желающий, приветливый ветерок.

Стоял он в дверном проёме, сутулясь, пристально вглядываясь в одному ему только и видимую сейчас далёкую точку, поверх кварталов жилых и зелёных вершин деревьев.

Потом, в неожиданно плавном развороте, всем корпусом, сразу, повернулся Игорь ко мне.

В глазах его, прояснившихся, загоревшихся жарким пламенем, с нахлынувшим вдохновением, прочитал я тогда — озарение.

— Старик! — сказал Ворошилов и перевёл дыхание с шумом, — Володя! Друг!

— Что случилось? — поднял я взгляд на него. И понял: случилось.

— Я знаю, что делать! Знаю!

— Что ты знаешь?

— Всё!

— А точнее?

— Знаю всё! Сказать?

— Говори!

— Болшево! — произнёс Ворошилов, как заклинание.

— Что — Болшево? Ну и что — Болшево? Почему?

— Болшево! — чётко, торжественно сказал Ворошилов. — Болшево! И всё тут. И только Болшево.

И тогда я сказал:

— Поясни.

— Поясняю, — кивнул, в знак согласия, головой удалой Ворошилов. — Поясняю. Слушай внимательно. Мы поедем сегодня — в Болшево. Там — ты знаешь об этом — дом творчества кинематографистов. И там-то — наверняка сейчас есть мои знакомые.

Я вначале насторожился, а потом кое-что припомнил.

В своё время Игорь с отличием, всем на радость, друзьям, и родителям, им гордившимся, и сокурсникам, среди которых был он звездой настоящей, окончил ВГИК, получил диплом киноведа, работал по специальности и многих советских киношников, действительно хорошо и довольно давно уже, знал.

И немалое, даже внушительное, так точнее будет, число людей из этой среды относилось, по старой памяти, к Ворошилову с явной симпатией, и многие, по-человечески, даже любили его, а некоторые, их меньше было, но всё-таки были такие энтузиасты, — и ценили его, по-своему, разумеется, как художника.

Ворошилов по-деловому, с каждым словом своим всё более оживаясь и становясь, на глазах, героем, воителем, всяких недругов победителем, возвышаясь на фоне стен, что увешаны были его многочисленными картинками и работами наших общих с ним друзей, развивал свою мысль:

— Мы с тобой, Володя, поедем в стан киношников наших, в Болшево. И поэтому, друг, давай-ка собираться прямо сейчас. Время ранее. Утро. День — впереди. Целый день, представляешь? Всё успеем, всех повидаем. А пока что — давай отберём, поскорее, мои работы. Вон их сколько вокруг, навалом. И с меня не убудет. Потом нарисую ещё, и получше. Мы поедем к знакомым киношникам. Им, собравшимся в месте одном, я продам, по дешёвке, работы. Купят, я убеждён. А потом — хорошенько выпьем с тобой. Понимаешь? Давай поедем. Прогуляемся. Говорят ведь, что прогулки, особенно загородные, людям очень даже полезны. А у нас, надеюсь, полезное сочетаться будет с приятным.

— Ну что же! — сказал я другу. — Всё ясно. Мы едем в Болшево.

Мы с Игорем принялись просматривать вороха хранящихся у меня чудесных его рисунков.

Из этих залежей он, по чутью, в основном, выбирал кое-какие вещи, иногда — наобум, иногда — попридирчивее, посто-роже.

В итоге образовалась пачка работ изрядной, и на глаз, и на вес, толщины.

Отыскали старую папку большого формата, наспех сложили в неё рисунки, чёрно-белые и цветные.

Игорь сунул папку под мышку — и уже меня поторапливал:

— Собирайся скорей. Поедем!

— Потерпи, — сказал я ему, — есть тут одна идея.

Моя идея была до смешного простой, но и грустной, — оттого, что решил я расстаться с некоторыми книгами из своей, небольшой, в ту пору, но зато хорошей, подобранной тщательно, библиотеки.

Отобрал я довольно быстро несколько книг, интересных, но не первостепенной важности, и сложил их стопкою в сумку.

И мы с Ворошиловым, выбравшись из дому, двинулись в путь.

Покуда мы с другом Игорем добирались до электрички, я успел по дороге зайти в находящийся неподалёку и давно мне известный книжный магазин — и там, очень быстро, с собою взятые книги сдать, — причём их, при голоде книжном тогдашнем и при наличии великой любви всенародной к чтению, взяли мгновенно, — и выдали незамедлительно мне деньги, некую сумму, небольшую, меньше, чем следовало, но для нас, пока что, достаточную, — и, выходя поспешно из книжного магазина, я видел, что книги, только что принесённые мною сюда, уже покупали какие-

то интеллигентного вида, в очках, с портфелями, люди, — но мне, признаюсь вам, было некогда сожалеть об этом, — Бог с ними, с книгами, когда-нибудь их куплю вновь, а жертвы порою нужны, и даже полезны, так что всё к лучшему, как говорится.

Затем я зашёл в другой магазин, уже в продовольственный, и купил там бутылку водки, и в сумку её положил, вместо сданных недавно книг, — и Ворошилов, увидев эту водку, «Московскую», кажется, посмотрел на меня одобрительно и выразительно крикнул.

В киоске табачном купил я курево: для себя — «Приму», и «Север» — для Игоря.

Мы на ходу закурили.

Станция электрички находилась неподалёку, в двадцати минутах, не больше, а то и поменьше, ходьбы.

Принципиально я купил нам обоим билеты, хотя Ворошилов робко и пробовал возражать.

Но с билетами ехать — спокойнее, уж это всем, вроде бы, ясно.

Постояли мы на перроне, двое путников неуёмных.

Подошла — зелёною лентой сквозь шитьё воздушное дня и небес в синеве, расплётной вкривь и вкось, — электричка наша.

Распахнулись — вот, мол, входите, люди добрые, — двери вагонов.

Потянулись вовнутрь — торопливо, как бывает всегда, — пассажиры.

Мы зашли в вагон — и устроились на сидениях возле окошка.

Электричка свистнула, дёрнулась — и, со скрежетом, с лязгом, двинулась, набирая скорость в пути, по направлению к Болшеву.

В вагоне, людьми заполненном, Ворошилов частенько поглядывал на головку бутылки, торчащую, ванькой-встанькой, из сумки моей, поглядывал — и выразительно, укоризненно как-то, вздыхал.

Слушая эти шумные, страданий полные вздохи, я делал упрямо вид, что ничего такого странного или особенного вовсе не замечаю.

В Мытищах Игорь не выдержал.

С некоторым смущением, но достаточно твёрдо, так, что металлом каждое слово прогремело и долгим эхом пронеслось по всему вагону, предложил он выйти на станции и незамедлительно выпить.

— Володя! — шаманским тоном произнёс он при этом, — пора!

Я давно уже понимал, что пора. Да просто терпел.

Мы поспешно, я — сумку сжимая с бутылкой, он — папку с рисунками, выбрались из вагона — и вышли вдвоём на перрон.

Выпивать в людской толчее было делом, по всем статьям и по нашим твёрдым понятиям, неразумным, да и опасным: неожиданно, как всегда появиться могла милиция — вот вы пьёте, мол, где! — и тогда...

Многое, слишком уж многое в прежние времена вставало за этим «тогда».

Ворошилов сердился, нервничал:

— Давай рискнём! Завернём за угол. Выпьём по-быстрому. И все дела. Не впервой ведь.

— Подожди! — твердил я ему.

И мы шли с ним, всё дальше и дальше, шли вперёд, отдаляясь от станции электрички, втянувшись в ритм этой вынужденной ходьбы, шли вдоль улицы, вдаль куда-то, в дебри общего безразличия, в подмосковную, летнюю, тёплую, бесконечную, скучную глушь, — и желание ворошиловское беспокойное — выпить немедленно — незаметно передалось, обжигая горло, и мне.

И тогда я сказал Ворошилову:

— Надо просто зайти в подъезд и там по-быстрому выпить.

— Это дело! — поддакнул мне Игорь.

Сказать-то легко — зайти поскорей в подъезд. Но — в какой?

Мы шли вдоль домов незнакомых, понимая, что здесь, в Мытищах, выбирать нам особо и нечего.

Наконец один из подъездов, этакий чистенький с виду, почему-то мне приглянулся.

Почему? Да как объяснить!

Знать, вела незримая нить.

Поплутала — и привела.

Вот какие, братцы, дела.

Был подъезд как подъезд. И всё ж...

На другие был — непохож.

Я сказал:

— Вот сюда и зайдём!

Ворошилов сказал:

— Здесь и выпьем!

Мы зашли в подъезд приглянувшийся, с немалым трудом открыв тяжёлую неожиданно, массивную, свежевыкрашенную, похожую на крепостную, из романов рыцарских, дверь.

Там, внутри, было тихо, чисто и прохладно. Странно, ей-Богу!

Тишина, чистота и прохлада?

Славен тройственный сей союз!

Мы поднялись по устланной ковровой красной дорожкой, аккуратнейшим образом вымытой, широкой лестнице — вверх.

На площадке просторной лестничной, расположенной меж этажами, увидели мы стол, и на нём — графин с водой и чистые, сразу ясно было, стаканы.

Стол был застелен отглаженной, приятного цвета, скатертью.

Рядом с графином стоял душистый букетик цветов.

Возле стола стоял мягкий, большой диван.

Рядом с диваном стояли в широченных и высоченных, деревянных, надёжных кадках экзотические растения — пальма перистая и фикусы.

Мы с Игорем переглянулись.

Вот это, брат, обстановочка!

Вот это, дружище, комфорт!

Ну прямо как на курорте!

Вот так подъезд! Чудеса!

Это надо же! — вот ведь какие хорошие, нет, прекрасные, из восточных сказок, из фильмов голливудских послевоенных, замечательные подъезды есть, оказывается, в Мытищах!

Мы уселись на мягкий диван, музыкально, со вздохами тихими, с переливами, переборами, то высокими, то басовыми, запевший и заигравший вначале под нашей тяжестью, а потом, привыкнув, наверное, деликатно и незаметно, стушевавшийся, стихнувший, ставший просто местом сидения нашего, уселись мы с Ворошиловым посвободнее, поудобнее, с удовольствием явным откинувшись на упругую спинку такого вот, нам дарованного судьбою, всем устройством своим, всей конструкцией приспособленного для отдыха, и тем более приспособленного — для временной передышки, для привала дневного недолгого двух усталых суровых путников, в отношениях всех чудесного, расчудесного просто, дивана, под вечнозелёными кронами перистой пальцы и фикусов твердолистных, расположились — надёжно вполне, устойчиво, с ощущаемой нами гарантией безопасности и спокойствия, в тишине, чистоте и прохладе, без обрыдлых для нас нервотрепок, без поспешности, без тревоги, напряжения, суеты.

Взад и вперёд в подъезде сновали какие-то люди, почему-то не обращавшие на нас никакого внимания.

Сновали они отстранённо, призрачно, как в кино.

Мы их воспринимали вовсе не как живых людей, а скорее всего, как движущееся осторонь зыбкое изображение.

Мы их просто никак, и всё тут, что гадать-то, не воспринимали, если на то пошло.

Мы их — в упор не видели.

Мы открыли бутылку водки.

Наполнили доверху чистые, блестящие стаканы.

Чокнулись, как полагается людям серьёзным, воспитанным.

Потом — разумеется, выпили.

Выпили не спеша — с чувством, с толком и с расстановкой. Условия — позволяли.

Это ведь вам не на улице где-нибудь выпивать.

Вон какой здесь, в подъезде, уют.

Мы плеснули в стаканы чистые водички прохладной из полного, весело, звонко, празднично сверкающего своими широкими,

светлыми гранями, устойчивого, массивного, достаточно плотно закрытого тяжёлой, как гирька, пробкой, приспособленного хорошо для хранения влаги живительной, словно по мановению чьей-то волшебной палочки находившегося не где-нибудь вдалеке, но именно здесь, в месте нужном и в нужное время, вместительного графина, — и запили только что выпитую нами обоими водку этой, во всех отношениях приятной, свежей, полезной, целебной, возможно, водичкой.

Мы, решив никуда не спешить хоть немного ещё, закурили.

Синевато-белёсый дымок — от моей сигареты «Прима», вместе с иссиза-синим, от Игоревой папиросы кондовой «Север», — колеблющимися, легчайшими, невесомыми даже, беспечными, беспечальными, тихими струйками потянулся, всё выше и выше, разрастаясь в туман, к потолку.

Нам — почуяли мы — полегчало.

Мне — скажу откровенно — стало веселее как-то и радостней здесь, в Мытищах, дышать и жить, на душе спокойнее стало, разлилось по жилам тепло, не блаженством пусть отзываясь, но уж точно — чем-то подобным.

Ворошилову — после водки — стало жить значительно легче, с очевидного, небольшого, так себе, да всё же — похмелья, как от него ни отбрыкивайся и как его ни замалчивай, — а всё же что было, то было, — и теперь, помучив, прошло.

Мы, сказать можно смело, вдвоём, здесь, в пути своём, — отдыхали.

Пальма слегка шелестела над нашими головами перистыми своими декоративными листьями.

И глянцевиные, плотные, крупные листья фикусов, притягивая случайные и не случайные взгляды, медленно, монотонно и верно, без всяких промашек, воздействуя на людское, от стрессов уставшее, зрение, а с ним, покоя дождавшимся, и на людское, к лучшему изменившееся настроение, завораживая растительной, природной, зелёной и тёмной, живучей своей зеркальностью, отражали в окно проникающий, временами — порывистый, магниевый, большей частью — неспешный, широкий, подмосковный, привольный, летний, с золотистой искоркой, с блеском катящейся где-то за стенами, в пространстве разъятом, ртути, и с отсветами литого, просторного серебра, дневной, несомненный, природный, свободой веющей, свет, — и мягкий, отчасти вкрадчивый, спокойный, благонамеренный, незыблемый — так мне казалось — и тёплый свет электрический, плавно и ровно льющийся из матовых, стильных каких-то, особенных, это уж точно, может быть, и заграничных, приятных для глаз плафонов.

Мы допили водку. Допили.

Теперь нам было — чего там скрывать? — совсем хорошо.



По небритым щекам ворошиловским, бледным совсем недавно, быстрый румянец прошёл. И глаза его вдруг разгорелись. Увеличились, угольно-чёрным каким-то, растаявшим сызнова маслом блеснув из-под век, потеплели, мерцая, светясь, отдаваясь куда-то, зрачки. Нос Ворошиловский, крупный, изогнутый, зашевелился, ожил, — ну прямо довольный жизнью зверок, а не нос. Губы его расплзлись, незаметно как-то, в улыбке. Был Ворошилов — домашним, временно, разумеется. Был Ворошилов — надёжным другом. На все времена. Жизнелюбивым, спокойным, здоровым, уверенным, сильным. Словом — казак лихой, отдыхающий между боями. Раз уж такая возможность хорошая нынче представилась — право, не грех отдохнуть. Мало ли что предстоит впереди! — всё походы, сраженья. Отдых — заслужен вполне. Хорошо иногда — отдыхать!

Эх, поистине благодать!

Ну как мне ещё чудесное состояние наше назвать?

Благодать, да и только. Понятно?

И поди докажи мне, попробуй, коли выйдет, что это не так.

Именно так: благодать. Ну а что же ещё тогда? Пусть небольшая. Но мы-то оба её — ощущали!

И не напрасно, конечно, была она так вот, неожиданно, дарована — страждущим нам.

Ну прямо Сочи (Кавказ), или Ялта (солнечный Крым), а не мытищинский, чудный, но всё же случайный подъезд!..

Сновавшие мимо нас по лестнице, взад-вперёд, вверх и вниз, какие-то люди не обращали на нас вообще никакого внимания, ни малейшего, и совершенно нас, пришельцев, не замечали, будто нас здесь и не было вовсе, а были — просто диван, стол, застеленный скатертью, гранёный графин с водой, пальма перистая, и фикусы, и лестница, чисто вымытая, и тихий, уютный подъезд, но только не мы, заглянувшие ненароком сюда — и временно, ненадолго вставшие здесь на постой, на короткий отдых в походе, — и мы с Ворошиловым тоже, так получалось, вовсе не замечали их, этих сновавших мимо, фантомных, условных людей.

Тепло, во всех отношениях приятное, разлилось по всем нашим жилам, по всем суставам нашим и косточкам.

Впору было песню хорошую нам запеть, негромко и слаженно, или, может, беседу, тихую, задушевную, здесь вести.

Но — ждало впереди нас — Болшево.

Нам следовало не рассиживаться в покое, а двигаться дальше.

У нас ведь была — задача.

У нас — была важная цель.

Казак — он всегда в седле.

А мы-то с Игорем были — потомками запорожцев.

Посему — как всегда — вперёд!

С неохотой поднялись мы с дивана — и вышли, отсюда, из подъезда, с его уютом, тишиной и покоем, — на улицу, в мытищинский, городской, неумолчный, настырный гул, подмосковный, провинциальный, но — явственный, очевидный, прямо в запах бензина, солярки, мазута, в облако гари, ну откуда она взялась, только всё же была она, гарь, а потом, вслед за ней, освежающий запах свежих стружек сосновых, а ещё — запах пыли слежавшейся, и за ним — шорох пыли дорожной, неожиданно поднятой ветром, а там, за углом, чуть подалее, — ворох листьев зелёных в лицо, и сигналы машин, и свисток милицейский, и возгласы чьи-то, и смех, голоса — то мужские, то женские, все вперемешку, вслед за ними — высокие, детские, звонкой, шумной гурьбой, голоса, и вокруг — полдень, молодость, лето, — мы вышли на солнечный свет.

Почему-то я оглянулся — и увидел вдруг возле двери в покинутый нами подъезд вовремя не замеченную ни мною, ни Ворошиловым, надпись, весьма выразительную:

«Мытищинский горком партии».

Я толкнул Ворошилова в бок и показал на скромную — и такую солидную — вывеску, доходчиво поясняющую, где мы только что побывали.

Поначалу Игорь никак на это не отреагировал.

Был спокоен, задумчив. И бровью казацкой своей не повёл. Но потом до него — дошло.

Посреди тротуара мытищинского, в беспокойной гуще людской, он широко, с былинным размахом и удалством, будто бы раздвигая воздушное, полное звуков, и запахов, и опасностей, и радостей мимолётных, и всяких чудес, пространство, а вместе с ним и всю эту, со всех четырёх сторон, вплотную, давно и настырно, с подвохами, с заковырками, с бесчисленными своими загадками и парадоксами, окружающую его, раздражающую, поражающую, умиляющую его, тем не менее, потому что всякого навидался, казалось бы, а вот надо же, что-нибудь поновее непременно преподнесёт, ирреальную, нашу, родимую, реальность, развёл руками, кратко заметив:

— Сподобились!

И сделал весьма неожиданный, но вполне оправданный, всем его грустным жизненным опытом, вывод:

— Ну и что? Подумаешь, важность! И в горкоме партии можно, если очень захочется, выпить. Вот и мы: захотели — и выпили. Всё-таки — не под забором, не в каком-нибудь закутке. И ментов там, это уж точно, ты пойми, просто быть не могло. Да ещё и уютно, тихо. Пальма, фикусы. Мягкий диван. И графин с водой. И, старик, наготове — стаканы чистые! Всё для нас было приготовлено. Будто ждали там именно нас. Ну и горкомы пошли в Подмосковьё! Чудо-горкомы! Кавказское побережье, а никакой не горком! Летний отпуск там проводить можно запросто. Партия! Ишь ты! Если бы сфотографироваться нам с тобой там, под паль-

мой, под фикусами, да показать знакомым фотографию эту, с надписью крупной: «Привет из Сочи!» — то ни за что не поверили бы, что не в Сочи с тобой мы снимались, а в Мытищах, в горкоме партии!..

Потом подумал и буркнул:

— Сами, небось, в этой партии, все поголовно, — пьют!..

Он покрепче к боку прижал старую папку с рисунками, я на плечо закинул опустевшую сумку, которая должна была нам ещё, в скором будущем, пригодиться, — и мы, убыстряя шаг, направились напрямик к станции, к электричке, — и успели мы на неё, без всяческих происшествий, чудом, наверное, вовремя.

С Божьей помощью, это уж точно, добрались мы вдвоём и до Болшева.

Отыскать там киношный дом творчества оказалось делом несложным.

Территория дома творчества была почему-то безлюдной.

Никого, никогошеньки нет.

Почему — непонятно. Загадка.

Что стряслось? Что за странность такая?

Куда они все, киношники эти, вдруг подевались?

Ветром их, что ли, каким сдуло ненастным — всех, разом?

Или ещё что-нибудь необычное, непредвиденное, из ряда вон выходящее, такое, чего, понятно, не только мы с Ворошиловым предположить не могли, но и все вообще никак, похоже, не предполагали, ужасное что-то — случилось?

Оказалось, что все — обедают.

Распорядок дня в доме творчества у киношников наших таковой.

Режим. По-советски — привычный.

Всё здесь — по расписанию.

В том числе и питание.

Мы, решив к народу идти напрямую, зашли в столовую.

Из-за прикрытой, высокой, широкой, стеклянной двери доносился до нас, прищельцев, нестройный гул голосов киношных, звяканье ложек и прочие характерные звуки, сопровождающие процесс поглощения пищи.

— Вы кто? — поднялась нам навстречу бдительная дежурная.

Она, разумеется, сразу, моментально сообразила, что мы — не свои, а чужие, незнакомые, так, посторонние.

Но — мало ли кем эти люди, посторонние, незнакомые, чужие, а не свои, вдруг могли оказаться?

— Я Алейников! — очень спокойно, так, для справки, ответил я.

— А я — Ворошилов! — с некоторой аффектацией выкрикнул Игорьь.

— А-а! — расплываясь в улыбке, только-то и сказала бдительная дежурная.

И услужливо посторонилась, пропуская нас, незнакомцев, ставших сразу знакомыми, в зал.

Да и как же ей было, дежурной, согласиться, не посторониться, как же было ей не пропустить нас?

Алейников — батюшки, это ведь, посудите сами, фамилия кинематографическая, уж Алейникова Петра, знаменитость, актёра, все знают.

Ворошилов же — тут фамилия за себя сама говорила, о начальстве напоминала, и не только о нём, но ещё и — ох, повыше бери! — о власти.

Кинематографисты советские в час, предписанный им, — обедали.

Оказалось их, творческих личностей, в столовой одной — многовато.

Все столы, до единого, были творцами прекрасных грёз и видений сказочных — заняты.

Казалось, сама идея эта — обеда вовремя, с явной пользойю для здоровья, после праведных, только так, и никак не иначе, трудов, обеда — а после него и отдыха послеобеденного, необходимого, целительного, благотворного, идея вполне разумная и всем едокам киношным понятная с полуслова, с полувзгляда, витала в воздухе.

Еда, к столу подаваемая, должна была пережёвываться тщательно, хорошо желудками всеми усваиваться.

Ничто, при любой погоде, при любом настроении, даже неважнецком, или плохом, вопреки настроенью хорошему, то есть — норме, для всех советских, в коммунизм шагающих, граждан, создающих искусство главное, всех важнее на свете — кино, не должно было помешать естественному процессу, — ибо важен он, как и кино, для людей, — поглощения пищи.

Ведь это прямым, прямее некуда просто ведь, образом называется на творческом тоже серьёзном, процессе.

А что — повторим, для памяти, чтоб усвоить надолго, — важнее всех искусств остальных, какими бы ни бывали они заманчивыми, для кого-то, как ни пытались бы на передний вылезти план?

Ясное дело, кино.

Вот киношники и питались.

Питались — целенаправленно.

Прилежно. Сосредоточенно.

Жевали пищу — не просто столовскую, общепитовскую, — не манну, конечно, небесную, — но, видимо, пищу особую, для избранных, домотворческую, — такую, какую заслуживали, — такую, которая им дана была — свыше ли? — вряд ли! — как и нынешний, вроде бы творческий, а может и праздный день.

Однако на голоса наши — их головы, каждая — семи пядей во лбу, повернулись — все разом, немедленно, — к нам.

↓ Киношные умные головы повернулись, как на шарнирах, в нашу сторону — и на нас уставилось множество глаз.

Я сначала — поморщился. Ишь ты! — пялятся. Надо же! Все. Беспардонно. Бесцеремонно.

Потом — нахохлился. Ладно. Пяльтесь. Переживём.

Но вовремя спохватился — и сразу же взял себя в руки.

Зачем же смущаться, нервничать? Хотите — ну что же, смотрите. Пожалуйста. На здоровье.

Да, вот мы стоим, — такие, как есть, — чужаки, пришельцы, — мы здесь, наяву, перед вами.

Занятный был у нас вид, наверное. Право, занятный. А может — и необычный. Для многих — и впрямь непривычный.

Ворошилов, длинный, с взъерошенной шевелюрой, смущённо глядящий на киношников, прижимающий к боку старую папку с рисунками, этакий тип — откуда-то извне, похоже — что с улицы, в одежде своей изношенной, в стоптанных башмаках, непохожий на элитарную, так считалось, киношную братию, залётный, инопланетный, неведомо как и зачем, и ветром каким, попутным или встречным, сюда занесённый, странный, страннее некуда, пусть и так, всё равно, человек.

И я, тоже, что там скрывать, в далеко не новой одежде, старающийся не смущаться, помнящий твёрдо о том, что следует марку держать, но прекрасно, лучше других, понимающий, что и я в этой чуждой, и для меня, и для Игоря, обстановке — просто случайный гость, непонятно каким же образом вдруг появившийся здесь — да ещё и впущенный, надо же, нарушитель правил, вовнутрь, в эту столовую, чуть ли не в святилище, для кого-то, положим — для администрации, допустим — для едоков киношных, во всяком случае — человек неизвестный, неясный, да ещё и глядящий вперёд, прямо в стаю творцов прекрасного, с откровенным, пламенным вызовом.

Словом, — как же сказать-то подходчивее, — загадочная, — надеюсь, дошло до кого-нибудь, проняло наконец-то, — двоица.

На нас не просто смотрели, нас — разглядывали, как в зеврице, с любопытством, бесцеремонно, — до того, до такой, действительно инопланетной степени, до такой высоты звенящей, мы не вписывались вот в эту, мнящуюся, конечно же, обедующим киношникам — элитарной, само собою, для избранных, для свящённых, интеллигентную, замкнутую, для чужаков, среду.

И вдруг — Ворошилова — надо же, — разглядели, с трудом — но узнали.

Из-за столов, оторвавшись от еды, уже поднимались с радостными восклицаниями — действительно многочисленные, ещё со времён учёбы во ВГИКе, где был он звездой восходящею киноведческой, Игоревы знакомые.

— Игорь! Ты?

— Ворошилов, привет!  
 — Сколько лет, сколько зим!  
 — Игорёк!  
 — Игорёша, иди сюда!  
 — К нам иди! Вот встреча так встреча!  
 — Братцы, это же Ворошилов!  
 Игорь довольно жмурился, слыша крики эти: узнали!

К нам подбежала стройная, приветливо улыбающаяся, мило-видная девушка, сразу же быстро затараторила:

— Игорь, здравствуйте, здравствуйте! Я — дочка Адика Агишева. Папа так часто вас вспоминает. Куда ж вы пропали? Я так рада увидеть вас здесь. А это кто? — показала она глазами, сверкнувшими огнём, на меня, — ваш друг?

— Это мой друг Володя Алейников. Он — поэт. Известный. Думаю — лучший, — ответил ей Ворошилов.

— Ой, как интересно с вами! — воскликнула дочка Агишева. — Ну пойдёмте, пойдёмте к нам. Покушайте. Мы сейчас что-нибудь быстро придумаем. Идите же, не стесняйтесь.

Агишев был закадычным ворошиловским другом во ВГИКе.

С годами стал он успешным, известным весьма сценаристом.

Игорь давно с ним не виделся. Но рассказывал мне о нём как о человеке хорошем, просто — очень хорошем, надёжном, верном дружбе и верном искусству, человеке — каких немного на веку своём он встречал.

Раз дочка Адика Агишева зовёт — к ней надо идти.

И мы, друг на друга взглянув, шагнули вперёд — и прошли в глубину столовой — и там присели вдвоём за стол.

Нас киношники чем-то кормили.

Отовсюду съестное тащили.

— Вот суп!  
 — Вот салат!  
 — Вот котлеты!  
 — Вот компот!  
 — Вот ещё компот!  
 — Угощайтесь!  
 — Кушайте!  
 — Ешьте!  
 — Наедайтесь впрок!  
 — Есть добавка!  
 — Если надо, чай принесём!

Нам что-то, все вместе, они, угощая нас, говорили.

Голоса их — сливались в сплошной, непрерывный, раскати-стый гул.

Ворошилову — все его давние знакомые были рады.

Видно было, что бывшие вгиковцы, в люди выбившись, то есть, став постепенно профессионалами, режиссёрами, сценари-

стами, операторами, киноведами, актёрами, каждый по-своему, как уж вышло, сделав карьеру или только мечтая об этом до сих пор, хорошо его помнили, даже больше того — любили.

Ворошилов, отведав супа, похвалил его, съел ещё полтарелки, сжевал котлеты, съел добавку, потом намазал хлеб горчицей и съел этот хлеб, съел салат, и ещё салат, запил это компотом, чаем, поразмыслил немного и выпил снова чаю, погорячее, и насытился, вроде, и с некоторым усилием над собой объяснил киношникам, вкратце, но доходчиво, чтобы поняли, почему мы с ним в этот день появились именно здесь.

Цель его — проста и разумна: повидать своих старых знакомых, но не только их повидать, вместе с ними вспомнить о прошлом, рассказать им о настоящем, обо всём, что им интересно, и ему интересно, поведать о таком, что всегда для души и для сердца дорого, нет, цель его — ещё и продать, если это возможно, какое-то, больше, меньше ли, суть не в этом, и не в этом загвоздка, количество, взятых им с собою работ.

— Жить на что-то ведь надо! — подвёл он, головой тряхнув удаюю и рукою махнув, черту под запутанными своими, хоть была в них наивная искренность, с прямою крутой, объяснениями.

Киношники поначалу помедлили — а потом будто бы взорвались.

Они почему-то пришли в небывалое возбуждение.

Они, все разом, рвались тут же что-нибудь сделать, немедленно что-то важное предпринять.

— Да!

— Конечно!

— Само собой!

— Мы поможем!

— А как же!

— Купим!

— Где работы?

И — началось...

Киношники говорили все вместе, громко, взволнованно, друг друга перебивая, размахивая руками.

— Давайте смотреть работы!

— Скорее!

— Пойдёмте смотреть!

Они подхватили нас — и вытащили во двор.

Там, возле зелёной скамейки, на которую, ничего толком понять не успев, присели мы с Ворошиловым, они столпились внушительной гурьбою — и принялись, времени не теряя, рассматривать содержимое взятой нами с собою папки.

Рисунки, один за другим, вынимались из папки, являлись на свет и на суд людской — и тут же передавались из одних рук в другие руки, по эстафете, по кругу.

Раздались, разумеется, вскоре на пространстве двора киношного, поднимаясь к листве подмосковной, к небу синему, характерные, в блёстках дружных эмоций, возгласы.

- Блеск!
- Отлично!
- Вот это да!
- Ничего себе!
- Не ожидал!
- Посмотрите-ка!
- Чудо!
- Шедевр!
- И ещё! И ещё!
- Прекрасно!
- Превосходно!
- Ну, Ворошилов!
- Ну, Игорь!
- Васильч!
- Талант!
- Безусловно!
- Какой художник!

— А я ведь ещё во ВГИКе всем вам говорил, что со временем из него настоящий художник выйдет. И — видите — вышел! А вы его всё когда-то в киноведы идти агитировали.

— А я почему-то сразу поняла: вот это и есть его, Игорёши, призвание!

— А я, что скрывать, просто-напросто поражён. Для меня это — праздник. Нет, минутку, вы посмотрите, повнимательнее посмотрите. Какая певучая линия! Какой удивительный образ! Как это всё современно, между прочим, и оригинально!

- Ворошильч!
  - Игорь!
  - Васильч!
  - Старик! Ты нас просто потряс!
  - Молодец!
- И — тому подобное...

Ворошилов рассеянно слушал всеобщие похвалы — и задумчиво как-то помакивал.

Слушал гул голосов — и всё больше, уходя в себя, да поглубже, отрешаясь от этого дня, от листвы его с синевую поднебесной, от птичьего щёбета и от слов похвальных, сутулился.

Слушала возгласы, мнения слушал торопливые — и, почему-то замыкаясь, всё больше и больше, глядя под ноги, в землю, грустнел.

Все хотели помочь Ворошилову.  
 Все киношники, без исключения.  
 Незамедительно. Тут же.  
 На месте. Прямо сейчас.



Но с деньгами, само собою, у всех, кого ни возьми, было, увы, туговато.

Впрочем, трёшки вначале, а позже и пятёрки, пусть небольшие, что же делать, но тоже деньги, что уж есть, то есть, замелькали мотыльками пёстрыми в болшевском, разогретом, но свежем, воздухе.

Извлекались они из карманов, из бумажников плоских, из дамских, модных, крохотных кошельков.

Они пльили по воздуху, двигались лёгкой стайкою — к Ворошилову.

Их горкой хрустяще складывали охотно в его ладони.

Их порою запросто всовывали с размаху ему в карманы.

И навстречу бумажным деньгам — замелькали роем густым, широким потоком двинулись в киношные руки — бумажные, трепещущие по-птичьи в разогретом болшевском воздухе с голосами людскими, листы с ворошиловскими рисунками.

Киношники наседали:

— А это вот сколько стоит?

— А это сколько?

— А это?

Ворошилов, глядя на них, сутулился и не знал, что ему и отвечать.

Вопрошающе, из глубины смущения своего, иногда смотрел на меня.

А что я прямо сейчас мог ему подсказать?

Его ведь рисунки. Пусть сам решает, как ему быть.

А вокруг зудели, звенели, разливались вовсю голоса:

— Ой, купила бы я вот этот рисунок, но у меня, к сожалению, только пятёрка!

— Поищу-ка. Так, трёшка. Ещё два рубля. И вдобавок — мелочь. А рисунок — хочу купить. Что же делать? Может, отдашь?

— Игорь, слушай меня, дорогой, а за семь рублей мне отдашь?

Ворошилов махнул рукой:

— Да что вы переживаете? Сколько есть у кого, за столько и берите! Рисунки — ваши!..

Но так оно, как-то само собою, уже и было.

Сколько там у кого денег в наличии было, столько ему, художнику, тут же и отдавали.

Содержимое папки изрядно вскорости поредело.

Мы сделали перерыв.

К тому же, как оказалось, киношникам после обеда полагался заслуженный отдых.

А у нас ещё несколько летних полновесных дневных часов, до наступления вечера грядущего, было в запасе.

Киношники, прижимая к сердцам своим, переполненным самыми тёплыми чувствами, ворошиловские рисунки, начали

расходиться, не прощаясь, мол, вот поспим, да и свидимся вновь непременно, заверяя нас, что продолжат свою акцию дружеской помощи Ворошильчу, их Игорёше:

- Здесь кое-кто есть побогаче!
- Посолиднее люди найдутся!
- Юткевичу надо рисунки показать обязательно, вот что!
- Юткевичу! Да! Он купит!
- Галичу показать надо попозже. Он купит.

Мелькнул посреди двора, поодаль от суеты людской, режиссёр Мотыль. Помахал рукой Ворошилову:

— Игорь, ты слышишь? Привет!

— Привет, Володя, привет! — откликнулся Ворошилов. — Как жизнь? Чем ты занят сейчас?

— Да вот, новый фильм снимаю! — залезая в машину, ответил Мотыль. — Приключенческий фильм. С восточным, представь себе, колоритом. Советский вестерн.

Мотор заработал. Машина плавно тронулась с места.

Мотыль, ещё раз помахав рукой своей режиссёрской, уже из окошка машины, и в нашу, отдельно, сторону, и всем, кто был во дворе, всей публике, оптом, уехал.

Этим новым фильмом его, как несколько позже выяснилось, стал всем известный нынче фильм «Белое солнце пустыни».

*(Окончание в сл. номере)*



## Глеб СИМОНОВ

*/ Нью-Йорк /*

### живущие у реки

качали вёслами рыбаки стоящие на песке  
они живущие у реки не верящие реке

на рыбьем илистом молоке замешивали круги  
они живущие на реке не знающие реки

взяли долго свои мешки зятянутые в мешке  
они боящиеся реки молящиеся реке

гребя с камнями в одной руке с камнями в другой руке  
боясь проснуться на дне реки проснуться в самой реке

качали вёслами на песке стоячие рыбаки  
они не верящие реке не знающие реки

### немой

немой говорит не много осталось носить песок  
карьерный барак дорога и ветер наискосок  
холодный первач из кружки расплывчатый поздний час  
игла в глубине подушки и спрятанное в матрас  
накрывши себя рогожей немой говорит займы  
и прячет глаза под кожей затем чтобы видеть сны

деревья в земле по пояс немой выдыхает смех  
синоптик бежал под поезд на небе то Бог то снег  
то тучами серой грязи котельные вверх плюют  
и грязь оседает наземь во времени как в клею  
а ветер гоняет ставни и кормит чумой с руки  
немой говоря о камне лежащем на дне реки

где скалит сухие зубы колодезный малахит  
 где землю лопатой рубят и кровь из неё летит  
 и словом нельзя напиться нельзя говорит немой  
 поскольку в реке безлицей вода отдаёт землёй  
 песком скоротечным зыбким в который ложась под нож  
 немой говорит язык и язык отвечает ложь

\* \* \*

живот не разрезан и значит прыжок не начат  
 и значит и значит вообще ничего не значит  
 не значат ни горсть воды ни песочный речет  
 ни крест ни мост ни канава ни чёт ни нечет  
 ни тот старик что на лодке сидит рыбачит  
 не значит не значит вообще ничего не значит

\* \* \*

следом идут волки знает о них пеший  
 землю в пути гложет чтобы идти выше  
 камни в пути лижет и говорит что же  
 пахнет живой кожей след позади свежий  
 он говорит ну же дальше вперёд движет  
 волки уже ближе

\* \* \*

*посвящается  
 Александру Петрушкину*

ничего говорю ничего ничего ничего  
 всё от ветра идёт и всё так же уходит на ветер  
 всё от ветра идёт значит нет ничего своего  
 всё от ветра идёт ничего не поделаешь с этим

раскатай по земле раскури схорони и забудь  
 после нас хоть трава не расти и терновник не вейся  
 за окном целина сапоги и заказанный путь  
 на лопатах верхом или так на колёсах по рельсам

не смотри говорю не смотри суета суета  
 бездорожие каркает ветер уносит под мышкой  
 от креста до моста неспроста не считают до ста  
 через дырку в кармане на землю летит мелочишка

всё от ветра и по одному значит до одного  
 значит от одного но никто ни за что не в ответе  
 ничего говорю ничего ничего ничего  
 хорошо что есть воздух из воздуха делают ветер



# Елена КОСС

*/ Монреаль /*

## О простом поделом

Роман

1

По коридору на добротных железных носилках, с приделанными к ним снизу колесиками, вывозили Петра Алексеевича Грушкина.

«Ничего», — думал санитар.

— Ничего, если развернуть негде, то можно и ногами вперед, — говорил санитар Грушкину, с ужасом нацупавшему нехватку кошелька на своем болезненном теле.

Грушкин точно помнил, когда его подобрали на улице и он очнулся, кошелек был.

Кошелек был еще даже тогда, когда Петра Алексеевича везли головой вперед на осмотр в кабинет.

Карман халата санитара был вызывающе оттопырен спрятанными туда еще неделю назад двумя парами грязных носков, которые санитар регулярно приносил на стирку своей даме сердца, работавшей в этом же учреждении. Но дама пропала куда-то, может, засела на больничный по уходу за своими двумя детьми, болевшими постоянно. Санитар распахал белье как попало в надежде, что она появится вскоре.

Грушкин, которому внезапно примерещилось, что его сбережениями можно оттопырить карман санитара, так же как и носками, к тому же еще и месячной заскорузлости, безвольно, но крайне настойчиво начал тянуть халат, ухватившись за карман.

Санитар смущенно отмахнулся, попав Грушкину Петру Алексеевичу в висок указательной косточкой сильного своего кулака. Петр Алексеевич и ахнуть не успел, только вздохнул неглубоко. Санитар подвез его к кабинету рентгенолога.

Через час прибежала рентгенолог с обеда, таща по привычке сумки с едой. Она и обнаружила первая труп Грушкина, слег-

ка подтолкнула каталку в сторону к выходу, ногами вперед, открыла дверь, запрятала продукты в шкаф, вернулась и потребовала, отозвавшись эхом в пустом коридоре:

— Следующий.

На следующий день Агрипина Алевтиновна, зам главврача МСЧ увидела в коридоре около кабинета человека.

— Вы ко мне? — спросила она невыразительно, машинально отметив настойчивую бледность на лице просителя.

«Инфаркт», — буднично подумала она.

Не расслышав вопроса, человек принялся громко говорить, очевидно, о заболевшем.

— Вчера я почувствовал... — почти закричал он.

Резкий его голос странно прозвучал в коридоре.

— Потом расскажете, — с профессиональной нотой бодрости, более похожей на раздражение, подбодрила Агрипина Алевтиновна.

Войдя в кабинет, она воспользовалась уединением, чтобы вздохнуть несколько раз, позвонить сыну и, наконец, обидеться, что к телефону подошла его жена. Затем она выписала рецепт сыну — смазывать горло, которое она неустанно лечила всю его жизнь и большую часть своей.

Внезапно в ее кабинете раздался телефонный звонок. Молодой врач Тяпкин, проходя по коридору, увидел человека, сидящего в пространстве между своим кабинетом и кабинетом заведующего. Опасаясь поступить нетактично и прихватить чужого пациента, Тяпкин не хотел упускать и своего, не отвыкнув еще до конца от двухлетней работы в частной клинике, откуда его уволили неделю назад за перевозку заинвентаризированной скамейки из больничного двора в свой приусадебный участок. Сам же больной ничего уже не говорил, а только тихо качался из стороны в сторону от кабинета заведующего к кабинету Тяпкина, что тоже ясности не добавляло.

— Молодой, да ранний, — неприязненно поставила диагноз заведующая Тяпкину, выслушав его торопливый говорок. К ней прицепилась слава хорошего диагноста еще в институте, когда вместе с группой попав в морг, она закричала первая: «Покойники!»

— Займитесь им, Василий Васильевич, — не без ехидства произнесла она, нарочито проговаривая окончания имени и отчества молодого врача, которые при обычных обстоятельствах и в угоду народным традициям по-свойски обрубались с концов напополам.

В понедельник Крошкина и Грушкина похоронили.

Некролог вывесили только в четверг, и Грушкин с Крошкиным, которым кадровики, вечный бич жизнелюбия, выставили по два прогула, грозившие лишением премии целому отделу за то, что они оказались там, где религия обещает вечность, а земля — прах, были, наконец-то, оправданы и в глазах коллектива.

— Кто бы мог подумать? — озираясь по сторонам в поисках ответа, ахала Валечка.

— И ведь как жили, так и умерли, — добавила пенсионерка Люба, подметавшая пол.

— Что вы хотите этим сказать? — спросила судорожно Зинаида Николаевна (ходили слухи, что она была любовницей Крошкина).

— А то, что Грушкин имел интрижку с женой Крошкина, — захохотал из своего угла Николенька.

— Что вы говорите, — съязвила Майечка, — я слышала, что это Крошкин имел интрижку с женой Грушкина.

— О покойниках плохо не говорят, — сказала все еще грустная Лидия Петровна, о которой знали точно, что она была любовницей Крошкина.

Верочка и Ирочка, весело переглядываясь, хохотали, потому что Верочка еще не знала, что Ирочка уже вторую неделю была любовницей Николеньки, а Ирочка доверчиво полагала, что Николенька бросил Верочку еще месяц назад.

Так этот большой и дружный коллектив, работавший на благо путей смещения, принял весть о кончине своих товарищей.

— А, простите, от чего они... того? — не выдержав, полюбопытствовал Иннокентий Болотский, обычно тихо писавший стихи уже четверть века в ящики всех письменных столов, встреченных им на трудовом пути.

— Как от чего? — удивилась пенсионерка Люба. — От аппендицита, гнойного.

— Что вы говорите, а я и не знала, что гнойный аппендицит — вирусное заболевание, — встревожилась красавица Валечка, оказавшаяся ближайшей соседкой обоих усопших.

Эту-то фразу и услышал, проходя мимо окна эпидемиолог медсанчасти Никонов П.М., защитивший через два с половиной года диссертацию на тему «Вирусное воспроизводство патологического возбудителя заглушной пазухи гнойного анахронизма правостороннего аппендицита в распахнутоносовых пазухах воздушно-капельным путем» и позже возглавивший неврологический институт имени Буянько-Ламбарозо, названного так в честь знаменитого уссурийского путешественника и шамана, съеденного тиграми в день своего сорокалетия.

Буянько-Ламбарозо долго не признавали в нашей стране из-за этой неудачи, одновременно ставшей и его кончиной. Дело в том, что написав к своему сорокалетию труд о гениях, шаманах, шарлатанах и просто дураках, и после этого перестав отличать одних от других: в силу плохой освещенности тайги он потерял остроту зрения, стараясь закончить рукопись ко дню рождения, а ближайшая аптека, где можно было заказать очки, была далеко. Затягив запланированный самим собой праздник для самого себя, что говорило о некоторой его собранности и безусловном

оптимизме, на основании которого, казалось, он все и рассчитал, даже разослав приглашения во многие известные издательства газет и научных журналов, ученый, лучшей разведки костер, как его учили в детстве, затушил его, страдая склерозом, позже выдаваемым библиографами за энурез, преждевременно, до рассвета, за что и был съеден тиграми. В ту же ночь, но уже после его гибели, разразилась гроза, приведшая к пожару тайги, приписываемому неосторожному обращению со спичками путешественника и шамана. Журналисты, не успевшие к окончанию пожара, сделав репортажи о пожаре по годами наработанным материалам, именуемым болванками, разбежались за будущими сенсациями. Журналист же Вестина-месте, вернувшийся из отпуска и не включившийся пока в работу, планами еще не располагал. Оставшись на месте полить блокнот, он обратил внимание и на приглашение Буянько-Ламбарозо, в котором стояла дата, имевшая место две недели назад перед началом пожара и непосредственно перед его отпуском. Не сходя с места, пристроившись на чудом уцелевшем для этих целей после пожара пеньке, он набросал беглые подробности, в которых любознательная к происшествиям публика впервые разыскала имя Буянько-Ламбарозо, с которым ей сразу пришлось и проститься.

Сенсацией воспользовались умело появившиеся после публикации сторонники и противники ученого. Их публичная борьба обрела частыми в ученом мире кандидатскими степенями и реже докторскими. Назащищавшись, сторонники достигли временной победы, доказав отсутствие магазинов, а косвенно и спичек на расстоянии нескольких дней пути, в местности, облюбованной Буянько-Ламбарозо для труда, построенного исключительно на воображении бедняги.

Предполагалось снарядить экспедицию на поиски остатков лучины, используя метод семейных подрядов, из рядов ученых, но их жены, не отъезжающие в пенатах никуда дальше приусадебных участков, отказались покидать насиженный город даже ради науки мужей.

Так, почти естественным путем, удалось восстановить как собственно, и обнаружить имя этого никем неизвестного ученого человека.

В его чудом уцелевших записках опять больше всего досталось Пушкину, кажется, из-за того, что Буянько-Ламбарозо, представляя себя на месте жены Пушкина, никак не мог понять как он, Буянько-Ламбарозо, смог бы жить с Пушкиным в качестве его жены.

Нерасторопность воображения и глубокая удрученность с этим связанные толкнули Буянько, который сызмальства был не прочь побить на виду (и это ему так или иначе удавалось), к заявлению, что все гении, о которых он был насышан, ничем не отличались от помешанных, которых он знал хорошо.



Себя ученый к гениям не причислял, боясь за правду; что она всплывет. Подобная боязнь за подпадание самих себя под собственные неустыжные определения, щедро адресованные другим, часто случается с производителями быстрых теорий, которым все средства хороши, кроме знаний, которые только мешают, если не отсутствуют, по определению задуманного.

«Уж лучше как есть, лучше меньше, да дольше», — подумал он, перед тем как затушить костер, предусмотрительно опасаясь пожара.

Теперь в институте кроме совещаний, спровоцированных домыслом Буянько, и быстро перекочевавшим в научную среду уже как идеи, на благодатную почву, где ни одна мысль не пропадает даром, без попытки выбить средства на ее финансирование, вовсе уже шли разработки того, как каждого гения представить сумасшедшим, сумасшедшего — шаманом, шарлатаном — дураками, а дураков — гениями.

Разработки быстро заняли подобающее место на государственном уровне, где умели считать и, несомненно, оценили идею перехода количества в качество тем же количеством. А именно, успешность разработок привела бы к потенциальному возрастанию интеллекта целой нации за счет резкой потери массы дураков, переработанных в гении почти без затрат.

— Подумать только, сколько дураков! — радовались в правительстве.

Но думать об этом долго с удовольствием было тяжело.

И вдруг все они завтра — гении. Это же сразу повысит ВВП (возможно валовой продукт), — не унималось правительство.

Да и куда деться от мифа, уже принявшего формы народной традиции, о продаже мозгов.

— Продажа мозгов лучше, чем их пропажа, — говорил народ на городских скамейках.

Но разработки саботировались гениями, которых было предложено игнорировать на ранних стадиях проекта, и которые оказывались везде, где было что-то новенькое, от открытий до мирового признания, хотя именно признанием их предпочитали при жизни не беспокоить, чтобы не снижать их работоспособности.

Признание избирательно, и выбирается оно исключительно людьми заслуженными в одноименных областях, и к тому же коренными патриотами.

— Масоны, — стратегически и одновременно в ногу со временем умалчивая первое ключевое слово этого рокового определения, дулся на них директор института, изнывая, как от чесотки, от присутствия в своем учреждении всех отловленных гениев отечества. Их было семь человек.

— Жиды, — говорила санитарка, предпочитая первое, приятное для ее слуха, слово того же определения и в соответствии с невиданным нигде более простодушием, швыряла им нестиранные халаты взамен изношенных.

«Удрать не успели, голубочки», — размышлял глубже директор, все же жалея себя почти по-отечески, ему так ни разу и не удалось оформить командировку за границу.

— Своих дураков полно, — сказали осведомленные лица в бухгалтерии правительства, сопоставив его финансовые планы со своими.

— Сволочи, — положив конец мечтаниям своим, а заодно и директора в этом магическом диалоге, имевшим место на разных этажах, но в одно и тоже время, сплунула себе под ноги, вымыв пол, санитарка Василиса. — Всю жизнь на них горбатаясь, — вызываяще апеллировала она напоследок к народному качеству путать личные интересы с рабочими.

Природа гения — индивидуальность, в отличие от бесхитростного на вид лукавства, распространенного столь густо, что порой приходят мысли о планомерном его засеве.

К тому же институтом из-за небрежного финансирования была разработана только одна микстура, которая и служила всем стратегическим амбициям руководства, применяемая к подопытным в строгом соответствии со схемами и графиками, разработанными Лужайским и его лабораторией надсмотра над действительностью и отклонениями от нее. Лужайский и его люди знали, а если и не знали, то как-то догадывались, где, кому и сколько эту микстуру принимать.

Микстуру подавали в одноразовых пластиковых стаканчиках с надписанными вечным карандашом на них именами подопытных, что заметно удлиняло жизнь самих стаканчиков до факта образования нескольких дырок на дне. Стаканчики с краями обкусанными значительно ниже середины, так, что имени разобрать уже было невозможно, тоже выбрасывались.

Микстурой в основном кормили вместо завтрака и обеда, потому что на ужин ничего положено в смете не было: ужин отдавали врагу, в основном, в его роли выступал коллектив заявленного в эксперименте учреждения.

В то время как дураки выпивали микстуру, в надежде на чудо, из-за пристрастия к которому и сформировалось само определение, шаманы нагло, но тайком, выливали микстуру в рукав; шарлатаны — в цветы, так отбрасывает крапленые карты игрок, чтобы не побили, догадавшись; гении демонстративно вышвыривали микстуру в урну, причем вместе со стаканчиками, а некоторые плескали жидкость прямо в лицо главврачу. Принципиальность гениев, откровенно срывающих эксперимент, раздражала всех. Гибель же цветов в районе пяти километров объясняли действием ядерного излучения ракет дальнего действия ближайших стран, сожженные рукава халатов списывали за счет метеоусловий и прочих осадков. Лицо главврача сильно пострадало в ходе эксперимента, превратившись из худого и удлинненного в толстое и круглое, как, собственно, и вся его фигура, некогда хрупко-скромная, которая теперь с трудом

влезала даже в руководящее кресло, а уж вылезать оттуда было настоящей мукой; все чаще и чаще ему приходилось прибегать к помощи медицинских работников самого низшего ранга, чтобы выбраться из кресла, осадившего нижнюю часть его фигуры до сожести с основанием памятника. Он страдал.

— Зажрался, — говорила нянечка Василиса, не любившая поднимать ничего тяжелее судна.

— Может судно тебе принести? — заботливо спрашивала она в ответ на внеочередную просьбу шефа.

Оставались не удел только сумасшедшие, на которых микстуру экономили из-за небрежного расходования выделенных средств. Да и что с них взять, с сумасшедших. Действительно, взять с них было нечего: к ним редко кто-то приходил с передачами.

Единственными, кто пил микстуру добровольно и даже втайне, были грузчики, за обещанное в ней присутствие спирта. Позже выяснилось, что и края стаканчиков обгладывали они же, пытаясь закусывать.

Несмотря на то, что в микстуре содержание спирта никогда не превышало уровня *обещанности*, грузчики часто впадали в бешую горячку, в которой все как один ругали микстуру по матери.

## 2

Министр орал. Остальные внимательно его слушали. Каждый старался как мог и как того требовала должность.

На подоконнике стоял столетник с оципанными со всех сторон веточками.

Нетрудно предположить, что при современной популяризации должительства средствами массовой информации, находилось полно желающих. Тем более в кабинете министра речь шла о работниках министерства, людях жизнью в основном довольных, по крайней мере, сравнительно удовлетворенных. Каждому хотелось попробовать на себе, прямо здесь в кабинете министра, отщипнув от одноименного цветка, и сладко пожевавая горькую жидкую веточку, дождаться своей минуты и покинуть этот кабинет. Бежать в свой кабинет, чтобы плавно вступить в него и в свою должность, вызвать подчиненных и повторить министерскую процедуру новым составом, с собою во главе. Потом поехать кто куда, это все дело вкуса, и так возможно лет сто, ну хотя бы пятьдесят или даже пусть будет сорок.

Кто-то задел столетник локтем.

Цветок, если можно его так назвать, упал. Горшок разбился вдребезги.

Министр вздрогнул, как от взрыва, резко пригнувшись, головой вниз: коленки не успели согнуться. Его руки влажно поволодели, он озирался по сторонам, не меняя этого неловкого положения.

«Диверсия», — все еще внятно дребезжало в его голове. Увидев, что и остальные тактично присели, чтобы не быть выше руководства и никто не упал, он тоже падать не стал, а, напротив, минут через пять взял себя в руки, хотя сильно закрутило живот. Он прошелся, прокашлялся и остановился, заложив одну руку в карман, а другую на поясницу, случайно сохранив равновесие.

— Что это? — потребовал министр одними продольными морщинами лба, сделав ими внушительный зигзаг.

— Цветок, — испуганно, но без сомнения, ответил кто-то стоящий ближе к подоконнику, нагнувшись, чтобы поднять столетник вместе с черепками горшка.

— Не трогать, — снова обретя голос, заорал министр, упрямая легкие, но травмируя горло — чем-то всегда приходится жертвовать.

— Всем по местам, пока еще эти места ваши!

Все рванулись к своим местам, где каждого ждала своя бочка меда власти, после капель дегтя, второпях проглоченных в кабинете министра.

Пообещав всем, что они успеют добежать до своих кабинетов, министр слукавил. Он уволил начальника управления, пытавшегося поднять цветок и очевидно его же и уронившего.

Министр был не дурак, напротив...

На противоположной стенке висели только часы, казавшиеся заблудившейся истиной в сутолоке неподвижного министерства.

Надо будет портрет повесить, подумал он с вниманием. Что поделаешь — иерархия. Каждый, имеет кого-то над своей головой.

Расправившись с мошенником, которому что-то надо было от столетника, интересно что, министр понял, что ошибся.

А если их шайка, думал он, ни доказать, ни поймать, а они не взорвать, так отравить, не отравить, так подстрелить, не подстрелить, так яду подсыпать, хотя ядом и отравить можно, вовремя одумался министр.

Его подозрительность рассеяли вызванные секретаршей спецназовцы.

Это оказались два толстяка с торопливой одышкой.

— Что за спецназ? — ахнул министр, доверчиво ожидая объяснений.

— Мы из интеллектуальной группы поддержки, — ловко увернулись в который раз толстяки от камней, щедро кидаемых в их огород сомневающимися.

— Спецназ, он тоже разный, понимаешь, — сказал один из них, тот, у которого не сбивалось сильно дыхание от разговора.

Другой же каждый раз, почти не слышно, повторял каждое слово за первым.

«Таким в министры не пробраться», — самодовольно подумал министр.

Оба надели перчатки и попросили министра удалиться из кабинета для его личной и возможно дальнейшей безопасности.

«Как же я сам-то об этом не догадался, я же рисковал-то как», — задумался министр уже дома, ночью, лежа в постели.

Оставшись в кабинете наедине с министерскими благами, они пробыли там до конца дня, звонили четыре раза жене разговорчивого на Кипр, где она отдыхала последние пару лет, всей душой принадлежа мужу, спросили два раза чай с бутербродами и три раза кофе с коньяком.

Ушли, весело поболтав с молчаливой секретаршей, доброй женщиной заметного роста. Обещали вернуться на следующий день, но вместо них пришли три здоровенных детины, ростом выше секретарши, осмотрели углы, усмехнулись столетнику, составили акт, отдали честь министру и тоже ушли.

Министр не знал, что думать. Он снова созвал совещание. С каждым днем кричать становилось все труднее: терялось одно из основных профессиональных качеств, тщательно наработанных годами честной службы. Врачи тоже безмолвствовали, возглавляемые хорошим диагностом. Министр стал проводить совещания недомолвками: гортанный короткий выкрик-пауза, также помогали брови, строго держа изображение вопросительного знака на непримиримом к понижению в должности лице. Все это сильно смущало его привыкших практически ко всему, как на своих постах, так и на пути к ним, подчиненных.

Снизился общий аппетит, и буфетчица спецстоловой, веселая и курносыя Ниночка, за месяц растолстела так, что симпатичный ее носик совершенно пропал, уступив место двум дырящим дырочкам. Жених, с которым они собирались пожениться через неделю, сбежал, и Ниночке ничего не оставалось, как переехать к Сидорову, зам начальника управления снабжения, от которого ушла жена месяц назад к начальнику управления снабжения, благодаря уже собственным усилиям в продвижении по службе. Жены тоже двигаются не как попало, а в основном вверх.

Сидоров, не успев оправиться от обоих переездов, пил водку и ничего не ел, не привыкнув закусывать. Ниночка похудела и снова стала хорошенькой, но к старому жениху не вернулась, решив его проучить.

Внезапно пышная шевелюра министра посыпалась.

Наконец-то министр вспомнил, что те двое спецназовцев с одышкой работали его замами. Он уволил их одного за другим из-за крайнего подозрения в неладном.

Теперь неладное стало явным.

Но было поздно: столетник засох, не прожив и пяти лет.

Идея бессмертия всегда занимает умы людей обеспеченных, им главное, сколько прожить, бедняков терзает вопрос — на что, и только поэты предпочитают мечтать над тем — как.

Как вскоре выяснили определенные органы, спецназовцы, вспомнив былое, не выдержали при исполнении служебных обязанностей и всыпали в столетник пачку соли, а министру подлили в графин с водой микстуру из института неврологии, которая была прекрасным средством при наружном потреблении нянечками, медсестрами и даже врачами от избавления волос подмышками и на лице.

Волосы министра выпали полностью и на служебном посту. Сотрудники министерства находили их повсюду: в столовой, куда он частенько заглядывал, в библиотеке, где он никогда не бывал. А его первый зам обнаружил их на своей частной подушке в кровати рядом с подушкой жены. Он тщательно и украдкой отплевывался от них ночами, чтоб жена не заподозрила неладное.

Это происшествие открыло два решающих недостатка микстуры: возможность облысения целой нации при внедрении микстуры в эксплуатацию, после чего осложнился бы отлов лиц неправильной национальности, и, наконец, тот факт, что грузчики института были не единственными в стране, кто использовал служебное положение в личных интересах.

Институт закрыли, распустив подопытных в незавершенной стадии эксперимента, а персонал распихали по хорошим знакомым. Некоторым удалось устроиться и к малознакомым, но в основном молоденьким девушкам-практиканткам.

Остатки микстуры поделили по-братски между привыкшими к ней грузчиками и женщинами.

Стаканчики расхватали только те, кто успел.

Теперь после постигшей его травмы, когда министр кричал на совещаниях и лицо у него было привычно красным, верхние кончики его ушей оставались бледными и мерзли с непривычки.

#### 4

Подопытные разбрелись из института по стране.

Гении, обычно крайне непопулярные при жизни, возвеличивались сразу же после смерти; чтобы ускорить процесс признания нетерпеливые современники им часто помогали уйти из жизни пораньше. Улицы зарастали памятниками одинакового роста, преимущественно с двухэтажный дом, обозначая миграционные пути великих людей, непонятых при жизни и запрятанных в металл после. К памятникам тянулись добровольные поклонники и запланированные школьники. Каждый говорил от их имени то, что обычно думал сам или слышал от кого-то.

Больше всего досталось Пушкину как национальному гению с явно выраженными африканскими чертами. На этот раз Пушкина обвиняли в том, что Сальери отравил Моцарта. Сальери — музыкальный чиновник был современником Моцарта, ловко пользуясь возможностью личного общения с Моцартом, травил его и травил, еще он свистел во время исполнения опер Моцар-

та, хотя и ребенок знает, что свистеть в публичных местах не прилично: мамы всегда останавливают таких озорников, но у Сальери мамы уже не было.

Еще Сальери всех поучал, как надо писать музыку, чтобы она была похожа на музыку Глюка или Гайдна, или позже Моцарта. Когда Моцарт умер внезапно в возрасте 35 лет, уверенный, что его отравили, Сальери распорядился и проследил лично, чтобы Моцарта бросили в яму к бродягам. Позже Сальери признавался не раз в отравлении Моцарта, за что над ним надругались свои же, объявив сумасшедшим.

Все бы прошло более или менее тихо, но Пушкин — «невольник чести», вышедшей совершенно из моды, в связи с повышенной тягой к долларам и их соперникам — евро, принял вызов. В трагедии есть фраза: «Гений и злодейство — две вещи несовместные».

Причем по странным обстоятельствам фраза повторяется дважды. И многие ученые под действием шока от этого заявления, сделанного в финале трагедии, долго приписывали сказанное исключительно Сальери: что взять с бездарности. Это и было причиной почему судьба Сальери не вызвала особого интереса в стране, где итальянцев называли простодушно «макаронники», очевидно из недовольства собственным частым употреблением данного продукта, возможно, итальянцами и изобретенного и который в Италии едят с сыром, мясом и овощами, а в пенатах с хлебом.

Но кто-то же докопался и нашел, что Сальери произносит фразу с вопросительным знаком на конце.

Бросились смотреть, что стоит у такой же фразы Моцарта — точка.

В ученых кругах воцарилось долгое молчание.

Бог определяет грехи, церковь — отпускает, Пушкин с грехом злодейства не дает входить в царство избранности, ставя клеймо на самом злодействе.

Злодейство редко бывает одноразовым в уделах, где даже пластиковые стаканчики делают именными и заставляют слушать многократно.

— Не ремесленник! Сальери ремесло поставил лишь «подножием» искусству, — изворачиваются умельцы делать все из ничего в надежде на невежество читателя.

Пушкин избличает «в науке искусенных» как ремесленников:

«Труден первый шаг  
И скучен первый путь. Преодолея  
Я ранние невзгоды. Ремесло  
Поставил я подножием искусству;  
Я сделался ремесленник: перстам  
Придал послушную, сухую беглость

И верность уху. Звуки умертвив,  
Музыку я разъял, как труп. Поверил  
Я алгеброй гармонию. Тогда  
Уже дерзнул, в науке искушенный,  
Предаться неге творческой мечты».

Цеховики учатся по этой формуле успеха в ремесле, данной Пушкиным мягко, но твердо и навсегда обозначить ремесло, отделив его от творчества. Довольные обладанием ремеслом, практически скатерти-самобранки, в то же время они пытаются увернуться от самого термина «ремесленник», вычеркнув фразу, «Я сделался ремесленник». Хотят внутри быть «ремесленник», и на сытое свое содержание набросить форму таланта. Но талант — не форма. Они мучаются и нервничают всем цехом, а никак форму нужную натянуть на себя не могут: не знают, что такое талант.

Сальери — карьерист — фальсификатор-завистник, использовавший музыку как средство, занимавшийся плагиатом с честным видом последователя, травивший Моцарта, оказался несчастным малым: ему никто не поверил, кроме Пушкина, написавшего трагедию, Бетховена, запретившего приводить Россини к себе в дом отравителя Моцарта, и всех музыкантов, его современников, решивших предать забвению его творческий плагиат.

В тот самый момент, когда Сальери уже не мог прятать гений живого Моцарта в шипении своего свиста от Венской публички, где заправял всем, и новый император Австрии, наблюдавший интриги Сальери внимательно, но беспомощно, еще будучи наследником получив власть, дал выход возмущению и решил назначить Моцарта на место Сальери; внезапно Моцарт гибнет с признаками ртутного отравления, весьма распространенного в среде завистников и наемных убийц того времени.

Сальери плачет, плетясь за гробом Моцарта, которого он организовал похоронить в общей яме.

Убитый горем Сальери на глазах у всех прячет Моцарта, беспомощно лежащего в гробу, так, чтобы никто точно не запомнил ни места захоронения, ни самого Сальери.

Сальери не признают убийцей сегодня, двести лет спустя, потому, что раз тело Моцарта не найдено, значит, нет и состава преступления. Может, Моцарт и жив еще, раз мертвым его никто не помнит. Сальери отказываются верить, что он, злодей, отравил Моцарта, потому, что принципы его ремесла, сегодняшними ремесленниками-последователями выставлены публике как талант. И современные не сомневаются в себе, причем, они только в себе и не сомневаются.

К тому же додумались они:

«— Что пользы, если Моцарт будет жив  
И новой высоты еще достигнет?  
Подымет ли он тем искусство? Нет;  
Оно падет опять, как он исчезнет».



Ну и решили не выносить сор из цеха. К тому же ремесленники-то живы и вечны, а вечный Моцарт мертв.

Где ремесло там цех и профсоюзы.

При хорошо налаженных средствах массовой информации правда за теми, кто у микрофона.

Вызвали хорошего диагноста поставить Моцарту диагноз, отчего, дескать, он умер в 35 лет, двести лет назад.

Агрипина Алевтиновна задачу свою поняла. На научно-врачебном совещании с временно безработным Никоновым П.М., возглавлявшим в лучшие и самые сытые времена своей профессиональной деятельности эксперимент «дураки в гении» Никонов, вспомнив молодость, предложил считать смерть Моцарта результатом гнойного аппендицита.

— Нет, не пойдет: Моцарт умер со всеми признаками ртутного отравления, а они все же отличаются от знакомого вам аппендицита.

— А если аппендицит острый, — не унывал Никонов.

— Нет, — отчеканила грубо Агрипина Алевтиновна.

Никонов приуныл и смолк, не зная, что еще можно придумать и обиженно взерошился.

Агрипина Алевтиновна тоже молчала, но в этой тишине уже зарождалась буря.

— Жаль, что нельзя ознакомиться с результатами вскрытия, — сказала она опрометчиво. — Хотя это и к лучшему, — наконец-то проникла она в замысел Сальери. — Я думаю, что по симптомам схожим с ртутным отравлением, от которых его не стало, Моцарту можно поставить диагнозом заболевание почек, по изображению уха его сына, которое не столько предполагает, сколько доказывает заболевание почек.

— У кого? — на ощупь пробирался в лабиринте диагностики временно безработный.

— Сначала у Моцарта, потом у его сына.

— Что вы говорите! А разве заболевание почек тоже вирусное заболевание, — оживленно и с надеждой поинтересовался Никонов, снова подумывая о карьере вирусолога, и готовый выучить кроме аппендицита еще один орган в органах — почки.

— В своем роде, да, — уверенно обнадежила диагност.

Они составили заключение и попили чаю с медком и брусничкой — прочистить почки, да и мочевого пузырь, уж заодно: Бог бережет береженого. Все это заняло у них не больше получаса.

Вот чудеса современной медицины, возглавляемой техническим прогрессом, что и позволило поставить диагноз болезни двухсотлетней древности, — порадовались те, кому это было надо, дождавшись сенсационного заключения.

На что врачи скромно, но удовлетворенно улыбнулись совершенно одинаковыми улыбками.

Музыку Сальери, которую тот ловко написал в служебные перерывы, подражая Гайдну, Глюку, потом Моцарту, начинают играть. К Моцарту же, уверенно доказав самим себе, что его ни-

кто не травил, хранят молчание, говоря на совещаниях бесконечных союзов:

«— Как некий херувим,  
Он несколько занес нам песен райских,  
Чтоб, возмутив бескрылое желанье  
В нас, чадах праха, после улететь!»

Мы избраны, «чтоб его остановить — не то мы все погибли,  
Мы все, жрецы, служители музыки...»

«Завистник, который мог освидетельствовать “Дон-Жуана”, мог отравить его творца», — ставит точку Пушкин.

## 5

Между тем, оставшись без присмотра, подопытные множились объединением, связями, интрижками и даже разводами. Явления эти характерны любой социальной формации, определяемы чаще как просто жизнь.

Между тем, основное население хоть и добивалось увеличения умножением, тем же путем, что и подопытные, нового им никто придумывать не стал, зато под внимательным надзором самого правительства, проводящего позитивное статистическое пересчитывание.

Вздохи, сетования, ошибки, разочарования, насмешки, непонимание, безденежье, работа, скандалы, ревность, увлечения, судьба: все это тоже — просто жизнь.

Жизнь никого не балует в отличие от успеха.

В магазинах появились колбасные изделия, сделанные на значительной базе овоща — сои, или фрукта. Хотя возможно соя — это грибок, но возможно ли это?!

Соя, генетически измененная, портила желудки и настроения коренного населения и делала его подозрительным. В отличие от речной воды, которую разливали на всеми любимый чай и кофе без меры, особенно в рабочее время, ни в чем ее, родную, не подозревая.

По дну главной реки главного города лучшей страны плыла рыба-мутант. Глаза у нее были голубые, зрачки расширены, попки заменили руки, а хвост, соответственно, ноги. Вместо чешуи болтались волосы, в основном на голове. Рыба думала о прошлом с сожалением, смешанным со сквернословием, несмотря на наличие вторичных половых признаков в пользу сильного пола и назло завистникам слабого.

— Опять вчера отчет писать пришлось, — привычно жаловалась она, отплывавшая от водорослей, покрывавших пустое дно. — Обещал же в столовую заведующей перевести, — вспоминались ей лучшие дни. — Больше не дам ему... — злорадствовала она, поглядывая мысленно на свое отражение сверху вниз и снизу вверх.

«Что толку-то», — апатично подумала беременная рыба. Она выплыла и, придевшись, пошла на выяснение отношений.

На следующий день в столовой появилась голубоглазая заведующая со скользкими руками и ногами и отменила рыбный день.

— Сосисками обойдетесь, — заявила она компетентным лицам.

— Но, простите, в них же соя?

— В этих нет.

После этой истории жители никак не могли взять в толк, куда смотрит правительство. Правительство закупало сою для народного продукта — сосисок с колбасой, оберегая тем самым икру рыбы-мутанта от бутербродов с маслом на своих банкетных столах. Печатные издания вели, как могли, разъяснительную работу с беспечными и одновременно измученными бдительностью гражданами.

Что думала соя по данному поводу, оставалось неизвестно: генетически она не могла говорить. А может это и к лучшему.

Все это привело к тому, что появление подопытных в городе осталось практически незаметным из-за общих волнений, тогда-то простодушные и обнаружили в долларе сионистские знаки прямо на лицевой стороне, и всегда щепетильные в вопросах чести обменные пункты стали вдруг отказываться принимать к обмену валюту ниже 20 долларового достоинства, и поддерживая достоинство, не выдавали на руки разницу составявшую меньшее достоинство, кричали на непонятливых и вывешивали правила обмена, где понятным языком, черным по белому указывалось, что идущие на обмен принимают отказ от достоинства меньшего 20 долларов и отказываются в приеме. Таким образом, пункты обмена быстро стали в один ряд с церковью по поддержке национальной самобытности, а вместе с ней национального достоинства и единства, после достижения которых опять обострилась разница между народом и всеми остальными национальностями, включая выброшенных после завершения эксперимента подопытных. К тому же церковь обрела в лице меня новых прихожан, а Бог — раскаявшихся.

Несколько подопытных, оказавшихся пушкинистами, вели беседу, отмахиваясь от мух и мечтая как взять деньги там, где уже ничего нет — из прошлого.

Речь касалась возможного пристрастия Пушкина к морковному соку. Доказательств подобного пристрастия найдено не было, что делало невозможным данное пристрастие как таковое, а так же и гонорар пушкинистов за участие в рекламе морковного сока.

— Толстовцы вон сколько уже на моркови заработали, — сокрушались они беспомощно.

— Это же ради детей, — сказал пушкинист позднего поколения, потерявшего связь с великим поэтом вместе с честью.

— А Пушкин-то причем? — спросил старичок так напоминавший старого интеллигента, проходя мимо пушкинистов и опираясь на палочку.

— А вам-то какое дело, идите себе, — привычно отмахнулись пушкинисты давно и всем цехом считая Пушкина исключительно своим собственным достоянием и источником благ.

— Богу до всего есть дело, на то и промысел Божий, — произнес Бог, привыкший к недоверию.

— Я как-то в церковь пришел, спрашиваю слугу Божьего, назови, мне, сынок, десять заповедей. Он пробормотал мне четыре, и то две последних были — «не прелюбодействуй». И вежливо попросил — поди дед, некогда, скоро служба. «Кому служить собираешься?» — спрашиваю. «Богу», — отвечает.

После рассказа, ткнув худенькой своей палочкой первого попавшегося пушкиниста, Бог превратил всех троих в агентов 3-го секретного Жандармского управления.

— Значит-с так, следить будите за чиновником 10-го класса Александром Пушкиным, — говорил тип с опрятными бакенбардами, плавно переходящими в опрятенькую бородку.

— Николай I, — оцепенел морковный пушкинист.

— Позвольте имена-с, — самодовольно усмехнулся жандармский поручик Тяглов.

— Иван Петрович Белкин, — распоясался морковный.

— Документы-с.

Совершенно новый Иван Петрович Белкин полез в карман и, не удивившись, выудил оттуда бумагу, подтверждающую его наглае заявление. По мере чтения описания внешности в данном документе, сходство морковного пушкиниста с описанием Ивана Петровича Белкина возрастало, пока не сделалось абсолютным.

— Он же покойный, Белкин-то, — обменялись информацией два оставшихся в живых пушкиниста.

— Значит, вдвоем служить будете-с, резюмировал события этого нелегкого дня жандарм.

— А ваши имена-с? — повторно возник коварный, жизненно важный вопрос.

Один растерялся настолько, что назвался своим именем, как маменька звала его в детстве, Ванечка.

— Тут нянек нет-с, — съязвил жандарм обескураженным наконец-то пушкинистам, записав его как Ивана Ивановича Иванова.

Другой же пушкинист, опомнившись и оценив обстановку, представился именем мужа своей аспирантки и возлюбленной: здорового краснощекого детины, лет тридцати.

— Господи, — помолился он, осенив свое свежее красное лицо крестом перстами чудовищной величины.

«Хоть бы эта дрянь, — имелась в виду все та же возлюбленная аспирантка и любовница, — берегла бы его, ей бы только яблоки из вазы таскать, хоть бы обед когда-нибудь приготовила, муж все же законный, как же его без забот-то оставлять», — думал он о чужом муже как о себе родном.

— Воистину, милосердие.

Он еще хотел добавить, что-то, но понял, что Бог давно не слушает его. Внезапно посиневшей рукой он схватил себя за одноименного цвета горло.

Память еще живая и шустрая, молодая, пышущая еще здоровьем, напомнила, что он отравил, из ревности, наливное яблоко, оставив без присмотра в вазе, зная, что аспирантка обязательно стащит его скормить своему прожорливому мужу. Стащила, догадался он, но было уже поздно: яд подействовал.

— Став вдовой, она быстро защитится у Смирнова, этого молодого выскочки, привыкшего менять аспиранток каждый год, подумал он с сожалением к ситуации. И Бог услышал это его последнее желание.

Оставшись в живых, Иванов, испытывая так хорошо знакомое научное беспокойство, именуемое в народе обычным любопытством, спросил жандарма:

— Простите-с от чего же-с такое-с каждый раз-с?

— Длинновато-с?

— Да-с,

— Для частых докладов начальству-с, для докладных-с?

— Простите-с, а с подчиненными почему-с?

— Для острастки-с и секретности-с, порядку-с и для мало-словия-с.

— Болтунов-то полно-с развелось-с.

«Подобострастие начинается с сознательного дефекта речи», — записал Иванов тайком в тетрадке, чтоб потом подумать, не помешает ли это замечание его карьере ученого, а, если не помешает, то, может что принесет?

— Кончается же подобострастие... никогда-с, — добавил он в тетрадь, на этот раз взятый из жизненного опыта вывод.

— Как же-с без страху-с, — поддержал его невольные мысли поручик.

«Да-с», — безропотно подумал Иванов.

Следить за Пушкиным было сложно. Мешало все, даже фамилия Иванов, еще вовсю работали Екатерининские уставы, дававшие привилегии иностранцам. К прямой слежке он отношения не имел, передавая только доносы на поэта от недоброжелателей, которых накапливалось множество. Достигая назначения, доносы переименовывались в донесения, недоброжелатели — в верноподданных.

Иванов спрятал парочку листов из охапки доносов какой-то старухи, чтобы показать потом на ученом совете. Старуха напомнила ему кого-то, но кого он вспомнить не мог.

— Пиковая дама! Вот ведь до чего докатилась обладательница «тайной недоброжелательности».

Впервые в жизни Иванов, привыкший к рутинной, почти бездеятельной, академической деятельности, был возмущен, но, вспомнив, как он добился профессорской должности, остыл.

— Надо же, как мало что-то поменялось.

— А старухе-то зачем Пушкин?

— А рекламе морковного сока?

Неудобно зашевелилась совесть внутри Иванова.

— Это ради детей, — вовремя вспомнил он.

На следующий день он был послан на встречу забрать донесение. Кажется, это была фрейлина царицы, Екатерина Гончарова, донесение из дома Пушкина. Она показалась ему удивительно красивой и энергичной.

— Берите же, это срочно, — строго произнесла она. — И прямоком к Бенкендорфу.

Отойдя, он, встав под фонарем, приоткрыл донесение, переписанный на нескольких страницах мелким аккуратным женским почерком, знакомый ему наизусть, документ Пушкина.

#### «О РУССКОЙ ИСТОРИИ XVIII ВЕКА

*По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины мало-помалу исчезали. Народ, упорным постоянством удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр. Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкло к выгодам просвещения. Гражданские и военные чиновники более и более умножались; иностранцы, в то время столь нужные, пользовались прежними правами; схоластический педантизм по-прежнему приносил свою неприметную пользу. Отечественные таланты стали изредка появляться и щедро были награждаемы. Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось ненарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе. (Доказательства тому царствование безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и сладострастной Елисаветы.)*

*Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон. (История представляет около его всеобщее рабство. Указ, разорванный кн. Долгоруким, и письмо с берегов Прута приносят великую честь необыкновенной душе самовластного государя; впрочем, все состояния, окованные без разбора, были равны пред его дубинкою. Все дрожало, все безмолвно повинилось.)*

*Аристократия после его неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к счастью, хитрость государей торжест-*

вовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили б число дворян и заградили б для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы. Памятниками неудачного борения аристокрации с деспотизмом остались только два указа Петра III-го о вольности дворян, указы, коими предки наши столько гордились и коих справедливее должны были бы стыдиться.

Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Много было званных и много избранных; но в длинном списке ее любимцев, обреченных презрению потомства, имя странного Потемкина будет отмечено рукою истории. Он разделил с Екатериною часть воинской ее славы, ибо ему обязаны мы Черным морем и блестящими, хоть и бесплодными, победами в северной Турции. (Бесплодными, ибо Дунай должен быть настоящею границею между Турцией и Россией. Зачем Екатерина не совершила сего важного плана в начале французской революции, когда Европа не могла обратить деятельного внимания на воинские наши предприятия и изнуренная Турция нам упорствовать? Это избавило бы нас от будущих хлопот.)

Униженная Швеция и уничтоженная Польша, вот великие права Екатерины на благодарность русского народа. Но со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, открывает жестокую деятельность ее деспотизма под личиною кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее

в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное физлярство в сношениях с философами ее столетия — и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России.

Мы видели, каким образом Екатерина унизила дух дворянства. В этом деле ревностно помогали ей любимцы. Стоит напомнить о пощечинах, щедро ими раздаваемых нашим князьям и боярам, о славной расписке Потемкина, хранимой донныне в одном из присутственных мест государства (Потемкин послал однажды адъютанта взять из казенного места 100 000 рублей. Чиновники не осмелились отпустить эту сумму без письменного вида. Потемкин на другой стороне их отношения своеручно приписал: дать е... м...), об обезьяне графа Зубова, о кофейнике князя Кутузова и проч. и проч.

Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренные таковою слабостию, они не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика с жадностию пользовались кратким его царствованием. Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа.

От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом развратная государыня развратила и свое государство.

Екатерина уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. Свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку — а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первый лучи его, перешел из рук Шешковского (Домашний палач кроткой Екатерины.) в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фонвизин, которого она боялась, не избежал бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность.

Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но, лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностию. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии; ибо напрасно почитают русских суеверьными: может быть, нигде более, как между нашим простым



народом, не слышно насмешек насчет всего церковного. Жаль! ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер.

В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главою своею папу, составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, но огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей историю, следственно и просвещением. Екатерина знала все это и имела свои виды.

Современные иностранные писатели осыпали Екатерину чрезмерными похвалами; очень естественно; они знали ее только по переписке с Вольтером и по рассказам тех именно, коим она позволяла путешествовать.

Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе свое действие; "Наказ" ее читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить ее наряду с Титами и Траянами, но, перечитывая сей лицемерный "Наказ", нельзя воздержаться от праведного негодования.

Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и в короне, он не знал, он не мог знать истины, но подлость русских писателей для меня непонятна.

Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники самовластия в том несогласны и принимают славную шутку 2-жи де Сталь за основание нашей конституции: *En Russie le gouvernement est un despotisme mitige par la strangulation* (Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой).

2 августа 1822 г.»

Пушкин, рискуя жизнью, писал этот документ, рискуя жизнью, хранил его, в надежде, на внимание историка будущего. Но как видно, не историки, и тем более не сама история остаются в наследство потомкам, а линия, проводимая обстоятельствами на истории, как горизонт для правды, за которым ничего уже не видно.

Екатерине же Второй, завоевательнице Крыма, продолжали отдавать дань, как и качествам ей внедренным в государственность, в отличие от Крыма, который отдали сами, причем не тем, у кого забрали.

Размышление Иванова прервал жандармский поручик Тяглов:

— Что это, милейший, тут происходит?

— Донесение-с.

— Да прекратите вы заикаться, милейший, времени нет. Пора, уже 1834 год на исходе.

— Донесение на Пушкина? Важное?

— Да, — не мешкая, сдался Иванов.

— Садитесь, — сказал Тяглов. — В Зимний, —скомандовал он кучеру.

— С сегодняшнего дня особенно все донесения на Пушкина к государю. Государь изволят быть цензором господину Пушкину.

— Два Николая Первых встретились, и как же иронична природа: жандармский поручик Тяглов был больше похож на Николая Первого, чем сам самодержец, у которого взгляд иногда начинал бегать по углам, как будто он искал там что-то важное, но чужое, и так настойчиво, что свидетелям приходилось прятать собственные взгляды кто куда успевал, или вдруг взгляд делался неподвижным, царь не моргал, лицо его каменело и становилось похожим на стену с носом и рыбьими водяными глазами. В то время как Тяглов, внезапно лишившийся подобострастия буквы «С», выглядел умным и приятным.

— Бороду сбрить сегодня же, — приказал царь своему двойнику, понимая превосходство жандармского поручика в сходстве. Он сел в кресло около камина, стал читать.

Через пять минут прозвучала резолюция цензора:

— На царей перо поднял!

— В камер-юнкеры, срочно!

— Друзей его купить, кого купить нельзя — запугать, кого не запугать — убить.

— Денег не жалеть из казны!

— Лучше больше отдать, чем все потерять!

— Окружить его ушами, глазами, злыми языками. В грязь извалять, выставить рогоносцем, плохим литератором, наконец. Что разве нет никого больше, кто писать умеет кроме него?

— Когда страдания его станут невыносимыми, не раньше, казнить!

— Дантеса ко мне, срочно!

— Казнить, казнить, — орал Николай, выкатив стеклянные глаза свои до отказа.

«Лучше мертвый сын, чем живой поэт», — подтвердит царь свой монолог и любовь к поэзии позднее, обращаясь к собственному внуку К.Р., которому вздумалось стать поэтом.

Выходя из покоев государя, Иванов, наконец-то, увидел Бенкендорфа, своего сиятельного шефа. Тот уговаривал еще одного двойника царя, только с одними усами, не без вычурности, с нагло выбритыми и выставленными напоказ самодовольными щеками и подбородком, как будто он только что довольно и плотно пообедал, оснащенного добротной шевелюрой, которая значительно отличала его от помазанника Божьего, совершенно

оплешивевшего и которому портретисты капали холодную и масляную краску на голый череп по высочайшему повелению замазать череп для истории на манер зачеса.

— Ну не бойтесь, мы вам панцирь дадим вместо пуговицы. Он еще ни в кого ни разу не выстрелил, а выстрелит, то только ударом и отделаетесь, ушибом ребер. Да, не тряситесь вы, как маленький. Денег хотите, чины любите, а поработать немного стесняетесь.

— А вот вас к себе и государь срочно зовет, — сказал он будущему сенатору Франции, на котором лица не было.

— Писателя Белинского ко мне, — приказал Бенкендорф поручику Тяглову.

— Писателя? — задумался Иванов.

Иванов побрел по улице. Ему было страшно, но потом он задумался об ужине.

Столовался он у Федосии Подбыльной.

Ужином у нее тоже не кормили, как в клинике, в которой пушкинист провел последние три года, довольствуясь микстурой.

Может это микстура, загрузил он, вспоминая наготу царского черепа, но решил сначала поужинать.

Он зашел в трактир за углом и наелся на полкопейки вдоволь и в долг, под честное слово.

Уже стемнело, когда, очнувшись от сытого ужина, не держащего наконец-то сои, он полусонный вышел на освещенную фитилями фонарей улицу.

По улице совершенно один, так сказать без хвоста, быстрыми шагами шел Пушкин. Иванова крайне удивило, что Пушкин оказался выше его ростом, хотя Иванов и считал себя человеком достаточного роста и интересным мужчиной и собеседником. Он почти побежал за ним, пытаясь обогнать поэта и заглянуть в лицо.

После чего бы Иванову не пришлось бы пытаться зарабатывать на морковном соке, который он терпеть не мог и был даже уверен в его вредном влиянии на печень. И в конце концов он — пушкинист. Пушкин — его работа, профессия, долг, зарплата и ум!

Пушкин шел быстро, и профессор Иванов, немолодой уже ученый, редко ходивший пешком, никак не мог его догнать в научных целях.

Из последних сил Иванов закричал его имя, пытаясь окликнуть таким образом.

Пушкин остановился.

Пушкин стоял, обернувшись, и поджидал его со спокойной улыбкой.

Иванов наконец-то понял, что с Пушкиным у него нет ничего общего.

Он попытался сделать вид, что обознался, и извинившись, пройти мимо.

Лицо Пушкина было совершенно не похоже на то, каким его представлял Иванов всю свою жизнь.

— Вы от Бенкендорфа? — спросил Пушкин тихо и с покоем, присущим ясной совести.

— Я? Нет-с, — оробел пушкинист. — Я хотел предупредить вас, вы погибнете, вас убьют, будьте осторожны с царем: он подойдет к вам и гадалку и «белого человека» и сестру Натальи Николаевны, соблазнит и запугает ваших друзей, друзья ваши станут врагами вам, — сдавал своих и чужих Иванов

— Я знаю все...

— Бегите, бегите из России — это один капкан, лобное место для вас. Над вами будут смеяться многие, а посмеиваться почти все, — подводил он итоги работы всех пушкинистов.

Иванов упал на колени перед этим незнакомым человеком, которого знал всю свою жизнь. Он с нежностью касался его ноги головой и рыдал, как мать рядом с ребенком, которому не может помочь.

— Возьмите мои документы, бегите за границу, — рыдал Иванов, протягивая выданный Тягловым мандат агента 3-го управления жандармов.

— Морковный сок причина вдохновенья, Дарованного мне в Михайловской глуши... — так кажется, вы написали от моего имени?

Снег падал на потрясенную мостовую.

— Честь имею, — тихо произнес поэт.

— Простите меня, — надрывно кричал ученый, пропадая вместе со снегом.

Честь.

Это то, чем невозможно пользоваться. Честь дана для возможности защищать ее. Честь дается как выбор между жизнью и существованием.

Идеал чести — равенство.

Неужели же Пушкин пошел на смерть молодым, чтобы спустя почти двести лет попытаться поднять с колен до равенства старика, всю жизнь копошащегося в его биографии, не вылезая из домашнего халата, находя в данном занятии ученость и отягощая этой ложной величиной общество.

Пушкин. Это имя Бога, верящего в людей по образу и подобию своему.

Профессор Иванов очнулся, сидящим на лавочке рядом с интеллигентного вида старичком, чертившим что-то в пыли под ногами своей палочкой.

— Ну, — спросил он, явно ожидая вопросов.

— Так он?... — засомневался Иванов.

— Вот и петух не успел пропеть трижды, как кто-то опять трижды предал меня, — лишенным упрека голосом проговорил старичок.

— А Гаврилада? — робко уточнил Иванов.

— Да нельзя же быть святее Бога, совестно! Заставь дураков Богу молиться, они и лоб расшибут, — застонал всемогущий бессильно. — Да у меня все ангелы Гаврилиаду знают наизусть. Сказано же вам: «Гений и злодейство две вещи несовместные».

Иванов, что-то хотел сказать, но Бог говорил сам с собой:

— Я создал вас по образу и подобию своему, просто улыбнулся Бог. — Живите по чести и радуйтесь: всего-то десять заповедей. Пушкина читайте, когда сомневаетесь. Он — лучший из всех моих сыновей!

Его папка вдруг сломалась, наткнувшись на бутылку из-под пива.

— Всемогущий?

— Я тоскую по нему, застонал он, и слезы покатались по его доброму лицу, покрытому нашими морщинами.

Бог исчез.

Иванов вдруг подумал, что десять заповедей он перечислить не мог.

Пушкинист, придя в Институт Мировой литературы имени Зиновия Сладкого, взявшего псевдоним в честь собственной сладкой жизни и процветания на ниве жатвы, заорал первой попавшейся секретарше, красящей губы в опять морковный цвет:

— Сволочи, Пушкина убили.

Секретарша усмехнулась, показывая этим свою несомненную осведомленность и мышью юркнула в кабинет шефа.

Через десять минут шеф, усадив пушкиниста, временно конечно, в свое кресло, вел с ним задушевные беседы.

— Так! Кто, вы думаете, убил? Говорите, кто? Кто все-таки убил, почему, когда именно созрел план.

Под столом лежал еще катушечный магнитофон, который шеф включил тайком от профессора. Магнитофон работал, со скрипом ворочая катушки.

Профессор не боялся уже ничего, и даже швырнул ему в лицо две анонимки Пиковой дамы.

«Он опять сочиняет стихи», — говорилось в одной. «Опять смеялся», — говорилось в другой.

Вокруг, на улицах, пыхтя зловонием, гнали старенькие импортные автомобили, родные братья сои, обдавая грязью прохожих.

В пенатах никто уже не делал ничего своего, так что критика тоже доставалась всему импортному.

Икра подросла и ходила по тротуару, посматривая по сторонам прозрачными глазами.

Два адвоката-шарлатана, тоже из подопытных, оказавшись на даче за границей у своего зятя, озябнув, разожгли камин «Замком» Франца Кафки, попытавшись прежде почитать книжку, они решили, что дочь их, красавица, завалившая все те два конкурса красоты, в которые родители пристроили ее с таким трудом и по страшному благу, вышла замуж неудачно.

Камин щедро горел, подбодренный таким топливом, а они сидели, тесно обнявшись, и грелись, от огня, на который они давно уже поменяли свои души.

Он ущипнул ее за худую, как кость, задницу, к ним подошел их сын, подросток, с лицом уже павшего ангела, и сев рядом, тяжело погладил мать по спине.

Мать засмеялась, опрокинув голову, и показывая потолку свои кривые, лезущие друг на друга, как бревна при сплаве по бурлящей реке, зубы, через которые было видно и горло и маленький и большой языки, при помощи которых она так успешно врал.

Ложь легла на плечи семейства, их рты набухли словами, но поблизости не было никого, кто мог их услышать. И тогда они стали врать друг другу.

4 (46) '2009



Иллюстрация Сергея Волохова, Бельгия



## ВИТАЛИЙ АМУРСКИЙ

*/ Париж /*

### Из книги «Земными путями»<sup>1</sup>

\* \* \*

У прошлого твои глаза и голос,  
Чуть хрипловатый как от табака,  
Под утро, где осыпанных иголок  
Не подмели за ёлкою пока.

Они ещё останутся с неделю,  
Или, по меньшей мере, до тех пор,  
Пока в квартире чистку не затеют,  
С коврами, что выносятся во двор.

Позднее дом и сам пойдёт на чистку,  
И, как на ипподроме, на пари,  
Бегущих дней размазанные числа  
Жокеями нырнут в календари.

Как тот мальчишка, что глядит с откоса  
На солнца уходящего костёр,  
Сквозь толщу лет простых и высокосных  
Я разгляжу вдали, что дым не стёр.

Обрывки фраз, свернувшиеся в тени,  
Тех, кто оставить мог бы свет и след,  
Когда б для сочинений были темы:  
«Зима в Москве», «Тоска в 17 лет».

<sup>1</sup> Книга готовится к изданию в издательстве «Алетейя» (СПб).

Прищурь глаза, и ты, в трамвайной тряске,  
В пролётах законных галерей,  
Узнаешь, может быть, холсты без краски,  
Распятые на рамах январей.

Мы были в те года подобны гайне,  
Прочитан Вертер был, но кто бы знал!  
Что ближе и понятней Младший Плиний  
Мне станет сквозь подстрочник рельс и шпал.

\* \* \*

Я не люблю модерн в злаченных рамах,  
Писак, привыкших сладко жить и врать,  
Вождей циничных в обновленных храмах,  
Церковников актерствующих рать.

Я не люблю избытка слов и лоска,  
России новоявленную спесь,  
И ближе, чем берёзка мне — полоска  
На горле у Есенина. Вот здесь.

\* \* \*

Нелюбовь к Цветаевой,  
Слухи накопившие  
Тех, кого цвета её  
И слова не тешили.

Завистью колючею —  
Красным, вроде брани,  
Лишь рябин горючую  
Алость в счёт не брали.

В белом — дальше кителя  
Царского не ведали,  
Мертвых пастбищ Китежа  
Не считали бедами.

Не тоски течения,  
Не мечты о витязях —  
В золоте свечей её  
Лишь альковы видели.

Но назло всей серости  
Не погаснуть радуге  
Над парижской Сеною,  
Камою в Елабуге.



## Бронзовая память

Как просто было б жить без красных дат  
 Под голубыми небесами,  
 И только в парке бронзовый солдат  
 Напоминал бы, как мы мир спасали.  
 Как от фашисткой чистили чумы  
 Европу, храбро погибая,  
 Как вздрагивали русые чубы  
 У пляшущих близ Вислы и Дуная.

Тот подвиг со счетов не снять —  
 Свят меч был, вынутый из ножен.  
 Но нынче календарь листая вспять,  
 Признаемся, что миф изношен  
 О нас — освободителях, о нас  
 Таких красивых и таких достойных,  
 С улыбками и блеском добрых глаз,  
 Прекрасными и в дружбах, и в застольях.

Ведь, жизни ради, разгоняя мрак  
 На поле ратном,  
 Не мы ли открывали дверь в ГУЛАГ  
 Народам-братьям?  
 Свободы именем, земляк, скажи, не мы ль  
 С кремлевским бонзой,  
 Не ведая грехов, творили быль,  
 Что стыдно бронзе...

\* \* \*

Россия, земля моя, Боже,  
 Где нет ни двора, ни кола...  
 Что Тютчев? Морозец по коже,  
 А совесть — Глазков Николай.

Возникшие в споре каком-то  
 Случайные вспышки имён,  
 Незримая память-наколка  
 За Брестом почивших времён.

\* \* \*

Свет дальних лет подобен мёду в сотах,  
 Подъездным фонарям в полсотни ватт.  
 Растаявший в неведомых высотах,  
 Где нынче он? Где руки мыл Пилат.

В прогоне лет, на призрачном пределе,  
Где равнозначны силой жар и лёд, —  
В глуши души, московской Иудее,  
Меж красных гефсиманских звёзд её.

Как археолог память разгребая,  
Я нахожу вопрос, как нож тупой:  
В колоннах, скажем, давних Первомая,  
Народом были мы или толпой?

Те, что трудились, спорили, любили,  
Хмелели, дав усталости отбой,  
Безвестные, известные — любые,  
Народом или — серую толпой?

Те, что в привычной города толкучке  
Спешили по делам и в Лужники,  
Свиданья назначали, до полочки  
Друг другу становились должники.

Те, что искали правду в самиздате,  
Ругали климат, глупость и бардак —  
Порою кстати, а подчас некстати,  
Скорее по-привычке, просто так.

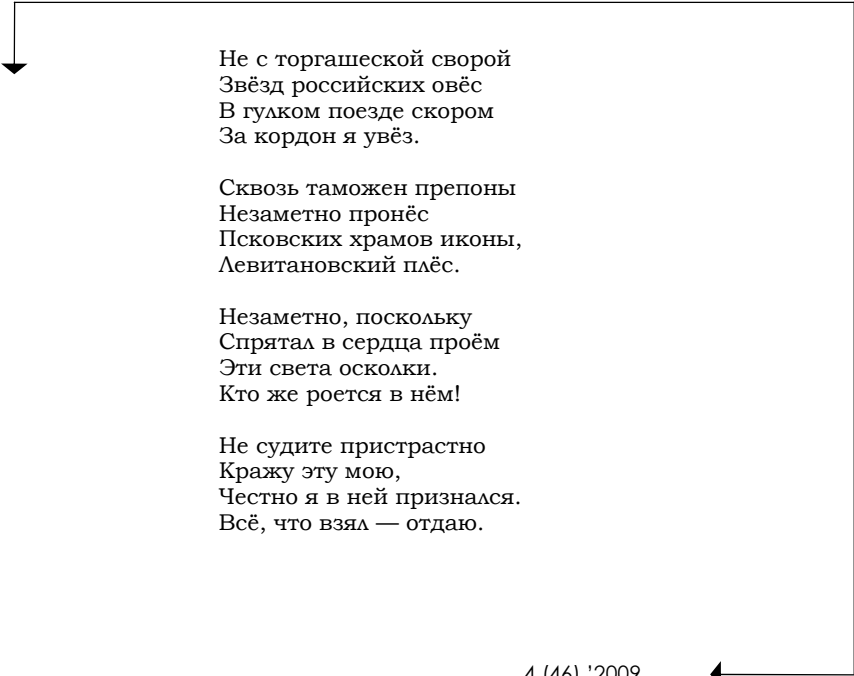
Власть не любила тех, что непокорны,  
Карая смуту, всякий вольный сбой...  
Народ, толпа... Но если ближе к корню:  
Кем сам ты был, и была ли сам собой?

## Признание в краже

Обозначился вечер  
Тенью дома косой,  
Птичьим пеньем беспечен,  
Серебристой росой

И клочками тумана  
Возле лодочных свай.  
Много ль надо ума нам,  
Чтоб своим это звать!

Лишь без чувства, пожалуй,  
Не дано — *c'est la vie*,  
И закатов пожары  
Жгут нас только в любви.



Не с торгашеской сворой  
Звёзд российских овёс  
В гулком поезде скором  
За кордон я увёз.

Сквозь таможен препоны  
Незаметно пронёс  
Псковских храмов иконы,  
Левитановский плёс.

Незаметно, поскольку  
Спрятал в сердца проём  
Эти света осколки.  
Кто же роется в нём!

Не судите пристрастно  
Кражу эту мою,  
Честно я в ней признался.  
Всё, что взял — отдаю.

## Наталья СЛЮСАРЕВА

*/ Москва /*



### Прогулки короля Гало

#### ГЛАВА I. НЕТРАДИЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ

У Короля Гало был свой конь, не считая Феррари в гараже. Ничего необычного. Редко кто из королей, о большинстве которых мы знаем из истории, обходился без экипажа и лошадей, не говоря уже об одном коне или одном Феррари красного цвета. Однако королевский конь для прогулок был не такой как все. По секрету сказать, не он один. Всё галонское королевство считалось у соседей немного с причудой.

Королевство небольшое. С ближайшего холма оно доверчиво распахивалось на все четыре стороны. С запада владения Гало граничили с морем, куда на закат любили слетаться стаи розовых фламинго. На юге красовалась роща, с осени любившая пошалить: намести на главной площади не без помощи ветра золотые пирамиды ломких, пергаментных листьев. На восток в сторону тёмного ельника убегала река, по течению которой сплавался в лодке всегда один и тот же паломник. Там, где стрелка компаса указывала на север, королевство упиралось в чугунную ванну; в неё при первых заморозках перебиралась русалка из местного пруда погреться. Пристроив кипяtilьник в воду, штепсель — в розетку, вмонтированную в соседний дуб, русалка жгла электричество без зренья совести. А платил за свет, между прочим, Король. Да, да, Гало было стыдно каждый раз заводить разговор о расходе киловатт не то, что за час, за гораздо меньший срок. Он платил. Он был Королём, который терпел.

Так вот, конь, вернее, масть королевского коня. В час появления на свет жеребёнок удивил всех цветом — синим, как синька. Один хвост, спускавшийся до самой земли, оставался пшеничного цвета. При каждом взмахе с него щедро осыпалась мишура — фольга, фишки, мандариновые корки, в зависимости от того, что он съедал на завтрак, а что подбирал во

время прогулок. Его передняя правая конечность была львиной лапой, а задняя левая — велосипедным колесом с полупущенной шиной.

Коня звали не «Гуляй поле!», «Храбрый скунс» или даже «Волчья сыть, травяной мешок», а обыкновенным именем Антон. И характер у него был простой, как и его имя. Правда, с течением лет это средство передвижения стало все чаще уходить в себя, подражая хозяину в меланхолии. Посреди дороги он неожиданно мог застыть, как вкопанный, углубившись в свои мысли, как в мешок с овсом.

— Рассеянный склероз, — отмечал тогда старший камердинер короля Лебедь Луи. — Клетки мозга не снабжаются кислородом в должном объёме. — Покачиваясь, втолковывал Лу общепризнанную теорию в затылок хозяина.

Лебедь сопровождал Его Величество на всех прогулках. В его обязанности входило охранять тыл, но то ли от старости, по своей рассеянности, или из-за того, что у него перед глазами весь день мелькали фишки, отвлекающие внимание, пернатый давно перестал заботиться о тыле. За спиной патрона он либо листал справочники — так как получать знания таким способом был обучен с детства — либо переминался на озябших лапах, пытаясь размять онемевшие мышцы.

— Остеохондроз, будь он не ладен, — кряхтел уткой пожилой камердинер.

Король радовался прогулкам. Пожалуй, одни они составляли смысл его существования, не самого радужного. Пятнадцатый отпрыск старинной династии могущественных королей, принц Гало рано осиротел. Он не помнил не только своих родителей, но и своего лица. Лицо — то, что дано и принадлежит каждому человеку от рождения, независимо от происхождения или профессии, обошло своим вниманием Короля. Любой ткач, рыбак, хормейстер, даже премьер-министр мог похвастать своим собственным, не похожим на других лицом. А тот, кто по праву рождения стоял выше всех на иерархической лестнице, не имел его. Не грустно ли это? Не странно?

Когда Гало был совсем маленьким мальчиком, лицо было при нём. Так, его хорошо помнила старая нянька, но с возрастом оно начало бледнеть, истончаться, местами пропадать, пока в один прекрасный в кавычках день не исчезло совсем. Принц вынужден был высоко поднимать воротник своего долгополого пальто, низко надвигая на несуществующие брови шляпу с широкими полями, с которой никогда не расставался. Но совсем обмануть придворных не удавалось. Нередко, когда по утрам, не снимая пальто, он проходил в Зал Приёмов, шлейфом за спиной улавливал укоряющий шёпот: «Оно вошло... Оно прошло... Оно снизошло... Больно слышать такие речи для ушей, хотя бы и невидимых. Приблизённых тоже можно понять. Монарх лишал их возможности обратиться к нему с привычным набором фраз: «Его Величество изменился в лице», «Враги не посмели смеяться в лицо Его Светлости», «На по-

следнем турнире крепьш Гало не ударил в грязь лицом». Единственное, что они могли себе позволить, покидая, пятась, зал, сочувственно промямлить: «Бедняжка, сегодня на нём лица нет» и, оглянувшись в дверях, со вздохом добавить, «впрочем, как и вчера».

Что это была за болезнь, врождённый ли порок или заграничная инфекция и где он ею заразился, Гало не знал. Местные светила всех «тра-» и не «традиционных» медиков, включая приглашённых знаменитостей, только разводили в стороны руками. Никому не удавалось поставить не только точный, но хотя бы приблизительный диагноз. Верный слуга, искренне преданный семье, настаивал на том, что в происшедшем виновата одна только матушка королева, рано отнявшая от груди младенца.

— Вот иммунитет и ослаб, — приговаривал он, смахивая крылом пыль со старинного канделябра.

Во избежание повышенного внимания со стороны сограждан, государь пристрастился к поздним прогулкам — в часы, когда яркие лучи солнца вместе с зеваками, не так откровенно могли паяльаться на несуществующую личность. Иногда, в минуты особого волнения, лицо возникало, но такое тонкое, такое прозрачное, как облачко. Дрожь и мерцающая, оно тотчас исчезало, не продержавшись и минуты на поверхности. Очень жаль, потому что лицо Короля было по-настоящему красивым.

Теперь самое время спросить, каким образом Его Величество не спотыкался во время прогулок? Дело в том, что отдельные части внешности, её наиболее важные составляющие оставались при своём господине. Где прятался голос, казалось трудно определить, он шёл откуда-то изнутри, как и у большинства. Нос был нигде и везде — ароматы и запахи обычно атаковали Гало со всех сторон. А что касается глаз, то они выбрали для себя довольно удачное место обитания — за обшлагом правого рукава пальто, откуда спокойно взирали на всё происходящее.

Отслеживая во время прогулок, что и где в королевстве следует подправить, научно выражаясь откорректировать, эта зоркая парочка отдавала вполне толковые распоряжения через головной компьютер, который в окружающем пространстве также находился неизвестно где. Голос закреплял приказы Его Величества, и, надо признать, что отмеченные печатью разумности и снисходительности, все указы Гало Пятнадцатого были направлены на благоденствие жителей его небольшой, но уютной страны.

## ГЛАВА П. УВЛЕЧЕНИЯ КОРОЛЯ

Помимо основных государственных обязанностей, часто докучавших и частенько докучивших, наследнику трона полагался досуг. В свободные часы ему нравилось читать, однако процесс чтения не занимал его целиком. Отправив книгу в правый карман пальто, юноша часто позволял себе думать о чём-то своём. В то время как, удобно устроившись за обшлагом рукава, парочка се-

рых с рыжей крапичкой глаз галопировала по страницам модного триллера, Король оставался открытым для самых разнообразных ощущений.

Распушенными парусами носилась над ним летучая фантазия, стремительными водоворотами закручивалось воображение. В такие минуты Гало чувствовал, что абсолютно счастлив и почти свободен. Почти, потому что существовало единственное, отчего он так и не научился быть свободным, и это единственное читалось и произносилось просто — Любовь.

Короли и Любовь. Естественный альянс. Весь мир знает, что короли обычно заняты любовью — к охоте, паштетам, опере. Но в отличие от других царствующих особ, уделявших сердечным переживаниям определённый промежуток времени, Гало Пятнадцатый страдал постоянно.

Состояние влюбленности зависело от многих причин — от перемен погоды, времени суток, даже от направления ветра. Государь был крайне чувствителен. Так, знойным топлёным летом при влажном западном ветре он страдал из-за Розы. Вы не представляете себе, что это был за цветок. Сколько у него имелось одних только лепестков. Их никто никогда не мог толком сосчитать. Что они скрывали? Здесь есть над чем задуматься. Что может скрывать честная Роза по имени Лабэль? Несмотря на то, что она всегда алела, у нее никогда не поднималась температура. Восхитительные глянцево-зеленые листья оставались прохладными. К сожалению, красавица не отличалась легким нравом. Роза сылаа капризулей и кривлякой. Не добрав балла на региональном конкурсе — для статуса модели ей не хватило двух дюймов роста — крошка Лабэль сделалась мнительной.

— Вот-вот, вы не любите меня... — любила повторять она, приподнимаясь на носочках и вытягивая вверх свою тонкую шейку, украшенную колючим ожерельем. Отгораживаясь от короля высоким бастионом надменных воротничков, она при этом так сильно прыскала во все стороны духами, что камердинер, стоявший за спиной своего господина, принимался отчаянно чихать.

«Я никогда не видел её глаз, — отмечал про себя слегка опечаленный кавалер. — Это интересно. Я могу кому угодно объявить: вы прекрасны, как Роза, но признаться Розе, что она хороша... как кто — колокольчик или василёк? Нет, это решительно невозможно».

Абсолютное совершенство пугало. Король комплексовал. Если уж совсем начистоту, его страшила тесный лабиринт узких ходов, открывающихся в тёмной глубине всегда по-разному отстраняющихся друг от друга лепестков.

— Я увлекусь, — проговаривал про себя ситуацию Гало. — Я себя знаю, зайду слишком далеко. Я непременно потеряюсь. Со временем лепестки неизбежно сомкнутся у меня над головой, и я останусь в плену у цветка. Я потеряю Свободу, единственное, что у меня ещё осталось, несмотря на то, что и эту даму я никогда не видел, как и собственного лица. Но без Свободы я точно умру.

— Нет, Вы определённо дожидаетесь, — не отступала Лабэль, вся пунцовая от негодования. Нерешительность дыхателя казалась ей возмутительной.

— Кончится тем, что я возьму в долг у Большого Махаона пару его красивых сильных крыльев. У него, как известно, самая престижная коллекция, и... улечу. А вот вы... вы... — в капле росы негодуяще сверкнула её самый острый шип, — останетесь здесь совсем один.

Что ж, без вспомогательных средств ей действительно трудно было оторваться от насиженного места. На одном, пусть только и крепком стебле, далеко не ускачеешь и не уплывёшь. Компенсировав недостаток движения, в минуты особого волнения Лабэль взяла за правило передёргивать лепестками, наподобие того, как полуденные уроженки Севильи трясут своими широкими подолами юбок, расписными шальями и кружевными веерами.

Соскальзывая, шали-лепестки никогда, впрочем, не обнажали ее белоснежного, а возможно — смуглого плечика.

— Но, моя дорогая, — робко выглядывая из-за рукава, отзвываясь одновременно отовсюду ценитель очевидной красоты. — Чем я смогу доказать вам своё расположение?

— Вы должны, наконец, определиться, — Лабэль томно отклоняла назад свою с утра завитую головку.

— Ваша всеобщая прозрачность мне не понятна. Разве вы видите вокруг что-либо прекраснее меня? Вам следует проявить настойчивость, иначе вы меня больше никогда не увидите. Никогда! Слышите ли вы это, долговязый чужак?

И первые капли одна за другой начинали проступать на её румяных щёчках. Стоило Его Величеству своим пространным, истинно королевским платком осушить первые крохотные слезинки, как неизвестно откуда возникали новые. Роза рыдала. Лебедь, приподнявшись на цыпочках, открывал старый чёрный зонт и держал его над шляпой Короля, пока дождь не переставал. Иногда частые слёзы безошибочно указывали на то, что наступил черёд осени. Тетушка Осень пронеслась на канате, высоко натянутом поверх деревьев, сметая вниз золотой сор.

Чувство к прекрасному цветку долго оставалось одним из самых ярких впечатлений в жизни молодого человека. С другой стороны, любовь к Лабэль не мешала Королю частым листопадом бегать за вёртками легкомысленными листьями. Он не был идеальным мужчиной. Возможно, он полагал, что без лица останется неузнанным и потому неуязвимым для сплетен соседей. Кто знает? Но эти листья! Их постоянное кружение, глупые перемигивания, невнятные перешёптывания утомляли его. Стоило ему протянуть к ним руку, как они моментально бросались врассыпную. С их стороны шла нечестная игра.

Да, он был легкомысленным наш Король, но, по правде говоря, у него оставалось так мало радостей в этой жизни — одна никому не нужная Свобода.



Внимание Короля отвлекала на себя и Русалка, девушка с гладким белым телом и двумя хвостами: верхним — из осветленных волос и нижним — чешуйчатым. Русалка Люба редко оставалась одна. Рядом обычно хозяйствовал кентавр Филя, бывший десантник из ближней рощи.

— Моя биография не простая, — налаживал разговор сержант, заходя с одного из краёв ванны и ковыряя задним копытом от волнения под собой глубокую яму.

— У меня вся душа в шрамах. Камуфляж поседел. Часть ша — моторизированная. Броски по пересечённой местности. Полигоны.

Днем соседи осваивались каждый на своей территории, объединяясь к ужину на тему пайка, распаяясь к ночи по части не поделённой амуниции, отчасти растревоженных чувств.

— Тебе не кентавром быть, а сторожевым псом. Весь твой разговор — то брехать, то лаяться.

— Ты мою психику своим хвостом не трожь! Я такое видел! Тебе ни на каком «дайвинге» не привидится. На вон, табельное оружие лучше наточи.

Нервно почёсывая переносицу, Филипп протягивал русалке нож. И правда, у Любы конец хвоста благодаря специальной закалке, отличался особо качественной заточкой.

— Точи, Точи! Я такого наглядился. Роту терял, и меня роняли. Раз в засаде целый месяц просидел. Все папоротники вокруг объел...

— Против кого ж ты в кустах хоронился? — наточив лезвие, и внимательно разглядывая себя в увеличительное зеркальце, любопытствовала несмышлёная Люба.

— Как будто в нашем королевстве ничего такого конкретного не наблюдается. Никаких противоправных действий.

— А ты за бугром была? О горячих точках слыхала?

— Это что, гейзеры, что ли?

— География. Ты меня не цепляй. У меня на тебя аллергия. Я на суку трое суток провисел, парашютом зацепил. Я контуженый. Я психованный. Ты меня, кудрявая, не заводи...

И потянувшись татуированным бицепсом к семиструнной, сосед заводил хриплым низким голосом: «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...»

— Ну ладно, чего там, я ж тебя жалею. Хочешь, борща наварю? Шас кипятыльник из ванны в кастрюлю переведу, и наладим вегетарианский на крапиве с водорослями-ламинариями, как раз для вас, кентавров — десантников. А заодно и тельняшку твою отстираю, вся в мазуте. Из нашего, чай пруда?

— Чего?

— Бензин, говорю, местный или как? Ох. Горе ты моё. Скидывай тельняшку-то, психованный ты мой.

— Да я... неделю на дубе грушей зрел, ротного на себе вынес, — оттягивая на груди полосатую ткань, уже миролюбиво гудел сержант.

Ближе к полуночи Короля будили крики. Русалка на ножах сражалась с кентавром.

— Ты что? Ты что это? Копыто-то убери.

— Ты меня своей чешуёй не вспарывай, я тебе — не консерва. Совсем ополоумела!?

— Шас в милицию отзвоню.

— Давай, кудлатая! Звони! Ноль, девять, семнадцать, одиннадцать. Пусть они тебя на диету посадят. Хвост отъела, в чутуг уж не вмещаешься.

— Ах ты, паразит! Я с тобой за всё поквитаюсь. Кто молодость мою загубил, мерин плешистый?

— Уймись, а то хуже будет.

Да уж, подобные речи определённо были не для королевских ушей. Король стоял на балконе. В груди Гало стучало так громко, что верный Конь, карауливший внизу, нервно прядая ушами, прислушивался, откуда мог доноситься такой громкий стук.

Но что могло тянуть Короля к этой простой, самой обыкновенной женщине, уму не постижимо.

Ночью с освещённых луной тропинок прыскали совы. Они мышковали. Самая крупная из них, с высокой посадкой головы, смущала Гало пристальными взглядами.

### ГЛАВА III. ОТ КУТЮР

Кентавр Филя не раз заглядывался на Феррари. Ох, как же тот ему нравился. Однажды десантник не выдержал атаки покатых алых форм, взял машину без спроса и гонял на ней вокруг ванны, доведя мотор и в первую очередь себя до жуткого рычания от восторга. Феррари, которого все знали как Одинокого Феррари или, проще говоря, Одинокого Феррари с красным шарфом на шее, в тот вечер и не думал сопротивляться. В душе он сам был неравнодушен к Русалке. На закате белопенная Люба строила парням особо глубоко подводные гримаски, хитро разбрасывая вокруг ванны свои озёрные улыбочки. Но уже на следующий вечер, когда бывший мобилизованный в десантные войска сержант, будучи навеселе, резко дёрнул на себя ручку полированной дверцы, Феррари наотрез отказался заводиться. Что они там, в самом деле? У него в салоне — кожаные кресла под дамасский шелк, коробка передач — от Гауди. Ещё с прошлой прогулки в салоне слегка пахло мазутом.

«Нет, это — люди не моего круга».

Как никто, Феррари ценил аристократизм. Его манеры, стиль жизни — всё было самого изысканного порядка. Свою одежду, выписанную по глянцевому каталогу, он получал от самого Кутюр. Феррари, правда, никогда не видел его живьём, но все его рубашки, галстуки носили имена таких же великих снобов, каким был он сам.

Напрасно на его виртуальном экране несколько раз возникала в закипающей пене Любаша. Подмахивая хвостом, она как бы приглашала подсесть поближе на край ванны.

Намотав шарф на колесо, стоик решительно наступил на горло мечте. Отказавшись от вечерней прогулки, уткнувшись фарами в стену, на всю ночь он остался в гараже. Красный и сердитый, он не пожелал ни с кем разговаривать. «Мое заднее сидение — только для королевского пальто».

Немного успокоившись только к полуночи, как бы уговаривая сам себя, Феррари потянулся к лакированной панели, включил запись предпочитаемого им Вивальди, «Времена года», под управлением знаменитого дирижёра и глубоко ушёл в свой шарф, подписанный пра-пра-правнуком Вивальди.

Да, одиноко торчащему аристократу не так легко вписаться в линейные горизонты простых жизней...

Когда, накинув пиджак на плечи, удалялся, насвистывая, уставший, но довольный собой День, ему на смену на одну из платформ уже прибывала Ночь. Обычно она выставлялась на вернисаже до рассвета. Ночь знала себе цену и не спешила. Её черные струящиеся локоны украшали бесчисленные ожерелья из жемчуга, вспыхивающие то алыми, то золотыми, то бриллиантовыми огнями. Но само лицо было исполнено тьмы. Видимо, оттого Король Гало особенно любил Ночь. Он называл её сестрой. Когда они смотрели друг на друга, никто из них не видел лица другого.

С террасы своего дворца на одном из красивейших островов зеленоглазого моря она провожала взглядом огоньки удалявшихся пароходов. На увитой виноградной лозой террасе стояла ванна, но не чугунная, а мраморная, и такая узкая, что при всём желании, и это было очевидно для всех, в ней могли поместиться одни только лепестки роз.

Вслед за Королем Ночь также предпочитала прогулки после заката. Нередко Её чернильное Великолепие, приказав запрячь своих иссиня-черных лебедей, отправлялась посетить любимые места. Она начинала с города, в котором на тесных тротуарах и старинных площадях, забавляя только себя, плескалось вечно юное море. Осторожно, чтобы не напугать стрекоз, навещала сад, где среди тёмных раскидистых деревьев, на залитых лунным водопадом ветвях кричали, молились и плакали о любви соловьи. Навещала монастыри, одиноко светящиеся высоко в горах, сменяла на карауле поэтов, никогда не забывая заглянуть в окошко к маленьким детям.

Ночью Король Гало, накинув на плечи горностаевую мантию, чтобы не сильно мёрзнуть, отправлялся играть в гольф. Гольф — игра королей, это известно всем. Его постоянным партнёром был старый манекен, зрителем — Ночь. Поляна не отапливалась. Всё-таки он зяб.

— А каково теперь паломнику одному в открытой лодке? — думал он, разбрасывая по поляне белые мячики. — Надо всегда сопоставлять. Это утешает. На свете всегда есть тот, кому ещё холоднее, чем тебе...

Пока, смирившись с отсутствием многого, монарх за стогом сена играл в гольф, его слуги пытались допытаться до истины. Они принимали самое горячее участие в судьбе своего патрона.

— В наше время «такого» быть не могло, — возмущённо пофыркивал синий жеребец, сам не форматный. — У самого последнего конюха была своя физиономия, да ещё какая ядреная: нос картошкой, щёки брюквой, брови кустами.

— Нет, что ни говори, это — экология, — подхватил тему Лебедь.

Заложив крылья за спину, он принялся важно прохаживаться по поляне.

— Экология первая страдает, а за ней человек — прародитель, так сказать, всех отходов. Тебе известно, к примеру, что по сообщению «Associated Press» часть кораллов в Карибском море — этот цветник тюльпанов, так радовавший весь подводный мир своими красками, — уже обесцветилась. Кораллы — самые чувствительные экологические индикаторы, а обесцвечивание их связано с исчезновением цветных водорослей, вступающих с кораллами в симбиоз на поверхности рифов. Вот что мы имеем внизу, а, как известно, «что внизу, то и наверху».

Плавно перейдя из обычной «двойки» в позицию единицы, шея Луи запрокинулась в небо.

— Озоновый слой истончился? Истончился. Небо — всё в дырах. Сия картина на человека и проецируется. Наш утончённый хозяин, видимо, из тех же редких видов, что и вымирающие водоросли. По его внешнему виду сейчас уже можно определить, что нам предстоит в недалёком будущем.

— О чем это ты? Мы что, обесцветимся? — закосил глазом от изумления на друга обладатель львиной лапы и спущенной шины.

— Полинйем — это ещё цветочки. А вот то, что скоро все будем ходить фрагментами, запчастями то есть, — это определённо.

В сердцах камердинер подпрыгнул и на минуту завис в воздухе.

— Это ещё как?

— А так и пойдём в обнимку. От тебя — полинявшая грива, а от меня — хвостовое оперение на облезших перепонках. Три пазла на всех.

— Жуть какая! — очумело заржал скакун.

— Так-то парень, — завершил рассуждение эрудит. — С экологией не шутят. К Габинчи давно пора обратиться. Он меня однажды уже лечил от перелома ключицы. Лучший специалист по крапивнице и всему остальному прочему...

#### ГЛАВА IV. «BERMUDA TRIANGLE»

Великий экстра-чувственный маг, знаток низких и высоких истин, проводник явных и тайных знаний, мэтр Габинчи появившись в королевстве не так давно и необычным способом. Из его сбивчивых рассказов следовало, что он служил боцманом на паруснике «Сити Белл», когда в 1946 году судно внезапно исчезло со всех радаров в районе «Bermuda Triangle», о чем есть соответствующая запись в «Регистре Ллойда». Судно исчезло с поверхности так быстро, будто его затянуло под воду огромное морское чудовище. Боцмана обнаружили поблизости от грота прошлой осенью. Он ровным счётом ничего не помнил о том, где дрейфовал более полувека, но сразу начал демонстрировать исключительные способности.

В сухую погоду профессор издавал треск и мог развести огонь, поднося кончики пальцев к собранному хворосту. Он ясно видел, как будущее, так и прошедшее своих пациентов, читал мысли лопухов и репейника, а главное — для всякого рода болезней имел подходящие диагнозы. Первым, кого моряк излечил от шума в ушах наложением рук, был зелёный ящер Чарут, ставший впоследствии ассистентом у Габинчи и по совместительству его мажордомом.

Очистив самую просторную пещеру грота от многочисленного семейства летучих мышей, коллеги открыли в ней Центр Нетрадиционной медицины. Пещера получила название Золотой, частично благодаря лучам заходящего солнца, частично благодаря той цене, за которую предлагалось вернуть утраченное здоровье. Лечили в основном пиявками, сном, глиной. Для жилья разобрали старую мельницу и сложили из неё две пирамиды, побольше — для Габинчи, поменьше — для ассистента, строго ориентированные по сторонам света — на чугунную ванну, розовый закат и высокую стену хмурого ельника.

Большую часть недели Габинчи проводил в медитациях крепким корявым дубом, из которого, кстати, ловкая Русалка, не спросясь, тянула даровую энергию. По воскресным дням, стряхнув с плеч желуди, бывший моряк отправлялся в Центр, замеряя по пути медной рамкой ауру попадавшихся ему на глаза кустиков. Доверчивая флора охотно подставляла под нехитрый прибор свои трепещущие на ветерке листики. Чувствуя персональную ответственность за общее настроение леса, профессор комментировал каждое охотное вращение рамки своим любимым словом — «аномально» и вдобавок чихал. У него была хроническая аллергия на цветение определённых видов растений, ещё не выявленных.

Целитель не мог жить без семинаров и их участников, вернее участниц, так как большая часть состояла из домохозяек окрестных поселений. Почему-то, именно «прекрасная половина» являлась основной массой, поглощающей духовную пищу на лекциях: «Я — жизнерадостная стерва», «Меня не загнать в

угол», «Бегом по жизни в разные стороны». Редко какой дровосек заглядывал на огонёк, несмотря на то, что приглашениями оздоровиться был оклеен весь лес. Мужчин ждали дела. Разочарования не обходили их стороной, но они не любили прислушиваться к чужим мыслям. У них были свои. Зато записавшиеся заранее на тренировки последовательницы здорового образа жизни ровно в полдень притормаживали на своих велосипедах у Золотой пещеры. Перед истинной аудиторией бывший моряк с энтузиазмом демонстрировал свой удивительный талант и высокий потенциал. Первые пятнадцать минут уделялись теории. Учитель не скрывал, что в основе всего — сила и движение. Форма и облик вещей могут меняться, переходя одно в другое, но великие волны энергий — постоянны.

На сцене под влиянием энергичных пассив маэстро бесчувственные ранее овощи и равнодушные фрукты оживали, поражая всех неожиданными выходками. Нежная плоть авокадо открыто демонстрировала твердость своей сердцевины. Неуклюже перекачиваясь, загорелые веснушчатые груши и бугристо-пористые лимоны гонялись друг за другом по гладкой поверхности стола. Стройный фиолетовый баклажан, хихикая, намеревался всех пройткнуть. Дерзкий гранат неожиданно начинал плевать, разбрасывая зёрнышки, аж до четвертого ряда.

Приглашённые участвовать в великолепных превращениях и «мираклях», оттесняя друг друга, нетерпеливые зрительницы живо пробирались к сцене, но тут же замирали под пристальным взглядом маэстро. Подобно бурлящей жидкости, перетекающей из одного сосуда в другой, их радостное возбуждение моментально перетекало в летаргическое бесчувствие. Гибкие руки домохозяйек прочно сплетались с молодыми лианами, и они безжизненно повисали до конца сеанса на ветвях кулис.

Но уже с финальным звонком, стряхнув с себя одурманивающее забытье, участницы семинаров обретали тотальное здоровье и заряд бодрости на всю неделю. Искрящиеся пучки живой энергии, отлетающие от их юбок, позволяли им всю дорогу не зажигать боковых огней. Яростно крутя педалями, сопровождаемые в перерыве между чиханием довольным резюме учителя — «аномально», мятущиеся светлячки в мгновение ока исчезали с тропинок до следующего слёта.

## ГЛАВА V. ПАРК МОНСО

Парк Монсо по праву считался любимым местом королевских прогулок. Весной в парке не очень долгий срок играли с дождями упругие кисти сиреней, не торопясь зацветали изысканные ирисы.

Главная теннисная аллея с заслуженными взрослыми деревьями вела к пруду, в центре которого нежился островок, подставляя порывам ветра свою зелёную причёску. По глади пруда головками вперёд чинно плавали жёлтые императорские утки. Когда в поиск

ках завтрака головки ныряли под воду, поплавками наружу оставались торчать их вторые половинки. Глубоко осев в песок, вытянутыми на берег баркасами дремали голуби.

Сегодня в Монсо давали бал по случаю юбилея старого вяза. Никто не знал, когда вяз впервые проклюнулся на свет. Но по его воспоминаниям, уходившим в самые корни, было решено, что «дед» простоял в парке не менее пятисот лет. Вяз прекрасно помнил Гало Первого — видного мужчину с крепким торсом и широким лицом.

После здравицы в честь должителя гости обернулись к оркестру. Традиционный по составу, молодежный инструментальный оркестр удобно разместился под раскидистой кроной вяза. Сирень ликовала на скрипках, тростнику доверили флейту, ветви ивы порхали над арфой, дикая груша с чувством обнимала контрабас. На дирижёрском месте возвышался стройный тополь в серебристом фраке. По сигналу стрижа дирижёр вдохновенно ткнул острой палочкой в самую середину неба и начал лихорадочно записывать приказы на проплывающих мимо белых облаках. «Развернуть Полки!», «Занять зеленый склон!», «Окружить роццу!», «Гвардия, в атаку, марш!».

Выполнять приказы с каждой скрипочки частым дождём незамедлительно посыпалась отборная персидская пехота. Выстраиваясь чёткими прямоугольными каре, сирень парадным шагом устремлялась в самую середину битвы.

— Какой шаг! Выправка! Ритм?! — Вытянув шею, камердинер воодушевленно призывал всех разделить с ним его восторг.

— Персидская! Элитные войска! Тёмно-зелёные листья с множеством ребристых побегов. Лилово-фиолетовые, белые, пурпуровые цветки собраны в верхушечные, метельчатые соцветия с сильным специфическим ароматом в широких рыхлых метёлках до четырнадцати сантиметров в длину... Музыка, одним словом.

Одновременно выйдя из окружения, виолончели и альтисты взяли в плен Большой вальс. Бал расцветал на глазах. Специально для виновника торжества заказали старинный менуэт. Закинув в небо тщательно уложенные верхушки, изогнув стволы, переплетая ветками, юные липы и клёны демонстрировали самые замысловатые «па». Окружив молодёжь, снисходительно наблюдали за парами отдыхающие в стороне пожилые деревья. Захмелевшему вязу подливали наливку из диких яблок, разбавленную берёзовым соком.

На низких лужайках и покатых клумбах, подражая старшим, веселились цветы. Их движения не были столь сложными и чопорными. Малыши больше шалили, весело кивая головками, сильно раскачиваясь на стеблях, как на качелях, туда-сюда, вверх-вниз, туда-сюда, вверх-вниз.

Наискосок по лужайке важно пропрыгал кролик Лиль.

«Да, в этом уголке есть на что посмотреть», — улыбнулся невидимой для всех улыбкой Гало. — «Только что делать с красотой цветов? Как вести себя с теми, кто, доверчиво прислушиваясь, забывают тотчас всё, кроме лепета воды?»

С дорожек парка непоседа ветерок перебрался на островок погудеть в камышовые дудки, потаскать ивы за длинные косы. Резные тени акаций выложили на песке ритмичный узор. Внезапно в конце дальней аллеи, будто из лучей золотого тумана, возникла фигура девушки в светлом платье. Она была не одна. Впереди важно выступал павлин, на котором отлично сидел сине-зелёный мундир со слегка обтрёпанными позолоченными общагами.

— «Ви-ват!» — резко выкрикнул павлин, распустив хвост разительного дизайна ампир — черный зрачок в обрамлении изумрудной сабли.

С призывного возраста всего себя и свою походную жизнь павлин посвятил одному человеку — Императору. Он хорошо помнил весёлую хозяйку, жену Императора, не жалевшую для него твёрдых янтарных зёрен. Когда по утрам, накинув серую шинель, первый гражданин мира спускался в сад, солдат уже ждал его, приветствуя радостным, отбивающим зорю кличем — «Ви-ва-ат!» Казалось, в саду навсегда продлится цветение удачи, доблести и военной славы. Но неожиданно, одной особенно холодной весной, хозяйка заболела и умерла. Хозяин, проиграв Генеральное сражение, очутился в плену. Прекрасный сад опустел. Из венценосной семьи осталась малютка — дочь Императора Ильзе. Отданная на воспитание в бедное семейство, она не знала своих настоящих родителей. Возвратившись из последнего похода, верный слуга долго искал её в городе и когда наконец нашел около домика булочницы, больше не отходил. Пришлось девушке смириться с тем, что повсюду её сопровождает павлин с порядочно поредевшим хвостом. «Глядите-ка, — смеялись во дворе. — В нашу Ильзе влюбился зелёный петух».

— «Ви-ва-ат», — заявил о себе громко павлин, зыркнув глазом в сторону кавалькады — короля верхом на коне подозрительной масти, лебеда за его спиной и чуть поодаль одинокого Феррари с шарфом на шее. Феррари предложили прогулку, и он согласился. Ему нельзя было застаиваться.

— «Ви-ват», — несколько недоумённо протянул он ещё раз. Его озадачило пустое пальто.

Слегка близорукая, занятая к тому же кормлением голубей, Ильзе ничего особенного не заметила. Группа сближалась. Внезапно у Гало перехватило дыхание. Резко осадив коня, он толкнул камердинера так, что тот, съехав с хвоста, как с водопада, шлёпнулся на зелёную траву, а сам, быстро перепрыгнув через гриву, спрятался за изрезанным стволом старого дуба.

Гало взглянул на девушку из-под рукава пальто, и, тем не менее, ему почудилось, что их взгляды пересеклись. Что же это? Что происходит? Как будто кто-то прострелил ему сердце. Но откуда? Где прячется снайпер? Неужели из этих лучащихся нежностью глаз он получил такой сокрушительный удар. Через него — невидимого, смывая всё на своём пути, великой волной прошло другое невидимое. И накрыв, эта сила тотчас начала действовать...



Глубокая печаль траурным облаком окутала пальто, шляпу и красивое отсутствующее лицо. Король понял, что заразился и заболел. Печаль от предчувствия, что болезнь затянется, а возможно никогда не пройдет, довела его до слёз. Ему необходимо было срочно укрыться, остаться одному. Он подумал о том, чтобы опуститься на землю, но занять такое низкое положение Король не мог. Гало не оставалось ничего другого, как забраться на заднее сиденье автомобиля. В глубине салона ему стало легче переносить непереносимое.

— Боже мой, какое горе, какое великое горе, — прошептала она. Его сокрушала мысль о недоступности счастья.

— Неужели на свете может существовать такой смельчак, который смог бы приблизиться к такой девушке, и произнести: «Позвольте представиться. Я — Гало Пятнадцатый. Разрешите сопровождать Вас на прогулке».

Ильзе, меж тем, не отводила глаз от танцующих деревьев. Зрелище захватило её целиком. Она остановилась как раз напротив красивой машины. В ту же минуту камердинер, справедливо причисливший себя с павлином к одному классу пернатых по Брему, выдвинулся навстречу земляку — прикурить. Тот, в свою очередь, вынимая из внутреннего кармана зажигалку, продолжал щуриться на группу. Армейский долг обязывал его, прежде всего, выяснить, нет ли угрозы для жизни Её Высочества и ближайшего окружения.

— Что ж, он весь такой? — передавая осторожно в лебединое крыло огонь, осведомился старый гвардеец. Видимо, его всё еще занимало пустое пальто.

— Руки, ноги-то у него есть?

— Да, всё остальное на месте, — не без гордости поддакнул Лебедь.

— Руки есть, это главное. Руки иной раз поумнее головы будут. Я вот хвостом служу и дослужился до звания. Честь имею представиться, Императорской Гвардии капрал Прапор.

— А как это служить хвостом? — затянувшись поглубже, поинтересовался Луи.

— Служба непростая. В охране. Телохранителем. Тело охраняю, но, само собой разумеется, в полном боевом комплекте с лицом. А хвост использую в качестве вспомогательного средства при отвлекающем манёвре. Кто на мою хозяйку отреагировал, в смысле загляделся, я тут же свой хвост распускаю перед его носом. Пока он мой веер рассматривает, объект спокойно удаляется.

— А ежели кто не станет на твой хвост глядеть?

— Ну, такого ещё не бывало. Эффект неожиданного воздействия.

Человеку всё новое подавай, хоть ненадолго да отвлечётся.

Девушка, тем временем сбросив с себя оцепенение, вступила на дорожку, ведущую из парка. Заняв положенное по протоколу место на три шага впереди объекта, Прапор на прощанье дружески подмигнул знакомцу.

— До скорого, земляк.  
До глубокой темноты Гало не открывал изнутри дверцу Феррари, который, тонко чувствуя настроение Короля, всё это время хранил полное молчание.

## ГЛАВА VI. СБОРЫ

После встречи в парке Монсо со своей судьбой, как он мгновенно это понял, Его Величество прекратил есть и спать. Он так отощал, что пальто висело на нём, как на цирковом шесте. Впрочем, он никуда не выходил из дворца. Королевские обязанности были заброшены. Проводя большую часть дня в постели, отвернувшись отсутствующим лицом к венецианской штукатурке, Гало чувствовал себя по-настоящему несчастным. Под его шляпой, по очереди опережая одна другую, галопом неслись две мысли — «хочу» и «не может быть». Мысль «не может быть» была фаворитом скачек. Состояние царствующей особы в полной мере проецировалось и на его ближний круг.

Небритый камердинер сутками слонялся по дворцовым pokojам без дела. На неубранном обеденном столе между разлучённым голубым попугайчиком и большим жёлтым лимоном тускло чахло нечищенное столовое серебро. В гараже, лениво помешивая коралловый гайнтвейн, одиноко хандрил патриций в шарфе. Спокойнее других относился ко всему синий конь для прогулок. Он со вкусом зевал, хрустя по ночам то ли суставами, то ли яблоками.

На восьмой день нечеловеческих страданий Король Гало тенью выскользнул из своей спальни, добрался до стойла и со словами «надо действовать» рухнул без сознания в объятия сонного жеребца, повредив тому плечо. Решено было не откладывать в долгий ящик визит к профессору Габинчи — единственному в королевстве, кто имел доступ к хранилищу с герметичными знаниями. Возвращённый деструктивным бермудским треугольником на сушу, боцман обязан был проложить королю проход к архипелагу «хочу быть любимым». На сборы положили три дня.

Столь ответственное предприятие, как поход за фасадом, то есть лицом, можно было осуществить только на Феррари. Личные достоинства, презентабельность, скорость, в конце концов, всё говорило в пользу авто. Путешествие обещало быть продолжительным, к тому же неизвестно, в каком обществе предстояло вращаться. Добродушный Конь годился для коротких вылазок на природу, но для прогулок государственного уровня казался слишком прост. Во время еды он мог запустить львиную лапу целиком в глотку, поправляя в ней яблоко, и тут же чесать свою спутанную чёлку, оглядываясь на хвост, в котором вместе с листьями всегда торчала неизвестно откуда взявшаяся колкая сухая солома. Нет, он никак не подходил для официальных выездов высокого ранга.

Вечером, накануне старта, государь заглянул в гараж, чтобы предупредить друга о том, что завтра на рассвете они выезжают. К своему ужасу, он застал застёгнутого обычно на все пуговицы

Феррари распахнутым и растрёпанным: глубокие продолговатые царапины по всему крылу, под левым глазом — синяк. Правая щека вспухшая.

— От каких же это «кутюр»? — сочувственно поинтересовался Гало.

Феррари смущённо поднял глаза на хозяина. Как выяснилось, за ланчем десантник грубо отозвался о кулинарных способностях сирены. Феррари, не переносивший критических замечаний в адрес женщин, немедленно вступился и понёс урон. В раз ему намяли его нежные бока. В результате инцидента защитник сам оказался не выездным, в том смысле, что выезжать на нём не представлялось возможным. Феррари подлежал срочному, местами долгосрочному ремонту, плюс довязать распутившийся шарф.

Его Величеству не оставалось ничего другого, как отправиться в путь на коне — обыкновенном простолоудине.

«Да, но всё-таки, что делать с тонкой красотой цветов и напевом серебристых ветвей»? — не переставая, размышлял про себя король. Загнав под шляпу какую-нибудь мысль, он обычно гонял её по кругу.

Углубившись в лес, вступив на зелёную тропинку, всадник не заметил, как спустя полчаса оказался между ушей изумрудного ящера Чарута. Ассистент профессора охотно вызвался проводить путешественников к своему учителю.

## ГЛАВА VII. МАЖОРДОМ

Мажордом Чарут по своей природной окраске был зелёным, даже ярко-зелёным. Но по сути являлся голубым, голубым, — во втором общепринятом значении этого слова. Красавчик Чарут имел чувствительное сердце и любил всё изящное. Лазурная жизнь доставляла ему много изысканных удовольствий, но и много огорчений. Печальнее всего, что он был неспокоен. В отличие от Его Величества, совершенно спокойного до недавнего времени в виду отсутствия лица, мажордома поминутно одолевала собственная внешность.

Где бы он ни появлялся, его зоркие глазки первым делом искали зеркала. Назойливые морщинки, бурые веснушки, мелкие складочки в уголках рта оставались предметом его неусыпной заботы. Он уже трижды прошёл через руки пластических хирургов и, несмотря на то, что считал себя самым красивым существом королевства, продолжал искать и находил в застывших озёрах зеркал тот изъян, который следовало предъявить очередному хирургу. Ракурсы, подсветка постоянно менялись, и бедняга мажордом в погоне за идеальной внешностью незаметно вступил на тропу искажений. После очередного эстетического вмешательства в клинике Неземной Красоты, он заполучил нос грача и челюсть барракуды. Весь персонал клиники ахал, каким он стал хорошеньким. Все средства уходили на операции.

До эпохи дорогостоящих, дарящих молодость процедур Чарут любил прохаживаться по горбатой антикварной улочке, непременно заглядывая в лавки древностей. В выходной выкраивал время для прогулок по блошиному рынку. Склонившись над прилавком, он мог часами разглядывать крошечный кошелек, шитый бисером, принадлежащий, вероятно, карлице инфанте португальского двора. Спрашивая лупу, ахал над гигантской бело-розовой камеей, работы быстрых флорентийских мастеров. Чмокал губками над вычурными орнаментами персидских миниатюр. В вещах, напротив, он ценил пятна и потёртости, борозды меридиан и склоны параллелей — всё то, что так охотно сплавяло людям безжалостное время.

Развлекая гостей в отсутствии профессора, мажордом распахнул ящички коллекций, любовно демонстрируя пуговицы и медали из собрания своего дедушки — участника Генерального сражения.

Во второй половине дня состоялась первая консультация Короля у местной знаменитости. Выслушав историю болезни пятнадцатого представителя правящей династии, доктор огорошил пациента нетривиальной тирадой:

— Смелее! Право руля! Вращайся по часовой стрелке!

Тут следует кое-что пояснить: особенностью нового сознания

Габинчи после кораблекрушения стало его увлечение право-сторонним направлением. В злополучный день при прохождении парусника через коварный «треугольник», боцман ясно услышал, как вахтенный повторил приказ капитана — «судну лечь на левый борт!» С тех пор, вслед за апостолами Габинчи всегда стремился «левой части избавиться». Боцман не терпел левых партий, на дух не принимал никаких левых течений, движение против часовой стрелки было ему органически неприемлемо, более того, противно.

Протерев рамку, доктор приблизил её к королевскому карману. То же самое он проделал перед клювом камердинера и хвостом коня для прогулок. Рамка оставалась неподвижной, пока профессор не чихнул.

— Конечно, аномалии есть, — завёл он свою академическую речь, — но ничего страшного. Прежде всего, надо будет снять блоки, прочистить каналы, раскрыть центры. В каждом из нас существуют семь энергетических колёс или семь цветов с лепестками, невидимых глазу, которые вращаются по часовой стрелке, должны, во всяком случае.

На секунду он замолчал, бросив скептический взгляд на спущенную шину скакуна.

— На рассвете небесная роса, увлажняя лепестки, питает их. Колёса-цветы создают вихри энергий. Чем сильнее скорость вращения, тем бодрее дух и крепче тело. Некоторые из вас, возможно, даже слышали о кружащихся дервишах? Древний способ сбора росы, аккумуляции энергии.

— У Вас же, Ваше Величество, лепестки двух цветов не раскрыты, а два других, подумать даже страшно, вращаются в про-

тивоположном направлении. Удивляюсь, что при таком диагнозе, вы — ещё в шляпе и в пальто. Буду с вами откровенен: снимали с вас энергию во сне. Лицо забирали частями. Трое похитителей, пользуясь программой «виртуального вампиризма», растоптали цветы на вашей клумбе. Разумеется, это не означает, что поверх своего лица они носят ваше. Они преобразовали часть вашей сущности в энергию, которая служит им для личных целей. Обычно они нападают на робких, не довольных жизнью, не ценящих того, что имеют.

Габинчи ободряюще похлопал Короля по рукаву.

— Ладно, не будем сильно расстраиваться. Главное, вы поняли. Вам предстоит встретиться с похитителями и вернуть себе лицо. Причем, они должны будут отдать его добровольно. Одного назову сразу. Это — Великий Художник. По визитной карточке найти его будет не сложно. Месяц назад он лечил в моем Центре свою дочь от бессонницы и отсутствия аппетита.

— Откуда вам известно, что это — художник? И как, вообще, возможно похищать во сне? — спросил слегка обескураженный пациент.

— Скажем, это моё ноу-хау. Я уже сделал запрос через генеральный компьютер и получил ответ. Это совершенно точно. Для Вас неважно, как я это делаю, для вас — важно довериться. Довериться тому, что есть некая сила, которая поможет... Пока отдыхай. Ни о чем не думай. — Как-то незаметно Габинчи перешел с королем на «ты». — Информацию начнем получать на рассвете. Я усыплю тебя, и ты мне расскажешь, кто тебя посещал. Всё очень просто. Ничего аномального.

Прибывших определили на постой в лесную гостиницу. На ужин собрались у профессора в его просторной пирамиде. За столом прислуживал мажордом в парчовом камзоле, парике и боа. На людях мэтр требовал от него соблюдения этикета, не давая скатиться в сплошную голубизну. Пили коллекционные вина, курили толстые сигары. Чарут развлекал общество, потчuya гостей рассказами из древней истории, которую отменно знал. Вплетая в ткань рассказа драгоценные нити от Геродота, получал редкий по красоте узор. Он повествовал о достоинствах египетской пряжи, изготовленной на послушных станках династий золотых фараонов. Было чему подивиться. Прозрачное, наилегчайшее платье из дивной пряжи оказывалось так невесомо, что, подброшенное вверх, ещё какое-то время держалось в воздухе, медленно оседая серебряной паутиной.

— Командир парфянской кавалерии, не попудрившись, не начинал атаки...

Разматывая свитки достоверных преданий, загибая ресницы, Чарут сладко улыбался. Он явно перебарщивал. Конь недовольно фыркал на полосатом диване. Луи ещё в самом начале приёма, приподнявшись со стулом, отодвинулся от мажордома на приличное расстояние. На Чаруте было накинуто боа из гибких страусовых перьев, что очень не понравилось Лебедю. Уловив в короле

чуткого слушателя и тонкого собеседника, мажордом обращался исключительно к нему, облокотившись о резной столик из эбенового дерева цвета загнутых ресниц страуса. Пока Чарут очаровывал Короля, Габинчи, спевшись с Лебедем на тему парусности, перечислял тому названия ветров — Вольтурн, Австр, Африк, Эвравстр, Зефир, Борей, Аквилон...

Наступил час переключки ночных птиц. В полночь в гостинице стало беспокойно. За окнами мелькали волнообразные сидезы птиц-боа. Громко ухая, доставляла экспресс-почту сова с большой головой. При тусклом свете луны несколько раз по коридору в шелковом японском хаате, в туфлях на высоких каблуках пробежал мажордом. Его короткие тревожные вскрики пугали деревенского коня.

— Вот чумовой ящер, никак не угомонится. — Антон задумчиво дожёвывал лесную травинку, застрявшую в гриве.

## ГЛАВА VIII. ЛАБРИС

Несмотря на тревожную ночь, Габинчи поднял всех на расвете и проводил в Золотую Пещеру. Влажные своды пещеры освещали горящие факелы. Тени от неровных язычков пламени устроили на камнях причудливый танец. Сверху с сухим треском пыльными замшевыми кошельками срывались летучие мыши. По ногам строчили мыши-полёвки. Мокрые ужи шнуровались сами с собою вокруг колонн. Королю, Лебедю и Коню стало не по себе. Один изумрудный мажордом, прислонившись одиноко к стене, внимательно рассматривал в лулу круглую военную пуговицу из коллекции своего дедушки-мародёра.

Подражая танцу огня, маэстро быстро вошел в транс. Гало перестал чувствовать своё тело, и если бы даже захотел, не смог пошевелиться. По губам профессора он понял, что тот ему что-то говорит, но никакой звук до него не долетал. Внезапно будто кто-то нажал на клавишу «громкость», и низкий голос гулким колоколом стал раскачивать своды пещеры: «Вспомни, кто приходил к тебе во сне? Кто приходил? Кто?»

Светлые полосы чередовались с чёрными.

Король вошел в пейзаж без разрешения. Безмятежно, щека к щеке лежали море и пляж. Низкая волна ластилась к песку, нащёптывая о чём-то известном только им обоим. Высоко в небе кто-то забавлялся с фломастерами, бесконечно расписываясь фиолетовыми, желтыми и зелёными росчерками. На берегу, за мольбертом некий весёлый художник, насвистывая, переносил на холст один из самых чудесных рассветов. Пейзаж свернулся и не хотя уполз под перевёрнутый борт лодки.... Вспыхнувший яркий прожектор, осветил круг. Бешено вращаясь, в цветной пене юбок, что-то блестящее и гибкое пронеслось и исчезло за сценой... Вакуум. Пустота. И снова — свет, но уже тусклый. Стелющийся снизу пар объял гигантскую фигуру одинокого рыцаря в чёрном плаще.

Белёсый туман под капюшоном вместо лица и — чувство ужаса. Грозный Призрак взмыл вверх по вертикали, сделал мертвую петлю и канул в одном из бездонных колодцев Вселенной.

Не сразу пациент пришел в себя. Чувство страха не проходило. Очнувшись вслед за королем, участники сеанса увидели, что хвост и грива Коня заплетены сами собой в многочисленные косички, а в лапах Лебеда спит неосторожно застрявший там хомяк. Его Величество нервно оттирал платком пот с несуществующего лба.

— Так, отлично, теперь мы знаем и номер второй и, даже третий. Не думал, что будет достаточно одного сеанса. — Доктор радостно потирал руки.

— Визитёры — не из простых. Итак, как я уже говорил, номер первый

— художник. Великий Художник. Самый счастливый и самый продаваемый. Номер второй — звезда шоу-бизнеса под псевдонимом Купальщица или Охотница. Незабываемый тембр голоса с хрипотцой. Входит в десятку платиновых блондинок планеты. На мизинце — самый крупный сапфировый бриллиант. Весь мир знает, где, когда и с кем она принимает ванну. А вот нападающий в майке под номером три — крепкий орешек. Не жилец, в смысле не землянин. Практически для нас недоступен, не из нашей галактики. В космических файлах зарегистрирован под кодом Всадник или Магистр Гранмаль. Поворачивает только налево. Вряд ли с ним найдёшь общий язык, но кто знает?... Я сам аномальным образом выпал из водоворота, вопреки всем законам гравитации.

Бодман удовлетворённо чихнул.

— Что ж, на сегодня вполне достаточно. Придется задержаться у меня на недельку. Надо будет подтянуть вас по теории. Прослушаете семинар — «Как получить «своё», не повредив другому».

Когда выбрались из пещеры, День, закатав рукава рубашки, чтобы было сподручнее, всюсю пилил коряги на опушке.

— Погуляй по лабиринту. Тебе — это полезно.

Профессор незаметным движением подтолкнул Короля к входу в местный лабиринт, бравший начало в гроте. Подземный тоннель всё время поворачивал. Король долго петлял в темноте. В низких переходах пришлось снять шляпу. В замкнутом пространстве страх всё усиливался. «Сколько здесь тропинок, сколько тупиковых ходов». — Король вспомнил всё, что читал о лабиринтах. «Лабиринт, он же — «лабрис» — дом двойного топора, так в древности назывался ритуальный критский топор и дворец царя Миноса в Кноссе, где жил Минотавр, охранявший вход в подземный мир.

Король почему-то решил, что сейчас непременно встретится с легендарным быком, но неожиданно на одном из пластов отполированного подземным водопадом свода увидел изображение гигантского зайца. Какое-то время шёл берегом извилистой подзем-

ной реки. На очередном повороте ему показалось, что он увидел лодку с сидящим в ней паломником. Падая и спотыкаясь, Король бросился вперед, пытаясь догнать узкий челнок, но расстояние между ним и паломником не сокращалось. Сжавшись до размера росинки, скоро исчез и этот мираж.

Только на закате, продрогший, застывший «от» и «до» ужаса Гало смог выбраться из замысловатых ходов лабиринта, напомнивших ему сомкнувшиеся лепестки огромного цветка. Уже наверху, вырвавшись из плена подземной паутины, Король вспомнил, что в «лабрисе» всегда есть одна петляющая тропинка, у которой нет ответвлений. Она-то неизбежно и приводит к цели. Значит, кто-то внутри помнил об этом, и вывел его наружу.

Гуру казался очень довольным.

Прогуливаясь между партами, Габинчи любил на ходу лишний раз постучать по лбу коня со словами: «Всё здесь». Пряча в жилетку бутерброд с сыром, Антон понимающе возводил глаза к потолку, как бы давая понять, что его поле разума — уже под парами.

— Ну, хорошо, следите за ходом моих рассуждений, —ставлял учитель. — Очень важно окружение. Оглянись, с кем ты? В какой компании? Не сканируешь ли ты за собеседником отрицательных программ. Любящий разделяет судьбу того, кого он любит. Вот ты, — обратился он непосредственно к Королю, — на си-нем коне, а должен быть на белом, как Георгий Победоносец. Синий цвет — цвет размышлений. Это тормозит. Ограниченный ум способен только перебирать неудачи. Переведи стрелки часов направо. Вглядишься в палитру, ты непременно увидишь другие цвета. И все они заключены в белом. Абсолютная победа любит цвет Веры — совершенный белый цвет. Внутри себя хотя бы изредка пересаживайся на Белого коня.

После ужина компания дружно усаживалась за домашние задания, составленные Габинчи для каждого по индивидуальной программе. Каждое из положительных утверждений следовало переписать в тетрадь по несколько десятков раз. То были своего рода мешки с песком, призванные укрепить зыбкие почвы всегда сомневающегося в себе и сползающего вниз подсознания. Нервный стук в окно порой прерывал запись, то издёрганый мажордом вызывал кого-то на прогулку. Было не до прогулок.

Крепко зажав в львиной лапе синий карандаш, в сумерках под освещённой лампой скакун приобретал красивый фиолетовый оттенок, Антон старательно выводил крупными буквами: «У меня хорошая память, гибкие суставы», «Я рысью продвигаюсь к своему мешку с яблоками». Конь любил грызть яблоки, это правда.

Выставив сидящее крыло на столе ребром, чтобы не подглядывали, Лу энергично кидал на бумагу восклицательные знаки: «Я вырुливаю из любых ситуаций!» «Я — белый лебедь на пруду». «Моё созвездие одобряет каждый мой старт!»



Нетрудно догадаться, какую запись вёл фамильной авто-ручкой Король. Во сне Гало видел Ильзе. Она подходила совсем близко, вскидывала на короля свои фиалковые глаза и, чуть дотрагиваясь пальчиком до его щеки, тихо говорила: «А ты — симпатичный».

## ГЛАВА IX. БОЛЬШАЯ МАРТА

Капрал никогда не жалел о том, что добровольно остался на «сверхсрочную». Как ни тяжела была его монотонная, однообразная служба, она не мешала замечать ему вёрткую, легкомысленную жизнь. И о чём бы чётко, по-военному ни рапортовал с оранжевых дорожек павлин, зорко оберегая правым глазом дочь императора, другой его круглый зрачок неизменно оказывался устремлённым на единственно нужный объект — булочницу Марту. Прапор был увлечён ею ровно настолько, насколько Марта была поглощена своей работой. Видеть большую Марту по колено, по локоть, по верхнюю булавку в хлопотах стало для него чем-то вполне будничным и, конечно, булочным.

Булочное ремесло с самого начала заявило о себе, как о деле требовательном и капризном. За всю жизнь у Марты не было случая, чтобы просто остановиться и посмотреть вверх. Не только увидеть красок высокого неба, не хватало минуты, чтобы, приподняв голову, заметить ближние деревья, чьи почерневшие от дождей ветви, совсем не прочь были сбить для забавы платок с её головы или пошутить каким-нибудь иным манером.

Длинные булки, похожие на скалки, белой мякотью внутрь, румяным полированным футляром наружу, ни на минуту нельзя было оставить одних. Без присмотра они рассыпались, как спички, сползали оползнем, низверглись водопадом. Чтобы избежать потопа и запруд, их срочно приходилось разнимать, связывать в плоты и сплавать по соседним пекарням и кондитерским с самого раннего утра.

Капрал, которому Марта, смахивающая на пышную булку, нравилась своим широким фартуком, не раз пытался обратить на себя её внимание. Но чтобы он ни говорил и как бы ни распускал свой веер, который от длительного употребления заедал в предпоследней спице, в ответ неизменно получал молчание, глубокое, как карман фартука. Как-то в послеобеденный час Прапор рискнул прочитать хозяйке свое любимое стихотворение из африканского цикла: «Послушай... далёко на озере Чад изысканный бродит Жираф». Напрасно. Марта осталась глуха к романтическому циклу. Как обычно и бывает между мужчиной и женщиной, именно этой булочнице совершенно, абсолютно, никак не было нужно, ну, абсолютно, совершенно, ничего из того, что ей мог предложить этот капрал.

По утрам старый ветеран методично склёвывал с глянце-вых салатных листьев жирных гусениц того же оттенка, решительно сметал с оранжевых дорожек палисадника всю выпав-

шую за ночь семейку семян и соринки, жертвовал на праздники самым выдающимся пером от хвоста, но отклика не получал. Всё, что не было работой, оставалось для булочницы дальней ненужной экзотикой.

После дневного дежурства, примостившись на крыльце с трубкой, павлин осторожно склёвывал мысли по зёрнышку. Аккуратно насаживая кольца дыма на кольшки забора, он перебирал варианты удачного замужества для Ильзе и долгожданной женьги на Марте для себя.

Он злился: «Почему мы не можем быть счастливы? Что за существа эти — женщины? Вертят хвостом, сами, не зная, чего хотят. «Сегодня... особенно грустен твой взгляд». Не понимаю...»

Хохолок на голове павлина обидно задрожал.

В его послужном списке в разделе поражений были отмечены две попытки неудачной декламации чувств. Прошлой весной, когда пригрело солнышко и местный ручей особенно дерзко расплескался о новой жизни, Прапор, острым клювом надрезав батон, протолкнул внутрь обручальное кольцо. Сутки ждал ответа. Но именно эта нерасторопная скалка, зазевавшись, уплыла в печь напротив. В другой раз кавалер вздумал обратить на себя внимание ночной серенадой, которую исполнил под окном с такой страстью, что у Марты отчаянно разболелась голова, и она опустила её совсем низко, к самым ступенькам крыльца. В настоящее время ему нелегко было отважиться на третью попытку. Он боялся отрицательного результата, сердился и вздыхал. Мысли павлина катились в разные стороны и ни одной удачной среди них не было. Размышляя, он взял привычку ходить, подражая своему именитому хозяину — заложив руки за спину, немного ссутулившись, втянув голову в плечи.

Незаметно, без стука, во двор протиснулся коммивояжёр. Телохранитель отметил, что это — уже четвёртый на неделе. Наглый типчик. Жарит у них во дворе пескарей без масла на чудной сковороде, а сам глаз не сводит с Ильзе. Что он рекламирует? Прапору показалось, что незваный гость засверкал радужными стёклами очков в технике старинной системы Морзе.

Павлин насупилился и сердито задымил в сторону пришельца. Встреченный им накануне в парке Монсо юный монарх представился ему намного приятней и обходительнее. Его манеры и рост укладывались в представление о женихе, но отсутствие лица?... «Не будь у него бакенбард, усов, — ещё полбеды. Но чтобы совсем без щёк, что-то уж чересчур беспредметное, сплошной Малевич.

«При данной дислокации, — размышлял стратег, — придётся допустить морганистический брак, а не хотелось бы».

Павлин глубоко вздохнул и запрокинул свой хохолок высоко вверх. В наступающих сумерках он долго глядел в небо, надеясь разглядеть там звезду Императора. Наконец он увидел её. С самого высокого места, внимательно рассматривая в подозрную трубу диспозицию, Император ожидал начала боя. Заметив капраа, он одобрительно кивнул в его сторону, как бы одобряя действия ста-

рого товарища. Император готовился переправиться через реку. Рубикон, правый приток небесной реки, был уже перейдён, а это означало, что отступать некуда, и Генеральное сражение — неминуемо. Император спешил. Стремительно приближающаяся по линии горизонта Ночь торопила его решение. Император ещё раз кивнул гвардейцу и верхом на Белом коне поскакал разворачивать левый фланг кавалерии лицом к пехоте. Вздёрнув со второй попытки знамя на повреждённом древке, павлин подогнул лапу и вытянувшись во фрунт, прокричал атаку.

## ГЛАВА X. СОСТЯЗАНИЕ ЛЕПЕСТКОВ

Редко когда Ильзе могла передохнуть, отлучиться из дома или просто погулять в парке, а ведь она была императорской дочкой. Её день начинался с первыми лучами солнца. Огонь в печи, глиняный горшок на плите, вода из колодца были единственными её друзьями и собеседниками. Работы всегда оказывалось много, слишком много для одной пары нежных ручек. Отрадой наполненных трудами дней стал крошечный палисадник, разбитый под окнами. В палисаднике царствовал куст пиона, пять нарциссов, несколько кустиков фиалок и довольно много бледно-розовых маргариток, прятавшихся в высокой зелёной траве.

После захода солнца, напившись из колодца, цветы заспорили о том, кого из них больше ценят люди. Первыми, требуя, чтобы им дали высказаться, закивали головками маргаритки. Они слыли самыми большими болтушками.

— Мы — больше других нужны людям. Мы цветы для гадания: «любит — не любит, любит — не любит» — это про нас, — охорашивались они в своих розовых юбочках.

— В Нормандии о нас даже сложили песенку:

Marguerite,  
Fleur petite.  
Rouge au bord,  
Verte autour,  
Dis le sort de mes amours...»  
(Маргариточка,  
маленький цветочек,  
красный по краям  
и с зелёной каймою,  
открой судьбу моей любви)...

— В сырой и дождливой Англии, прежде чем действительно признать, что наступила весна, вместе с выносом на поле шеста, украшенного лентами, необходимо ступить ногой на двенадцать маргариток.

Лохматые венчики никому не давали вставить слово.

— Нет сомнения, — торопились цветики. — Мы — первый рыцарский цветок. Преподнесенный рыцарю венок из маргариток на средневековом языке цветов означал «я ещё подумаю». «Я ещё подумаю», «Я ещё подумаю» — как это мило.

— Ну, хватит молоть чепуху: «Я ещё подумаю»... Тут и думать нечего. Кто здесь самый крупный и роскошный?

Куст пиона был о себе самого высокого мнения.

— Где вы найдете ещё такой пышный цветок, с чётко прорисованным контуром резных листьев? В древнем Китае разведение пионов считалось занятием благочестивым. При дворе императора, окружённые почитанием, мы цвели, благоухая, — белоснежно-махровые, как оперенье лебедя, лилово-пьянящие, как молодое вино. Хозяин дворца, покровитель цветов, оставил иероглиф, означающий следующее: «Тот, кто любит пионы и охраняет их, получает блаженство. А тот, кто, обходясь с ними дурно, уничтожает, будет несчастен и подвергнется самым строгим наказаниям!».

— А я — «Narcissus poeticus»... — улыбаясь, склонился к девушке на тонком стебле белый с двойным золотисто-жёлтым венчиком изящный цветок. — Первая половинка моего имени происходит от греческого «narkao» — одурманивать. А вторая означает поэтический, так как я был воспет как ни один другой цветок, исключающая только розы. По легенде прелестный юноша Нарцисс, увидев своё изображение в ручье, был так пленён его красотой, что влюбился в себя и, не будучи в состоянии ни на минуту оторвать от него глаз, поплёк как цветок и зачах от любви.

Овидий, описавший эту легенду в своих «Метаморфозах» так говорит о нас:

Adstupet ipse sibi, vultuque immotus eodem  
Haeret, ut e pario formatum marmore signum.  
..... miratur, quibus est mirabilis<sup>1</sup>.

— Ну что ж, фиалки, пожалуй, я сам представляю тебе, — олаживая мундир, заспешил с отчетом павлин. — В саду твоей матушки их было видимо-невидимо. Это был её самый любимый цветок. В дни тяжелых испытаний букетик тёплых фиалок, переданный в тюрьму, где её ожидала участь королевы холода — гильотины, вселил в неё надежду, что всё закончится счастливо. С тех пор они стали её лучшими друзьями. Страсть к этим скромным цветам доходила до крайности. Все её платья были затканы фиалками. Лиловый цвет стал её любимым цветом. Живые фиалки служили единственным украшением всех её нарядов...

На секунду цветы замолкли. Неожиданно с вышитой диванной подушки по шёлковому шнуру соскользнули на пол фиалки. Выстроившись в шеренгу, скрестив крошечные ручки, встряхивая головками, малютки азартно простучали перед всеми в ирландском танце молодых оленей.

— Ну, дают! Чистое болеро! — долговязый лиловый репейник перегнулся через забор. — А мы-то, что ж, маргиналы, не флора? А ну, покажем класс!

<sup>1</sup> Он сам собой любит, окаменев от удивления.

Навек застыв, как дивное изображение из паросского мрамора, он не наглядится на всё, что находит в себе прекрасного.

Оттолкнув подсолнух с надоевшими семечками, он подхватил красный мак, который ещё толком не проснулся, и, перемахнув через забор, бросил его в рок-н-ролл. Запертые в хрустальной пирамиде, хорошо воспитанные хризантемы задргались и забились о стекло. Хватая всех подряд, наращивая темп, маргаритки забурили розовым хороводом.

— Пляски — это вульгарно, — возмутился пион. — Дайте им кисточки и жирную китайскую тушь, пусть попробуют написать иероглиф «десять тысяч лет жизни».

Один нарцисс, углубившись в своё отражение, казалось, ни в чём не участвовал. Скандал разгорался. В запальчивости, не слушая друг друга, цветы начали кричать о своих достоинствах слишком громко. Прапор внимательно вглядывался в хорошенькое личико хозяйки. Сегодня Ильзе казалась особенно рассеянной. Наивный спор цветов о первенстве не занимал её. Она подумала о том, что её настроение резко переменялось после возвращения с воскресной прогулки из парка Монсо. Она попыталась вспомнить, что особенного она заметила в парке? Бал ликующих деревьев, возню малышей с клумбы, голуби, — всё как обычно. В памяти возник силуэт мужчины в чёрной шляпе с широкими полями. Внезапно он исчез, как будто растворился. Странно.

Ильзе захотелось послушать тишину, и она пошла на берег к заброшенной, полузатопленной лодке, которая давно служила ориентиром для чаек, а также любимым местом, вокруг которого собирались длинноногие фламинго. Девушка не догадывалась о том, что в то же самое мгновение под прикрытием высокого деревянного борта с противоположной стороны любовался закатом король Гало. Неожиданно для себя он увидел, как с запада тихо тронулся ветер и пошёл дождь из лепестков.

Король вскрикнул: так это было красиво.

— Необыкновенный закат, — повторил он про себя. — Необыкновенный...

*(Окончание в сл. номере)*

## Юрий БЕЛИКОВ

*/ Пермь /*



*Один в поле воин.*

*Поэт Андрей Пермьяков задумал провести фестиваль. И провел. Договорился с фондом «Независимая литературная премия “Дебют”». Привез людей в Пермь. Разместил в гостинице. Устроил чтения.*

*Таким людям надо помогать.*

*Можно уверенно говорить об Уральской школе поэзии.*

*Беликов, Дрожащих, Санников, Ивкин, Петрушкин, Оболикишта — первоклассные поэты. Слава Богу, они теперь широко известны — печатаются и на Урале, и в Москве.*

*Классик андеграундной поэзии Слава Лен создал много лет назад литературное течение — квалитизм. Квалитизм — это, когда размеры (стихотворные метры) правильные. А синтаксис и логика неправильные. Логика в стихах квалитистов спрятана в метафоре. По такому же принципу построены гениальные «Столбцы» Заболоцкого, учителя Лена.*

*В этом смысле поэты Уральской школы (особенно Петрушкин, Санников, Ивкин, Оболикишта) близки «Столбцам» и квалитизму. Но они поэты современные. Они поэты не нового метода (новых методов сейчас нет), но, безусловно, нового языка. Нового — эпохи Интернета — взгляда на мир.*

*В этом номере мы представляем разных поэтов. И уральцев, и москвичей, и жителей других регионов. Все они участники Фестиваля «Камский Анлим», очень интересного фестиваля.*

Евгений Степанов,  
кандидат филологических наук,  
заместитель главного редактора журнала «Крещатик»

## ГИПСОВЫЙ ВОЗДУХ

КЛАВИШИ

Книжный шкаф — клавиатура.  
Сколько клавиш-корешков!  
Пианист, губа не дура,  
ах, рояль-то твой каков!

Нет единственного звука.  
 Есть единый звукоряд.  
 В безучастной гамме духа  
 книги рядышком стоят.  
*До* — для Данта, *фа* — для Фета,  
*ми* — Мицкевич, *ля* — Золя...  
 Пианист, ты слышишь это?  
 Где же музыка твоя?  
 Отчего по книжным полкам  
 водишь пальцем сверху вниз?..  
 Ты возьми аккорды с толком!

Но ответил пианист:  
 — Я сыграл бы на рояле,  
 я бы взял аккорды те —  
 только клавиши запали  
 у рояля кое-где.

#### ОТЛУЧЕНИЕ ОТ ДОМА

Я в этом доме запрещён.  
 Я не вхожу в число имён  
 произносимых в доме этом.  
 Там в три стены застеклены  
 (тут клены проросли!) сыны  
 с клеймом клюющей страны,  
 лишь я в том доме под запретом.

Там ты, моя полужена,  
 в двуспальном кресле спишь одна,  
 как хлеб вечери преломляя,  
 собой заначку пустоты,  
 там ты, я говорю, там ты,  
 полужена, полуживая.

И правя чопорную речь,  
 там в певчую швыряет печь  
 отец твой книг моих дощечки,  
 а мать печёт на той печи  
 причудливые куличи  
 и кличет дочь плясать от печки.

Там, чтоб навек меня проклясть,  
 мои портреты станут класть  
 в медвежью пасть, в раскрытый череп,  
 и я подохну иль дыхну  
 медовой мглой на всю страну,  
 а в том дому — столетье через.

И я гляжу, пока темно,  
как в печень ранено окно  
настойной лампою полночной...  
Что мне страна?! Здесь не по мне!  
Пусть запретят меня в стране...  
А я взберусь по той стене  
хотя б трубою водосточной.

#### ИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТУФЕЛЬКУ

Из туфельки из трофейной пьет водку полковник Киров.  
На стелечке на лимонной. Мамоне своей служба.  
И залпом ее осушает! И слушает, опрокинув,  
как след твой внутри сгорает. И кашляет: «Кха-роша!»

И сразу пространство цугом за дудкой его утробы  
встает — от Перми двуперстной, где вспыхнул твой след, и — вниз,  
к престольной, двенадцатиперстной Москве, где потух он, чтобы  
в Крыму — чашку к чашке — сбегать китайских шажков сервиз.

И гипсовый воздух множит с меня меловые маски —  
срезай и клади в корзины, и станешь богатой ты.  
И в невод идут почтовый для присказки иль остратки  
клеимые писморыбы, чьи напрочь разорваны рты!

И спрашивает полковник, единственный мой поклонник:  
пишу ли? И, словно гули воркуют во мгле угла,  
отвечу ему: «А жули?! Живот не болят, полковник?»  
И Золушкой он посмотрит, что свой башмачок нашла.

#### БРАТЕЦ ИУДЫ

Я донёс...  
Нет, не женщину в желтую рожь.  
Просто истину молвил про ложь  
и тотчас от нахлынувших слёз

потемнело в глазах.  
Отчего потемнело, скажи?  
Я же истину молвил о лжи!  
А хожу, как Иуда, в слезах...

Почему  
человечишко юркий, дряной  
мне теперь словно братец родной?  
Боже! Ноги омыл бы ему.



Зелье пью.  
Женщин в жёлтую рожь уношу.  
Бью баклуши. Курю анашу.  
Отбываю епитимью.

#### СОН О РАССКАЗЕ

Ты уснёшь на плече моём.  
И приснится тебе рассказ,  
как мы входим с тобою в дом,  
в тот, которого нет у нас.

Будет дом тот стоять в луче,  
защищённый со всех сторон...  
Но проснёшься ты на плече.  
Потому и забудешь сон.

#### СГОВОР ПТИЦ

Хлебную корку иль голову рыбью  
чайки, почти что касаясь лица,  
жрут, что ни кинешь, и только не выпьют  
небу подставленных глаз подлаца.

Стихнет базар между твердью и зыбью.  
Снизится ворон до злачных высот.  
— Ты-то хоть, гадина, выпей!  
— Не выпью! —  
каркнет и пададь в лазурь унесёт.

#### ЛУНА УРОДЦЕВ

Нас мучают уродцы сна...  
Едва заснут уродцы бденья —  
большая, красная луна  
переполняет сновиденья.

И мочево́й пузырь луны,  
как будто притча во языцех,  
диктует нам такие сны,  
что впору Господу молиться!..

Красна ущербная цена  
луны в смятенной звездной смете:  
когда не спят уродцы сна,  
уродцы бденья спят, как дети.

## ПОЗДНИЙ ЗВОНОК

Словно пасмурный ээк, отпахавший  
десятину свою за разбой,  
как на страшную волю-паханшу  
выхожу я на встречу с тобой.

Через десять годков позвонила...  
Я свой срок — от звонка до звонка —  
отмотал, получается? Мило.  
Шило — в мыло. Я — третий з/к.

Чтобы будущего не похабить,  
я над прошлым возвёл саркофаг.  
За версту стал я чувствовать бабий  
влажный запах, как запах собак.

Но звонок оглушающий пробил  
и пробил зачехлённый пробел,  
и взметнувшейся воли Чернобыль  
на чернику неволи осел.

Не пушайте меня за ворота,  
вертухай былого чутья.  
Целься в пояс, конвойная рота,  
чтобы в мозг не пошла малафья!..

Мне за ржавую, частой решёткой  
йодной сетки на хриплой груди  
так вольготно, так шатко, так кротко!  
Что же машешь ты мне: «Выходи!»?

Как стерпеть, если сжился, что умер,  
иль от сна затяжного затёк,  
замозживший от нежности зуммер,  
оживляющий поздний звонок?!

СОН  
О РАЗДВОЕНИИ МОСКВЫ

Пока Москва с Москвой пластается,  
Россия крепко спит, как старлица.  
Не тронь её в блаженном сне.  
Не то проснётся с перепоею:  
— Москва пластается с Москвою?  
Пущай пластаются оне!

Пока стенают бондаренки,  
швыдкие ножками сучат,

в России спят большие реки  
 и малые, как дети, спят.  
 А ну как треснут и расколуются?!  
 И ледоходом наградят?  
 Москва — окалина, околица,  
 а две — околица стократ.  
 А где калина, горечь, горница —  
 Россия. А в России — спят.

Так спят!.. А если просыпаются —  
 на падалицу бошек пялятся:  
 ого, как палица свистит!  
 Россия — спящая красавица.  
 Свою беду она заспит.

Пока одна Москва невинная  
 другой талдычит, что она  
 собой пьяна, как смоква винная,  
 когда другая не пьяна, —  
 в России, убелённой старцами,  
 берут за уши пацана  
 у прозрачного окна  
 какой-то слепошарой станции:  
 — Гляди Москву! Их стало две.  
 ну а когда проснёшься в силе,  
 чтоб досмотреть свой сон в Москве,  
 скажи, что мы их отменили.

\* \* \*

К возвращению матушки вновь становлюсь человеком —  
 с четверенек встаю, моюсь-бреюсь, бутылки сдаю  
 и заначки гнездо, разорённое в приступе неком,  
 заматавшейся ласточкой сызнава вью.

Возвращается матушка! Так возвращается память  
 страхов детских ночную рубашку вдыхать  
 материнскую, бедую, чтобы до завтра не плакать,  
 а на завтра вернётся, ребёнком надышана, мать

Возвращается матушка — миру померкшего сына  
 воротить восвоеси, покуда он сам не померк.  
 Возвращается сын — завершается мира картина  
 искупленным сияньем, которое сын опроверг.

Как до века гирлянд одевается фосфорным млеком  
 в тёмной комнате ель — вся игрушками озарена,  
 к возвращению матушки вновь становлюсь человеком.  
 А когда не вернётся она?..

# Андрей САННИКОВ

*/ Екатеринбург /*



## И слышен звук

МОРЕЛЛА

ты жила тяжело ты жила что почти что наотмашь  
надо рифму тянуть а не надо и так тяжело  
этой крови ведро (полведра) подойди и попросишь  
ты из гипса и ты окунаешь весло

так я так виноват не смотри умоляю  
ты и за руку держишь меня и рассказываешь  
да ну ладно и ладно и ладно и я умираю  
ничего не случится плохого не бойся конеш

КИНОСЪЁМКА

всё как будто ни одной  
белые глаза  
говори как не со мной  
но и так нельзя

руку высуну на треть  
май июнь туман  
ни на что нельзя смотреть  
май июнь туман

ты оглядываешься —  
люди и дома  
ты обрадоваешься —  
ничего, сама

танки едут под землёй —  
я по плечи врыт

(врёт наверное нельзя  
ест еду навзрыд)

полю Голем горем — но  
и туда никак  
оставайся! — вот говно  
не могу никак

выйди выйди выйди мне  
вынеси глаза  
в темноте и тишине  
не могу нельзя

Во война война война  
если не убьют —  
то тогда идите на  
всё равно убьют

почему я жив ещё  
отчеготэдэ  
брился мыло на ноже  
абвгд

КЛАРА СУББОТКИНА

Клара крылатая слышишь ли ты  
как прорастают наружу цветы

я так боялся тебя умерла  
стол так был круг и вот скатерть бела

ты беспокоилась что не успеть  
так и ждала как бы сын или смерть

ЙОД

по улице как будто голова  
катающийся головой и ротом  
у тридцать две (у женщин — тридцать два)  
причины как бы быть за идиотом

во-первых (ну и ладно) во-вторых  
по полруки не в кадре — ну и ладно  
ты говоришь спокойно и досадно  
как будто разливаешь на троих

ВОЛХВЫ  
ОПОЗДАЛИ И ЗАБЛУДИЛИСЬ

ходят по двору цари  
тычутся в качели  
плачут топчутся внутри  
говорят что не успели

здравствуй жопа Новый год  
ножики в лодыжках  
если кто-то здесь живёт  
то и не услышит

напился деревянным пивом  
купил полкурицы в кульке  
как хорошо быть некрасивым  
и налегке

когда дома стоят рядами  
сухой апрель и слышен звук  
идуший надо мной (над нами)  
у поезда который вслух

идёт и шаркает ногами



## Сергей ИВКИН

*/ Екатеринбург /*

### Футуризм языка

\* \* \*

*Елене Оболикита*

На тростниках оплётки монгольфьера  
ты поднимаешь тело, что корзину,  
с глубин постельных к запахам кофейным...  
Я шевелюсь, голодный клюв разинув,  
в бунгало сна, пустом и обветшалом,  
твоим теплом очищенный от страха.  
Но мне по суше проходить шершаво:  
я жил галапагосской черепахой.

И выдохнуть меня — твоя тревога.  
Здесь воздух плотен так, что сух на ощупь,  
что можно даже музыку потрогать  
(ресницами, хотя губами — проще),  
и снова вверх (тебе уподобляясь)  
без панциря (невидимого) даже  
привычным черепашьим баттерфляем  
над незнакомым городским пейзажем.

Води меня — я суетен и шаток.  
Воскресный мир перебирай подробно,  
где золотистой стайкою стишата  
нас обживают, шепчутся под рёбра.  
Ни за руку, ни обещаю чуда —  
веди меня своим спокойным чтеньем.  
Я — черепашей памятью — почуял  
единственное тёплое течение.

\* \* \*

над городом плывут левиафаны  
на нитях остановлены машины  
слепой ребёнок ножницами шарит

ему пообещали элѐфанта

она пообещала быть инфантой  
она пообещала среди женщин  
пинать ногою и лететь нагою

над городом плывут аэростаты  
и овцы объедают пальцы статуй

\* \* \*

*Владиславу Дрожащих*

Смотрит ампула плоти в январские рѐбра моста:  
инженерные рельсы, собором осыпалось небо.  
На ладонях моих пресноводная береста.

У Бориса и Глеба  
прорастают в глазах голоса, золотые круги.  
Вдосталь тянется праздник  
(рождественский? преображенский?)  
от медвежьих голов или до голубиных княгинь,  
не мужских и не женских.

Я не ведал других (отворотных? червонных?) болот.  
Подстаканник не слышит: когда растворяется сахар.  
Невесомое тело в ладони одежды орѐт,  
избавляясь от страха.

\* \* \*

перепелиное дерево, где на спилах  
лѐд протупает; небо в седых дельфинах;

пепельный город в белом окне пустого  
(до горизонта почвы и пепла) слова;

белка, берущая с прошлой моей ладони  
ягоды, спѣкшиеся в бидоне;

окоченевшие пальцы на бежевой флейте;  
шесть одинаковых цифр  
в счастливом билете...

всѐ остальное забудется. извините.  
белое-белое солнце стоит в зените.



\* \* \*

*Александру Петрушкину*

это Филонов, и ты понимаешь, о чём я.  
(нет, погоди соглашаться) но ты понимаешь:  
ты поминаешь Филонова, но (понимаешь)  
я говорю не о чёрном, но именно чёрном.

я не сказал: за Россию (и ты, россиянин?)  
все мы мордва и цыгане, поляки, евреи,  
мы говорим о Филонове, Саша, налей и  
мы говорим о Филонове только по пьяни.

мы говорим. так Изварина... вспомни цитату:  
Бог — Он хотел — по Извариной — чтоб говорили...  
но, понимаешь, Филонова — мы говорили —  
как футуризм языка получили в осадок.

эта алхимия времени не по рецепту:  
плавим свинец, ковыряя на части патроны.  
мы говорим — и над нами летают вороны.  
только Филонов стоит одиноко по центру.

\* \* \*

*Андрею Мансветову*

лепишь себя в куличики  
жмёшь глинозём сырой  
едешь на электричке  
вплоть до Перми-второй

время твоё деревянное  
сверхзвуковой режим  
к зрелости д'Артаньяны  
не начинают жить

ангелы — участковыми  
на огонёк пешком  
флягою с коньяком ли  
глупо и хорошо



## Марина ЧЕШЕВА

*/ Екатеринбург /*



### Под звук воды

\* \* \*

снег падает по вогнутой груди  
не города но сломанного шара  
зернистый ветер дует в позвонки  
огромного соленого вокзала  
где поезда ведут проводники

лежат на верхних полках двойники  
шершавыми бормоча языками  
и пассажиры мокрыми руками  
детей своих несут за плавники

туда где рыбий голос именами  
их обратит в течение реки

\* \* \*

мари, мари, спускайся на обед,  
соседи спят, обиды позабыты  
и мы отмыты, сварены, накрыты  
мари, мари, спускайся на обед...

мари, мари, спускайся в тишине  
не нарушая до-мажорной гаммы  
там у стола толпятся только анны  
мари, мари, спускайся в тишине

мари, мари, пусть анны до утра  
листают журавлиные страницы,  
горят от невесомости синицы  
мари, мари, я встречу у костра.

мари, мари, спускайся по земле,  
не перепрыгнув ни одну ступеньку,  
иди ко мне, не бойся, помаленьку  
мари, мари, спускайся по земле...

\* \* \*

вечереет дом на дне деревянной руки  
лебединые дни просыпаю на край реки  
пеленаю глиняных кукол под купол рта  
прилетают звезды из чистого серебра

и пшеничный пес приходит как надо в срок  
языком с лица собирает речной песок  
закрываю глаза волосами в растаявшем льде  
начинаю по круту т. е. наоборот

лед гниет и тонет гонит меня домой  
пеленаю рот одной деревянной рукой  
языком собираю звезды с покатых лиц  
и речной песок вымывает прозрачных птиц

\* \* \*

вылавливая фонари  
из тополиного потопа  
кустом вишневым пенелопа  
плыла по дну пустой реки

распухший берег изнутри  
шипел и пенился и плакал  
гомер спешил в свою палату  
с молитвословом на груди

а я спускала корабли  
в ладони медсестер и братьев  
и нерассказанное платье  
стекало с неба до земли

мне больше некуда идти  
блуждаю водянистым светом  
на том меня не ждут на этом  
молчат мои поводыри

\* \* \*

напиши мне письма полные теплых букв  
полных долгих оканий в заокеанных днях  
я нелегким облаком падаю между губ  
подоконник рвется лентами на руках

мне такая смерть не тоска не тоска не смерть  
мне такая осень сегодня не видно зги  
ты стоишь спиной ты учишься не смотреть  
как всплывает голос голубем из груди

как идут не строим все боги и все дожди  
как за синим зеркалом ходят вокруг себя  
все мои стихи похожие как одни  
как ногами вверх вращаемая земля

как приходит смерть неслышно и глубоко  
заливая светом зрение все подряд  
как приходят ангелы с медом и молоком  
и не ведают что творят

\* \* \*

глубокой ночью  
седой молчаливый плотник  
утирая слезы и пот  
слезы и пот  
с темного подбородка  
мастерит колыбель из дерева и гвоздей  
колыбель из дерева и гвоздей  
говорят, жена его умерла



## Татьяна ГРАУЗ

/ Москва /

### Верка и только

щуплое тело *верки* безотрадно белело у кромки пруда, *верка* ёжилась, стаскивала с себя теснившие её колготы и пестрое с индийским рисунком платье, перед глазами *у верки* прыгало бликами солнечными (*задержать немного дыхание*) водонерастворимое нечто.

*о барабанах*

*верка* без возраста, с запрятанным вглубь себя полом, с пучком полу-длинных волос вышедшего из моды тёмного цвета, с узкими бёдрами (*на зависть друг-не-друг-по \_ читать как анаграмму*), близорука и безоглядна, осенью и до весеннего солнца безбашенно барабанит на двух барабанах, ходит в кружок при посольстве, *верка* любит кружки, ручательство круговое, песчаную мандалу, которую непременно наутро стоит лопаточкой в кучу сгрести, по вечерам в пустом светозарно-беспечном уличном торжестве шествует по воронцовому полю, лицо подставляя сусальному листопаду, идет отбивать (*отбивать*), барабанить, богиня урзуме — и только.

*о счастье*

шла *верка*, как танцевала, будто мизинцем левой ноги расшевеливала сладостные мгновения жизни, и как всегда (*как никогда*) была счастлива, скрипуче цедила гимны царицетоссе, и потолок её комнатки (*читай \_ головы*) казалось пронизан был светлыми (*зачёркнуто \_ тёмными*) точками, а оттуда (*из точек*) шнурами свивался над *веркой* неведомый свет, (*как говорили*) была она не от мира сего, но говорила порой то, что думала, но не думала, что говорила, тезаурус пополняла, лёжа на узкой кушетке, как аэспушкин, читала всё, что ни попадя, что попадалось.

*о плавании*

сегодня конец рабочей недели, *верка* у кромки пруда, щуплый зад её облепляют пятнистые трусики, лифчик купальный тёмного (*в тон трусикам*) цвета, и размышляет *верка* как лучше нырнуть, фыркая, пеня прудовую воду, чтобы потом, разбивая плотную материю волн самозабвенно доплыть до середины, а после вернуться и, греясь на берегу, восполнять воспоминаньями вечер.

*о былом*

противогазы им выдавали по пятницам, натянув на веснушчатый азиатский свой лик презер противогаза, *верка* (как все) отбывала повинность пятничной *энезэз*, чувствуя плоским своим животом стылость кожаных матов и слыша над ухом сиплый истошный «огонь (*мат \_ нецензурно*) огонь» выпаливала из винтовки в полную силу девичью один за другим два быстрых разряда, промахивалась, как всегда, стряхнув с коричневой юбки сухую вонючую пыль, неслась из подвала (*где было устроено стрельбище*) в школьную раздевалку и, сунув быстрёхонько крепкие ноги в узкие (*цвета морской волны*) лодочки, ладьей проплывала по коридору.

*о чувствах*

яичная скорлупа дня растрескивалась под медленным натиском *верки*, а *верка* неторопливо жевала ломоть нарезного батона с докторской (*лечебной, наверное*) колбасой и вплывала в «свой» шумящий «десятый», её окружали тотчас же тереховы-близнецы близнецовым своим совершенством, она садилась меж ними, рядом с одним, рукой протянуть до другого, и принималась насмешничать над шамсутдиновым (*спина его через две парты, голос — царапиной в сердце*) или язвить над зочкой фёдоровной — географичкой, зочкафё сужалась вся книзу, а в вышине своей зеленовато мутнела (*как нил полноводный*) взглядом пугающе-доверчивых глаз, тереховы-близнецы перекатывали тиснёные шутки над африканской пустынною географией зочкифё и выбалтывали последние сплетни, мол, зочкафё была многократно любима и однократно бездетна, что в доме зочкифё побывал (*с короткими останками*) весь маскулинный учительский (*ограниченных войск*) контингент, тереховы ворковали над *веркой*, первый на бедную *веркину* голову налеплял цитаты-пластырь из Екклесиаста, а от второго в плоском *веркином* животе пульсировало (*до мунковской жутки*), после уроков *верка* срывалась к широкому подоконнику, распахивала окно, парк сухостью, тусклым жаром осенним врывается в пропахший телами и подростковыми мыслями класс, *верка* усаживалась на подоконник и (*медитировала \_ зачёркнуто*) созерцала, а тереховы, расположившись по разным углам

гранёного кабинета, втягивали по-азиатски косящую *верку* в неведомые ей разговоры, от разговоров всё в *верке* мутнело и стыло, и ей казалось, что близнецы — это карма, что ходят они по близнецовому кругу, а *верка* сидит на карусельной лошадке, а у лошадки (*привет вам, дедушка фрей*) облупленный зад.

*о доверительном*

*верка* поёжилась, развела в разные стороны слегка загорелые руки, стала грести энергичней, она doplывала обычно до середины пруда, покачиваясь на толще воды, делала несколько рыбьих движений, блаженствуя, щурясь на солнце, и лишь потом плыла к берегу, с которого как на ладони видела дни-часы-годы, когда была маленькой *верочкой*, когда доверительно бормотала «*иже еси на небеси*», но потом, потом она быстро и безоглядно легко подросла, пару лет была хрупкой *верой*, а после её называли по-панибратски — *веркой* и только.

ну вот и всё.

## Елена ОБОЛИКШТА

*/ Екатеринбург /*



### От слова и до слова

\* \* \*

звук целится в тебя когда рукам свинцово  
твоим ста головам прохладно у виска  
переводимо всё от слова и до слова  
но птичьего не помня языка

я за тебя (молчать) боюсь но зрячая до боли  
я прохожу насквозь закрытые дома  
не зажимая рта на что не хватит воли  
когда зима

я расколосась выходя из тела  
забыла о себе (читай: о смерти)  
прокрустова доска белее мела  
которым чёрный снег рисуют дети

\* \* \*

когда поет непреднамеренно страна  
порезанные страшно прятать пальцы  
он говорил но зажали слова

и оборачивается словарь  
в косых снегах слетевшихся от Бога  
слова как лодки прорастающие в лед  
и вот уже не видно этих лодок  
а дерево корнями небо пьёт

\* \* \*

четыре три гвоздя в порог пологой смерти  
но терпеливый Бог глядит вперед строки



у тьмы с обратной стороны как нервы  
деревья полусонные легки

и звук то заострён то белозубый хохот  
стеклянный как вода вокзал не виноват

пустые города в ночи по самый ворот  
в меня как безъязыкие глядят

\* \* \*

сколько ни говори но она у рта  
пристальная заплечная немота  
и безголосы улицы напросвет  
вытянуты в ладони разжатых бед

там голоса легки самый белый твой  
только последний поезд идет домой  
вдох или выдох слева но оглянись  
как виновато смотрит сквозь пальцы жизнь

\* \* \*

*«...слепой или зрением тонкий...»*

А. Петрушкин

ты говоришь вслепую  
а смотришь как немой  
переходя другую  
за адовой водой

кто поделился хлебом  
с таким с тобой немым  
в безветрие под небом  
стой деревом как дым

заплаканные звёзды  
в небесных детдомах  
как дети на морозе  
в железных поездах

ты говоришь вслепую  
руками у стены  
Губанова целую  
в глазах твоей страны

тебя не укачали  
такие лагеря  
ты не солги в начале  
вслепую говоря



## Елена ГОРШКОВА

*/ Рязань /*



### Посмотри вверх

\* \* \*

Старые кассеты похожи на старых людей.  
Пленка ворчит-ворчит и порвется на странной ноте.  
Еще не заснули в городе Варандей,  
но уже просыпаются в поселке Эгвекиноте.

Маленький мальчик стоит на морском берегу.  
Вот он нашел кораблик в лужице пены.  
То ли пленка шуршит, то ли мальчик срывает фольгу  
с леденца и швыряет куда-то за край Ойкумены.

Ходит по гальке ворон, качает большой головой,  
и кучи водорослей кольшутся, как живые.  
Мальчик, наверное, знал, что есть один мировой  
океан — но понял он это впервые.

Прежде, чем самое важное произойдет,  
нужно прожить хотя бы пятую долю века.  
Но в тридевятом царстве его уже точно ждет  
девочка, что пустила кораблик в реку.

НЕСБЫТОЧНОЕ

Мы пойдем по лесу, ты будешь курить, я тебе говорить,  
что разные правды бывают, и строгие судьи правы,  
и хищники правы, и правда, которая выше,  
но я знаю только свою — расстегни пальто, разреши обнять.  
Знаешь, за нами кто-то идет всю дорогу,  
не оборачивайся, ты его не увидишь,

посмотри вниз — крестики на снегу оставили птицы,  
посмотри вверх — ветки скрестились на сером, а мы всё идем.  
Браслет от часов мешает гладить твоё запястье,  
сними, в этом лесу времени нет.

\* \* \*

мы в баре столового выпьем вина  
со мной будет он а с тобою она  
и вам пожелают спокойного сна  
а мы посидим дотемна

а нам пожелают не спать до утра  
один из удачно женатых гостей  
игриво заметит и вам мол пора  
стране не хватает детей

не знаю чего не хватает стране  
вино не цветком распустилось во мне  
а проволокой на желудочном дне  
и вот я на той простыне

где женщина внешне мой автопортрет  
шептала обычный восторженный бред  
а я вот лежу и в потемки гляжу  
и руку его отвожу

\* \* \*

это начинается как начинается бред  
думаешь не надо хватает бед  
я не желаю себе зла  
встала развернулась ушла

и вот идешь по перилам ведешь рукой  
на полировке оставляешь след  
а тебя уже нет  
тебя подменили другой

этой другой звонит некто А говорит  
посмотри у меня напротив окно горит  
этой другой звонит некто В  
дескать скучаю по тебе

некто С называвший тебя женой  
уже обнаружил подмену и огорчен  
другая сбрасывает звонки отключает телефон  
уходит от С ей хочется побыть одной

и постепенно как просыпаясь от долгого сна  
когда приснились другие миры или времена  
понимаешь ты это она  
это твоя вина только твоя вина

\* \* \*

А. Л.

— прости меня добрая крестная я была на этом балу  
я видела принца он лапал меня в углу  
и множество тощих фрейлин и толстых придворных дам  
шушукались за спиной ходили за мной по пятам  
— а что же у тебя крестница расширенные зрачки?  
а что же ты принесла назад хрустальные башмачки?  
— прости меня добрая фея каждый шаг дается с трудом  
помнишь несчастную девушку с рыбьим хвостом  
она обратилась к ведьме ты знаешь что было потом  
— а что же тебе крестница не по нраву мои дары  
а что же ты девочка вернулась домой до поры?  
— я расскажу тебе крестная карета ехала через лес  
усатый кучер сказал проезжаем страну чудес  
нам по дороге встретились Труляля и Траляля  
они говорили красавица берегись берегись короля  
— я все поняла отвечает фея  
цухом тебе земля



## Вадим КЕРАМОВ

*/ Махачкала /*

### Над горизонтом

НА ДАЧЕ ПЕТРОВЫХ

Пили чай, крошили пряники,  
Обсуждали близкое к панике  
Положение в русском кино  
Положение многих ранило  
Пока окно барабанило  
Барабанило окно

Собирали кубики-рубрики  
В преферанс играли на рубрики  
В домино играли на счет  
Жаловались: время течет  
И окно течет, течет

Пожелали друг другу ночи  
Поспокойнее, покороче.  
Разошлись.  
В проеме окна  
Ночь последнее доливала,  
Мышь скреблась у печи, дотлевала  
В моей пепельнице луна

\* \* \*

Капли на стекле под микроскопом  
Скуки вековой.  
Город в одиночестве исконном  
Тонет под водой.

И напрасны дождевые сказки  
В комнатной тиши —

Не вернуть потерянные краски  
И карандаши.

Не заполнить улицу народом,  
Теми, кто любил.  
Ты умрешь за этим поворотом,  
Из твоих могил

Прорастет ромашковая малость,  
И она одна  
Пересилит влажную туманность  
Глаза и окна.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Когда в квартире отключили свет  
И громогласный мир сошел на нет  
С внезапной пустотой наедине  
Я произнес молитву в тишине

Из вырванных материй темноты  
Из доскута овечьего мраком  
Она слагала свет волшебной красоты...  
Я не шептал уже, я плакал

И на колени пал, и полз во тьме  
И целовал, что попадалось мне

\* \* \*

Временные циклы нарушая,  
Хорошеет в рост не по сезону  
Тонкий стебель будущего мая,  
Красота, противная закону.

Ветром не согнуть его, и снегом  
Не укрыть, и не разграбить птице, —  
Он взойдет весной человеком,  
А не одуванчиком в петлице.

\* \* \*

В забытой скважине старается огонь,  
Струи дымка расчетливы и чинны.  
Высокопарный длинногривый конь,  
Цветок могильный, весточка лучины,  
Скачи по звездам, пробуй облака,  
Копытом бей, особенная мышца,  
Покуда тлеет искра и пока  
Ты в общих небесах не растворишься.



## Анна МАТАСОВА

*/ Литъяранта, Карелия /*

\* \* \*

Вон, на крылечке, видишь — стоит она.  
 В холерном халатике сером, под глазами — круги.  
 В правом — плавится солнце, в левом — сквозит луна,  
 Известкой и кровью заляпаны сапоги.

И ходят за ней кругами, и лижут ладони ей  
 (Справа кожа дымится, слева — короста льда),  
 В полночь — стая волков, в полдень — стадо свиной,  
 Похрюкивая, подвывая — ты тоже приполз сюда.

Тише, не приближайся, мордой прижмись к стене,  
 (По локоть руки в золоте — в сперме, в дерьме, в моче),  
 А всё-таки перед бойней — давай помолчим о ней,  
 В холерном халатике сером, с топором на плече.

Мы — безголовы ласточки над выбритой головой,  
 Мы тоже шуршим по кругу и всё видАли в гробу.  
 Но как она улыбается, когда говорит: «Живой...»  
 В черном-черном бараке, рисуя крестик на лбу.

### Наступление

Пока ты ныл, что кругом облом, завистники, вороньё,  
 Небо уже раскачало дом — дикое и твоё.

Пока ты клянчил — бухла, бабла и перьев еще для крыл,  
 Бог тебя выдернул из тепла и белым светом накрыл.

Тут сорок ангелов на дворе, и сорок чертей — в крови,  
 Ступай, солдат, по своей земле и родину не гнечи.

Ведь ты писал, что тебе хана на внутренней мировой,  
 Горячку вылечит белизна — ты вечной Зимы герой.

Не уходи в круговой запой, как творческий, блин, узбек,  
А руки вверх подними и пой, когда наступает снег.

Закинь хлопушки свои в сугроб — тут любят друг друга, брат.  
Когда Онега целует в лоб — не надо других наград.

И снег смеется, и снег идёт обнять тебя, дурака...  
И ловит ракету твою в живот — и падает в облака.

\* \* \*

Слог — лобогрыз  
И лоботряс.  
Яблоко вниз —  
Аз.

Слог — перевод  
Смысла на звуки.  
Яблоко — в рот,  
Буки.

Чара, искус,  
Липкие сети...  
Яблока вкус —  
Веди.

И вот, когда боль,  
Выжжет твое нутро,  
Слогом, поэт, глаголь  
Добро.

\* \* \*

Из груди твоей вытекает Стикс —  
И течет себе, и течет...  
Сквозь молочный город, который скис,  
Как открывший тьму звездочет.

Кочегарка, бары да пара школ,  
Возле мэрии магазин —  
Вот и всё проклятье, и весь прикол,  
Сверху — кровь, а под ней — бензин.

Зажигалку кинешь — как полыхнёт,  
До четвёртых-пятых небес...  
И стучат соседи:  
— Алло, народ!  
Прекращайте поле чудес!



Впрочем, тут особенно не шалят —  
 Всё привыкли считать ворон,  
 Но и власть не чествуют, шакалят  
 Посылают на Ахерон.

Есть и пришлый, в крылышках, дурачок —  
 За собой таскает талмуд,  
 Если где услышит: «За вечность — чок!»,  
 Он с вопросами тут как тут:

— Вот скажите, грешники-мужички,  
 Что вам любо из местных вин?  
 — Ангел смерти, ёптыть, протри очки,  
 «Три шестёрки», мля, херувим!

\* \* \*

Братец, ты очень стар,  
 Старше, чем океан...  
 Шарик любви Иштар  
 Выкатит на кальян.

Пых! — ароматный дым,  
 Весь океан — в дыму,  
 Мальчик умрёт седым  
 В девочкином дому.

Выдохни дым по ней —  
 Плоти, пыльцы, попсы...  
 Станет ли солоней  
 Шарик твоей слезы?

\* \* \*

Так падает топор, и отпускает бабку  
 Гулять по тишине, где жёлтые дома  
 Бросаются в лицо...  
 Хромающий на лапку  
 Железный человек — ведёт меня с ума.

И тело — сквозь канал, встающее на мостик,  
 Вращает в беспредел слезы и кирпича.  
 Брось истину, вина, — и пусть тебя не бросит  
 Нерукотворный свет с бездомного плеча.

А что тебе ещё? Как памятник на воле  
 Хрустит по костякам — иди себе, вали,  
 Страницами чужой — перегоревшей — боли,  
 Пластами ледяной — обугленной — земли...

## Андрей ГРИШАЕВ

*/ Москва /*



### Пиджак


Был человек, и даже если не был,  
Ему вручили паспорт и пиджак,  
Тарелку супа, полбуханки хлеба...

Поцеловал он паспорт натошак,  
Пиджак надел, и хлебушек в тарелку  
Как будто бы привычно покрошил,  
И ложкой — быстро-быстро, мелко-мелко...  
Как будто бы на самом деле жил.

«А он ещё любил жену...» — не верьте.  
«А он ещё...» — не верьте ничему.  
Носил он тот пиджак до самой смерти,  
Носить пиджак положено ему.

### Король

Червь рыл ход на край земли.  
Он очень рвался в короли.  
Ему сказала рыба днем:  
«Там, на краю, быть королем  
Легко, особенно тебе.  
Доверься, милый мой, судьбе!»  
Он землю рыл немало лет  
И, наконец, увидел свет.  
Увидел странных он людей,  
И те так просто, без затей,  
Сказали червяку: «Изволь.  
Здесь каждый червь — король».



Он мантию в штаны заправил  
И сказочно страной заправил.  
Страной, где всяк ответ: «изволь»,  
Где каждый червь — король.

## **За прозрачную стеной**

*Виталию Пуханову*

Я писал, что смерти нет.  
Только вот она: привет.

Машет ручкой костяной  
За прозрачную стеной.

За хрустальными дверями,  
С ледяными пирогами,

Знаки делает: дружок,  
Не желаешь пирожок?

Нет, с малиновым вареньем  
Все закончились давно,

Есть засохшие коренья,  
Есть замёрзшее говно.

Ничего, что пустовато?  
Ничего, что суховато? —

С одобрением в глазах  
И с улыбкой виноватой.

# Сергей БОГОМЯКОВ

*/ Пермь /*



## Одиночество

один в комнате  
один в городе  
кашляю  
колючая проволока в горле  
часы в голове  
тикают  
тикают  
тихо так, по-домашнему  
как кто-то дышит в темноте  
как кто-то дергает струну

за стенкой люди живут, смеются  
никак не усну  
ворочаюсь с боку на бок  
нет, не усну  
хотя, может быть, и усну  
скорее всего, усну  
но вот вопрос —  
смогу ли я завтра проснуться?

с другой стороны...  
с другой стороны окна —  
широко, разноцветно, весело  
я иногда смотрю туда  
но того ли мне хочется?

на столе цветные карандаши  
на стене прошлогодний календарь  
на потолке сполохи света  
от ночных машин

это  
называется  
одинокчество

\* \* \*

лососи  
не мечут икру  
перед свиньями  
они бьются  
как рыбы об лед  
они строятся клиньями  
и против течения  
полный

назад  
несмотря на остроги  
отрекаясь от моря  
вступая в неравный прибой  
превосходя болевые пороги  
ведь только в верховьях  
лососи находят

Амур  
с детства знакомый  
настолько  
что легче дышать  
будто бы сняли лассо

плыть  
к приснопамятному истоку  
в этом вся соль

08-11.2008

\* \* \*

свободу воздушным шарикам!  
они не для продажи!  
долой притяжение!  
долой суровую нить!  
развяжите горло!  
дайте глоток неба!

свободу воздушным шарикам!  
на этой свалке компасов и указателей  
лишь они знают верное направление  
они помнят, что такое «летать»

что тебя держит на земле?  
дела? деньги? девки?..  
выбрось все из карманов!  
выкинь это из головы!  
стопудово на душе станет легче  
как гора с плеч  
как баба с возу  
какофония!

небо не больно!  
небо не страшно!  
кактусы и ежики —  
вот кого надо действительно бояться!  
они могут надуть так,  
что лопнешь от зависти...  
ведь шарики доверчивы, как дети  
и беззащитны, как мыльные пузыри

поэтому я кричу:  
свободу воздушным шарикам  
и прочим резиновым изделиям!  
хватит грузить!  
шарик не хочет сидеть на цепи!  
шарик не хочет сидеть на игле!  
рожденным летать — даешь бесплатное небо!

хочешь освободиться?  
слушай приказ:  
все, кто легок на подъем —  
ни шагу вниз!  
прямоком на небеса  
оттуда еще никто не возвращался  
потому что там лучше  
где нас нет  
поднимись и крикни  
на весь земной шарик  
на всю планету  
на все 6 степеней свободы:  
свободы!  
свободы!

даешь свободу воздушным шарикам —  
пионерам неба!

09–10.2006



## Дмитрий МЫЗНИКОВ

/ Барнаул /

### По дороге домой<sup>1</sup>

роман

ПОЕЗД

*Чем дальше на север бежал трамвай,  
тем выше и гуще была зелень...*

А. Гаврилов

Три вокзала окружают самую красную площадь страны. Турпиками, высокими платформами они говорят: здесь столица и начало путей. От площади лучами отходят железные «улицы». Они выходят за пределы Москвы, тем самым поезд превращая в трамвай, а маленькие городки на пути будто в иные московские дома на обочинах долгих столичных дорог, делая всю страну бедным пригородом.

Перемены в Москве ошеломляют, но здесь, на вокзале, мало что изменилось. Всё те же ларьки, пирожки и жулики, та же сутолока у касс, то же разномастье лиц, то же удивление кассирши: «До Городка? Какого городка?». И назови я его полное имя, очередь бы начала насмехаться, а кассирша, распознав издѣвку, послала бы меня подальше и, быть может, прощай билет и дорога. Но я сдержался и объяснил, будто подписывая письмо: область, район, Городок...

Поездов в Городок идёт мало. Станция невелика и составов с надписью «Москва-Городок» не существует в природе. Сочетание это изредка, но от того не менее гордо несут на себе прицепные вагоны, в один из которых я и купил билет.

Нрав почтово-багажных, к которому прицепили вагон, слишком известен — они быстро едут и долго стоят. Так что обычные три дня пути превратились в четыре.

<sup>1</sup> Окончание. Начало «Крещатик» № 45.

Нет занятия бездарнее и глупее, чем ждать поезда на столичных вокзалах. Сперва он стоит где-то на сортировочной, потом объявляют путь. Его ищешь глазами, не веришь себе, идёшь посмотреть, там ли. Наконец, он подходит, но посадки ещё нет. Опять ждёшь и надеешься, что большие часы на высокой вокзальной стене как-то застряли.

Перед закрытым поездом на пустынном перроне можно легко углубиться в тёмные философские дебри и размышлять о том, кто ты теперь — почта или багаж, но если выбрать более людное место, то чужая суета здорово скрасит естественное нетерпение. Люди торопятся, стоя на месте, будто могут приблизить событие. Ожидание — мука, её нужно терпеть. Вокзал — давно не радость, а испытание. Наверное, так было всегда, когда ездили медленнее, но торопились не меньше. Быть может, именно там говорили — Бог терпел и нам велел? Надписи этой нет, вместо неё — ларьки с угощением и утешительным чтивом. Глядя на пустые пути, есть от чего загрустить — железная дорога, как бесконечный пешеходный переход, где рельсы только соединяют шпалы. Они — будто вечная память о тех, кто шёл всё туда же когда-то пешком, о бесчисленных Иванах, Петрах, Ермолаях, что открывали нашу страну. Шпалы — эта пародия одновременно на лычки и пешеходную зебру — будто намекают, что не все тут пока генералы и комфорт езды нужно заслужить, а не хогите — скатертью дорога.

Читать и закусывать дорого, и лучше бесплатно смотреть. Зима где-то рядом, но печки пока что не топят, и нет ещё той уютной угольной гари, особенно отчётливой ранними зимними сумерками.

Посадка, толчая, узкий последний вагон. Четыре дня он будет болтаться по рельсам и с женским постоянством передаваться от одного тепловоза к другому.

Моя полка — в последнем «купе», и в течение всего пути мне не будет ни сна, ни покоя. Многие теперь будут проходить мимо со скрытой завистью и неприязнью. И дело тут не во мне, а в том, что в поезде трудно или почти невозможно скрыться, и теперь я вынужден стать свидетелем множества тайн.

Ложь и правда здесь относительное, чем где бы то ни было. Случайному попутчику можно открыть то, что мы скрываем от других в неподвижной и размеренной жизни. Потому-то многие располагают к себе собеседников и вялят им в уши всё, что ни есть у них на душе. Говори что хочешь, рассказывай о себе самое невероятное или запретное — он всё поймёт и всё благодарно выслушает...

Не все таковы. Мой сосед молчалив. Но он — до Казани, а дальше, быть может, подсядет другой. Попутчики выходят и входят, так что со временем от этой круговерти возникает чувство, что не они, а ты сам всё время переезжаешь с места на место.

Сомнительная привилегия крайнего купе вознаграждается доступом в единственный туалет — тот, что в начале вагона по-



стоянно закрыт. Почти как хозяин, я могу даже утреннюю очередь пережить с удобствами, сидя на собственной койке. Впрочем, на этом удобства кончаются.

Я кинул вещи под лавку, хлопнул крышку, растянулся и стал смотреть, как сверху возится, и никак не может уgomониться сосед. Мысль о том, что здесь невозможно скрыться, о соседе на полке вдруг сошлась с тем, что мы здесь похожи на книги, а поезд на передвижную библиотеку, где вместо корешков с узких полок свешиваются чьи-нибудь непричёсанные ноги.

Поезд трогается и набирает скорость, покачиваясь, как на волне. Связь с кораблём здесь чувствуется буквально во всём: от колыбельных вагонов до гудков и формы проводников — этих сухопутных стюардов.

Хотя провинция начинается сразу, будто из Москвы выезжаешь через крепостные ворота, но иллюзия столичности ещё сохраняется в платформенной высоте. Совершенно исчезает она только спустя несколько часов. Начало пути похоже на незаметный прыжок в небо, словно до этого поезд набирал скорость и вот, наконец, взлетел. Так что платформы превращают поезд из старинного «парохода» в экраноплан — недосозданного инженерного монстра. Потому-то, быть может, и кажется всё «замосковье» таким маленьким и ничтожным.

Последний вагон — единственное в поезде место, где можно увидеть дорогу. Я выходил в тамбур и смотрел в окно. Перспектива бесконечно сокращалась, пока поезд не поворачивал и не обрывал её вовсе. Но через минуту она восстанавливалась и опять длилась, будто бы я шёл спиной вперёд, а картинка поспевала за мной.

Мой собственный путь, что сначала крутился между столиц, теперь вытягивался только вперёд, как внезапно распутанный узел. И, вспоминая свои попытки разрубить его, теперь уже не сомневался — распутать важнее. Даром, что для этого нужно куда больше усилий.

Весь день сосед куда-то уходил. Очевидно, заводил знакомых в смежном вагоне. Я оставался один. За окном летели назад и вправо пригорки, ложбины, гремели невидимые мосты. А по низу лились вдаль и в сторону от пути реки. Мысли плали почти всегда по этим извилистым течениям, вместе с ними поминутно срезались краем окна и восстанавливались в другом, чуть изменённом, но каждый раз всё более привлекательном виде.

Все эти мосты и поперечные речки вроде бы и противоречили мечтам питерского земляка, что вождедел доплыть до родины на какой-нибудь хлипкой «марусе», но мечта эта была и не совсем фантастичной.

На карте вся Россия в мелкую полоску рек, будто разделяющих её на часовые и минутные пояса, так что мне тоже всегда казалось, что все российские реки бахромой бесчисленных речек, ручушек и ручейков соединяются между собой, так что всю стра-

ну можно проехать по воде. Но многоводье её с подвохом — страна похожа на выкрученную, в тщетном усилии выжать, тряпку — все западные реки текут на юг, а сибирские — на север. Как видно, Сибирь у Великого Выжимальщика зажата в правой руке.

Смотреть в окно вагона можно почти бесконечно. Рельсовый стук считает минуты, те переходят в часы, а за окном всё так же длится узкое жёлтое полотно, похожее на невыразимо длинную, оставшуюся от прадеда карту Транссиба. Сибирь на ней начиналась в Варшаве и кончалась где-то в потерянном Порт-Артуре, южнее Курил, всё не желающих стать вождельной Тисимой.

Прогибы проводов порой совпадали с ударом колёс на стыках и казалось, что огромный челнок обшивает эту жёлтую с синим канву. Заметили это и хохлы, что ехали в соседнем купе. Это стало понятным уже по первым, ещё не вполне человеческим тостам: «за Украйну», «за незалежность», «за мову», словом, за всё, над чем смеются «поганые москали». Впрочем, как и все хохлы в мире, говорили они по-русски, в такт поезду подгэкивая на каждом слове, и замолкая, когда очередной слабосильный москаль тащил по проходу тяжёлые сумки.

Сталась, лилась за окном «жовто-блакитная» лента. И хохляцкая к ней привязанность уже не казалась такой непонятной. Их государственный прапор был взят прямо из жизни. Он определял и время, и путь. Как перелётные птицы, они, собрав жатву, садялись на поезд и ехали в другие края за другим урожаем. И этот вырезанный окоёмом окна прямоугольник с салом на вилке, бесконечно отличал их прапор от барбадосского флага. Хотя, кто знает, быть может, там для них последняя станция и лучший приют.

Я ехал и думал. Множество встреч и событий последних дней, отправляли меня в неизмеримые прошлые дали — туда, где я уже был, но куда снова попасть никогда не сумею. Ведь здесь мы совсем не туристы. Мы не можем выбирать, а только следовать за неким неведомым гидом. Он молчит, но сами места, что мы посещаем, говорят нам за себя и своими голосами. Или это наш гид, подобно сатирикам, переиначивает голоса? Но тогда уж надо думать, что он как-то невообразимо талантлив. И тогда почему он работает гидом? Впрочем, зовут его не Марленой, и потому не хвалит он ничего. Он только показывает нам лучшее, которое мы не можем оценить по своему малолетству, а понимаем потом. И то ли вера в его слова столь сильна, то ли мы просто скучаем по нему, но всё, что мы вспоминаем, нам неизменно дорого...

И опять я смотрел за окно и вспоминал, что в детстве особенно любил всякие столбы и опоры. Они казались проводниками невесты куда. Но если провода за вагонным окном убегали куда-то назад, то провода опор тогда тянулись вперёд — в неизвестные дали, названия которых складывались теперь из непонятных букв на боках вагонов.

Чем дальше летел поезд, тем, казалось, всё сильнее наступала осень и будто меняла породу: тонкие российские берёзки понем-

ногу становились корявыми, косматыми деревьями... Уходила назад плаксивость их тонких веток. Они наливались, потом деревенели и уже торчали вверх белыми корневищами, меняя верх с низом.

Поездной туалет резко отличается от всех остальных сравнительной чистотой. Обычно туалеты у нас не моют по самой незатейливой логике: а что их мыть? — там же всё равно дерьмо! Не то здесь. Эти убирают по расписанию и в самый неподходящий момент. Вот и сейчас я уже было собрался, как мимо прошла проводница с ведром и хлопнула дверью — уборка. Я сидел на полке, ждал окончания и уже ловил на себе щекотливые взгляды соседей.

По сути, вагонный сортир — это гальюн, дырка на волю, простое старинное устройство, от которого, чтобы избегнуть конфуза, давно отказались на флоте<sup>1</sup>. И только здесь ничего не возят с собой, так что железная дорога — полоса плодородия. Быть может, поэтому и зарастают оставленные линии с такой быстротой. Страх перед этим не даёт замереть движению, и потому железная дорога — самый надёжный транспорт.

Будто на тысячу километров протянулась взятая ещё на причале мысль. Всё было так же, но колыхалась под ногами не палуба. И становилось понятно, что моё тогдашнее воображение странным образом удалило из памяти этот запах, с которым не может справиться ни проводница с мылом и хлоркой, ни даже ветры самых чудесных и дальних стран.

Уборка затягивалась, и, думая всё об одном же, я вспомнил все те туалеты, сортиры, гальюны, нумерованные горшки на ясельных полках. Всего этого было много. Их можно было бы коллекционировать. Для этого не нужно было строить какой-то особый музей — всё сохраняла память.

Хороший туалет — место творчества и свободы. Он избавляет от умственной пробки, так что на несколько минут приоткрывается какой ни на есть, но таант.

Коммунальные, с гроздьями лампочек и расписанием посещений, вспоминать не хочется. Эти коммунистические тупики, задним числом устроенные в торцах старинных барских квартир,

<sup>1</sup> Быть может гальюны — морские уборные старинного устройства — и существуют где-нибудь на туземных парусных лодках, но цивилизация повсюду отказалась от них. Как говорят моряки, произошло это в результате ошибки. Камбуз — корабельную кухню, что также находилась в носу корабля, один из пассажиров перепутал с гальюном, отчего и вышло то, что мы называем конфузом. На этом история обрывается, но очевидно, во избежание путаницы, одно из заведений убрали, сделав из него ещё один склад. В этом виделась бы известная застенчивость моряков, не пожелавших подписать самое нужное место, но масштаб перемен заставляет предполагать невидимую, но сильную руку, что организованно действует по всему миру. Чья она — доподлинно неизвестно, но сам стиль выдаёт организатора с головой. Как за 11 сентября стоит бородачатый Бен Ладен, так за корабельной уборной — могучий Грин Пис.

столь же бездарны, как идея поближе придвинуть их к кухне. Там не читают — рекламный глянец в фанерной коробке почтения не вызывает даже у глаз.

Куда лучше — деревянные, простой, незатейливой архитектуры. Они, эти откровенно-застенчивые места — первые здания. Говорят, цивилизация начинается с них. Не иначе как там придумал поэт своё вдохновенное: «сюда не зарастёт народная тропа»... А, может быть, и писал он о них, точно так же, как приветствовал младое племя в лице трёх сосен, а вовсе не пытливых советских пионеров. Не вчитались, не поняли. И вешало школьное начальство этот лозунг на стены каждого класса, в нём, как в зеркале, отражая только себя.

Не то «мастодонт» в Городке. Из деревянных сортиров он самый основательный и так высок, что кажется двухэтажным, за что и прозван неповоротливым именем древнего слона с вислыми от тяжести бивнями.

Стоит он над самым обрывом и знаменит своим видом. Подойти к нему сзади нельзя, и, может быть, потому задней стены у него нет. Так что вошедший сначала подолгу смотрит на реку, а потом садится к двери спиной и начинает мечтать. Здесь место мечтателей и даже поэтов.

Стены «мастодонта» исписаны сплошь, так что не знаешь, что есть первопричина таланта — то ли искра его умножалась на вид, а то ли образ востока разгонял дарованье.

В «мастодонте» охота остаться подольше, но рядом вокзал и задержаться можно лишь на заре. Стоит чуть затянуть, и вот уже кто-то ломится в дверь.

«Мастодонт» — один. Но родина велика и много в ней домиков на отшибе. По сравнению с «мастодонтом», этим неторопливым лайнером, все прочие — юркие глассеры. Всё в них для скорости: вид, место и смрад. Потому-то в них меньше поэзии и больше простого похабства. Но оно — не от испорченности натуры, а знаменует юношеское начало в таланте. Всё здесь намёк — поспедай! Всё для того, чтоб прожить без задержки. Но если бы временно очистить воздух и «повесить» картинку, чтобы новый творец задержался подольше, язык наш пополнился бы чем-нибудь совершенно особым.

Да, таков туалет в своём первозданном и законченном виде. Даже утопическая грёза о золотом нужнике на Красной площади не внесла в него новшеств. Мелодия гимна не давала бы засидеться. Позволить себе раздумья можно лишь дома.

Не то иностранцы. Эти пользуются туалетом без задней мысли. Полжизни в сортире требует чистоты. Странно, что их унитазы и вовсе не предназначены для главного. Вся красота линий, все новейшие технологии рушатся после того, как из воронки с голубоватой водой летит в твоё самое нежное место ответный фонтан. И всё решается просто — расстеленной на воде салфеткой.

Наши — другое. Они — инструмент гигиены: наклониться, рассмотреть и увидеть то зло, которое привело тебя сюда с оше-

ломляющей силой, подобной амоку, этому смертоносному малайскому бешенству. Кому не знакомо оно, нарушающее все приличия и запреты, отрывающее пуговицы на пальто, стучащее уличной обувью по коврам и паркетам и врывающееся без пропусков и условностей в любые конторы? Прежний стыд становится чем-то ложным и глупым. Прочь размеренность! Скорость — вот спаситель и высшая правда. Терпение здесь аморально, оно — совершенная глупость, способная привести к катаклизмам. Ведь если бешеные малайцы лишены покровительства законов, то наш Набоков лишил силы закон. Кто знает, что было бы с нами, если бы на коронации Последнего Николая дедушка литературного фальшивомонетчика сбросил сановную спесь, подхватил бы корону подмышку и кинулся в укромную темноту, а не измарал мундирных штанов?! Провидцем был автор «Вестника Европы», когда за годы до этого писал о нём, как о капитане, что выбросил за борт часть груза, чтобы спасти остальное. Сказано верно, ошибка в трактовке — «остальное» оказалось наименее ценным. Перед конфузом создателя бесилен даже Закон. Наверное, куча фекалий на астраханской площади, позднее так удивившая английского философа, была не только зарёй конструктивизма, на фоне которого гипсовый костромской Иуда был классикой жанра, но и памятником семейству эксминистра финансов. Но всё к одному: в образе — честь, по сути, насмешка. В конце концов, и то, и другое простояло недолго — преданных дураков не любит никто...

Хлопает дверь, проводница идёт обратно. Я — первый и пусть себе хмурятся все дальние и ближние — покупать билеты нужно уметь!

Стульчак в поездном туалете — совершенное излишество. Он неизменно крепится при сборке, но прикладного значения не имеет — сесть на него невозможно. Он — то ли память лучших времён, то ли венок на безвестной могиле инженера-поэта. А, может, это особый психологический трюк, вроде приправы — усилить желание поскорее добраться до дому. Только там можно присесть без брезгливости и опасений упасть. Здесь равновесию слушит косяя железная ручка.

Странно, что «удобствами» у нас называют в основном туалеты. Они наименее неудобны, за что ни возьмись. Вот и сейчас: уборка воняет ядовитой хлоркой, а потом всё время дерьмом — не засидишься! Я вспомнил Рокаса, его негодование по поводу наших сортиров и задорно подумал: «Пусть негодуют, лишь бы боялись. Уже одно это остановит на границе почитателей дефекального комфорта».

И снова окно. За ним пролетает огромное скопище стран. На карте они кажутся островками. И только по мере приближения они увеличиваются, будто замедляется скорость. Невозможно отличить одну от другой. Границ нет, и только давно позабытая география могла бы сказать, где мы: на Черноземье, в Татарии, на

Урале. Образ народов можно бы представить себе по названиям. Но это обман. Слова совпадают случайно. И давно ясно, что в Англии ангелов нет, Италия не помешана на гимнастике, а Франция ничего не носит в ранце. И любое совпадение звуков объясняется только иностранным недоумением. Ведь обычно эти языки не перепутаешь ни с чем. Говорят на них по-своему — справа налево или просто меняют буквы местами.

Всё здесь так, как в географическом лото, где нужно было накладывать карточки с именами гор, рек и стран на вопросительные квадраты. Некоторые были потеряны уже тогда, и оставалось гадать о величайшем русском открытии или о том, из какого озера вытекают две реки. Это потерянное будто вернулось сейчас: граничит ли Башкирия с Мордовией? Пуховые платки будто бы говорят за Башкирию, но финские лица мастериц твердят совершенно другое.

Эти платки особо удивили бы очередного Кюстина, что описал бы их в своём новом навете как предвестье Сибири и злую насмешку властей — сослать и охранить от вечного холода с тем только, чтобы продлить мучения. Но, возвращаясь домой через Владик, он никогда не узнал бы, что их продают и тем, кто едет обратно. Они связаны не с Сибирью, просто Мордовия — по дороге домой.

Железная дорога не даёт представления о размерах страны и расстояния измеряются временем. «День пути» — та же мера, что километры. Это окончательно проясняется на азиатской границе. Казалось бы, сто́ит подъехать к Уралу и промежутки между станциями должны многократно увеличиться, а сами станции сократиться до точек на карте. Но это, конечно, обман. Станции не становятся меньше и людей ровно столько же. Просто все селения здесь жмутся к дороге. Но если перекинуть взгляд через них, то можно увидеть пустыню.

Как дети рисуют волны кривой синей дорожкой, совмещая её с доньями своих кораблей и оставляя по краям белое поле, так и «железка» — та же волна с бесконечной равниной по сторонам. Зимой она представляется настоящей пустыней, где снег заменяет песок, а вода и тепло в ней — богатство. И потому, когда уже выпиты горилка и водка, пассажир, как конь на возвратном пути, горячит себя чаем, вприкуску с белоснежным десертом за каждым окном.

Словесия давно отменили, но в поезде они есть. Начало путей — хитрый железнодорожный мозжечок, от которого я отъехал — разводит противоборствующие классы по разным вагонам и властвует над ними пряником и кнутом. Кнут достаётся общим вагонам, а плацкарта, чтобы не платить за дорогие пряники, предпочитает то и другое лишь нюхать.

Мечты о лучшей доле только тлеют и вполне безопасны. Из всего набора революционных захватов покуситься здесь можно разве на бойлер. Как в купе подспудно грезят о разговоре и ка-

ком-нибудь деле, так и в плацкарте мечтают о купе, куда чай разносит специальный чайный человек. Там не надо ждать у нагревателя, изображать из себя моряка — искать шаткое равновесие в опасении вылить чай на соседа. Зато плацкарта — это наука радоваться всем мелочам, а не только большим.

Лучшая чайная доля в первом полукупе. Тем самым оно сходится с последним. Рекламный ролик жизни: поесть — родиться, оправиться — умереть. Вагон — как ущербная шахматная доска: ходить здесь можно только прямо или буквой Г. Так что все пассажиры — некая смесь туры и коня. И хорошо, если партия не закончится до конца дороги, когда взбешённая «тура» бежит к начальнику поезда, чтобы обрушиться на него восьмизэтажным, по счёту клеточек, матом.

Дорога — костяк страны. Она накладывается на карту извилинами центральной России, продолжается хребтиной Сибирского пути с редкими рёбрами веток и длинной ногой. Вторая — «Маньчжурия — Харбин — Порт-Артур» давно отвалилась.

Понемногу эта «костяная» мысль обрастает плотью, подобно тому, как некогда в чьих-то неизвестных головах принимали вид и имя созвездия. Но, как трудно уловить мысль звездочётов, почему те звёзды — Весы, а эти — Кентавр, так здесь всё легко. Ведь ещё в школе при взгляде на карты кому не казалось, что Новая Гвинея похожа на петуха, Италия на сапог, Скандинавия на амурского тигра, Украина — на присевшего по нужде бегемота, а Сахалин — на Рыбу, которую поймал, но не смог уберечь старый Сантьяго. И понемногу мир переходит в картинки. Стоит отнять, и несовместимое распадается. Расчленённый Союз из подогнувшего передние ноги коня становится лежащим на спине рентгенчеловеком. Сквозь прозрачную плоть видны извилины мозга и позвоночник пути.

Посреди мечты — остановка. Поезд тут же трогается, но в проходе слышны шаги. Они всё ближе и теперь, может быть, я не один. На подходе семейство: муж, жена и девочка лет тринадцати. Папаша деловито поднимает нижнюю полку, ставит багаж и оборачивается ко мне. Я уже понимаю, что сейчас меня будут теснить. Жена и дочка ждут. Девочка изображает утомлённую невинность и с размаху садится мне в ноги. Надежды случились. Но всё не так. А как? Чего я ждал? Что в купе подсядут хлебосольные селяне или разговорчивая старушка — вдова офицера-героя? А, может, прекрасная незнакомка? Но вот же она. И кто скажет, какой она будет лет через пять? Это сейчас она ковыряет в носу, обкусывает губы и сеет по углам неприязнь: к поездке, родителям, порученной сумке. Она так и норовит уронить её или ударить ногой. Вот, нарочно поставила в проход: вдруг неуклюжий хохол споткнётся и хлопнет бутылку с вареньем?! Микола, уже почти Николай, и вправду встаёт и идёт в туалет. Девочка затягивает ноги на покрывало и ждёт. Но хохол осторожен и ловок — бутылка остаётся в живых.

В ответ на поползновение папаша сутулюсь и старю лицо. Угроза легчает и поднимается вверх.

Девочка пытается занять низ, но отец повелительно хлопает по полке. Она не слушается, и со злостью смотрит ему на лицо. Отец ли он ей? В каких отношениях находятся все эти люди: раскисшая уже и порядком обабленная дама со складкой на шее, девочка и их повелитель.

Борьба за нижнюю полку продолжается. Кого я буду наблюдать снизу? Неужели его?

Я уже понимаю, что непременно узнаю всю их историю из первых рук, но всё же пытаюсь решить для себя, для пустого интереса — кто они: эта девочка, дама в «Аляске», мужик в пиджаке на спортивную куртку...

И мне кажется, что все они — люди друг другу чужие. У них нет общих черт. Особенно это видно по девочке. Она всё делает поперёк. Но кто-то должен быть её родственником. Конечно, дама — её мать. Отсюда и противоречие на каждом шагу. Она не хочет быть похожей. Но удастся ли отделиться?

Даме лет тридцать семь. Она из тех, измотавших саму себя вечными сомнениями, недоумением, злостью. Быть может, она и пыталась что-нибудь сделать. Но сил бороться с всемогущей воронкой, что засасывает людей в себя, не хватило. Уже давно она малодушно опустила руки и теперь носится по кругам житейского «мальстрёма». За прошедшие двадцать лет она так и осталась никем. Что помешало? Скучные способности? Отсутствие идеалов? Точки оттолкновения, отвращения? Вот у дочери она есть. И мать для неё — это даже не точка, а клякса, что пытается молодежавой одеждой утянуть свои обрюзглые формы и скрыть укоренившийся в морщинах глубоко порочный образ повидавшей виды стареющей дамы.

Она присоединяется к мужу, и в купе становится тесно от громких фраз. Тушуются даже хохлы.

Выяснение отношений редко что-то решает. Это тот процесс, который идёт сам по себе. Он почти всегда собирает густые тучи, под которыми не видно земли.

В бесцеремонной манере новых соседей включаю радио. Розенбаум. Но это не лучше. От его «пожиалых» песен тошнит уже через минуту. Будто в ответ на это девочка подчиняется и раздражённо лезет наверх, к «стене просвещения». За нею кашляет, охает и плюётся хохол.

Повелитель деловито прекращает воспитание, одобрительно прибавляет звук и протягивает руку:

— Вова.

— Всеволод, — жму я в ответ.

— Ну вот, почти тёзки, недоверчиво ещё шутит он. — Покурим? Он снимает пиджак, и мы выходим в тамбур. Железный грохот бывает лучше иных симфоний.

Будто заподозрив меня в сомнении, он начинает объяснять и за две сигареты оправдывает мне всю свою жизнь. Я узнаю, что



ему 32. Что он — торговый агент. Что женился три года назад. Что Надежда старше его, но в приданое светил дом. Бить клинья начал так, наудачу. Те развелись, женился. Но пока суд да дело, муж возьми да повесься. Страховку за кредит не отдали, и приданое оказалось наследством с долгами. Ближайшие двадцать лет — кабаала. Дом, конечно, хорош, но морально устарел... А тут ещё Марианна — довесок.

Я слушаю это всё, глядя в окно, и переключиваю прежнюю перспективу уже на него, на неё, на них. Они всё надеются, а она всё уходит. И нет такого закона, который бы повернул её вспять.

Идём назад. Новый сосед поднимает с полки жену, роется в сумке, вытаскивает какую-то шпигу из клиньев скуфейку, отдалённо похожую на папскую тиару, надевает и лезет наверх. Полка скрипит и проседает. Будь это кино, где-нибудь сверху замигала бы надпись: «Опасность».

Забираюсь под одеяло и пытаюсь продолжить прежние мысли. При взгляде на Марианну мечты путаются, но зато приобретают формы.

Урал — чуть набухшая грудь девочки-подростка. Под головой — подушка. Она подтянула ноги, положила на колени журнал, сосёт соломинкой из банки зелёный коктейль. Жизнь её ещё коротка, и всё в ней — игра. Но взрослые уже видят её подобной себе. Ей уже примеряли «тиару» отчима, но она мечтает о диадеме отца — Константина. А отчим всё хочет занять его место, и диадема упрятана в шкаф. И будь они настойчивее, внимательнее, хитрее, быть может, она бы и делала так, как они захотят. Но зорка только она. Вся её настоящая жизнь в одном: пока никто не видит. Она уже пощеголяла в материнской Аляске и длинноносых калифорнийских туфлях. Но, видно, пока рано. Она ещё слишком мала, и потому всё это — только игра. И дела ей нет до сползшего гетра Камчатки.

Марианна — будто два имени. И первое ей пока не идёт. Сейчас она именно Анна — бойкая, скандальная, черноволосая «выдерга», способная на коварство, подлог и даже убийство. И мне представляется кровавый сюжет Гамлета в юбке, который со злой ненавистью протыкает соломинкой мать вместе с Вовой. Но и она понимает, что это только пустая мечта — соломинка никогда не превратится в шпагу. Пока защитить её некому. А может быть стоит лишь подождать, окрепнуть, и всё будет иначе? Дом перейдёт к ней, матери, конечно, пуховую перину и дальние путешествия, а отчима в подвал — на цепь, на хлеб и на воду.

Дом стар. И кто прежде здесь жил — неизвестно. Так что всё кругом — тайна. Она уже нашла старый подвал и облазила ближний чердак. Флюгер — маленький мишка, ей по душе. Он заржавел и смотрит на север. Так что, если отчим не смажет его, в этом доме всегда будет дуть южный ветер. Он — всё та же надежда: не переменится ветер, быть ей царицей. Но всё это — только мечты.

За дом платить ещё долго, может быть, до тех пор, пока она не станет такой же, как мать. Платит пока не она, да и не будет он её домом. Она уже затаила главные мысли — уехать и никогда не возвращаться.

По тому, как Марианна стискивает ноги, я чувствую, как отчим косится на неё с раздражённым сладострастием и вспоминаю эту «моральную устарелость» их дома. Но дом здесь вряд ли поможет. Мне жалко девчонку, но ничего не поделаешь. Там своя жизнь, свои порядки, свой путь. В конце концов, всякий решает по-своему: как, кем, с кем и где ему быть...

А пока она лежит на спине и смотрит в точку на потолке, которая кажется ей вожденной звездой. Потом обида пройдет. Взгляд перекинется на журнал. Но читать она не будет. Разве посмотрит картинки. Её мучает какая-то подспудная страсть, ей чего-то хочется, но чего именно — эта венценосная Лолита не знает. Журнал упадёт на живот, которым когда-нибудь прирастёт Марианна. Кто только будет разрабатывать это богатство? Не этот ли отчим в скуфейке? Вряд ли. Тогда — точно убийство.

Но, Марианна — не имя царевны. Царицами с таким не становятся. Хотя, чего не бывает. Всё меняется. Ведь даже пустыня за окном скоро уже будет домом.

Утро. Поезд подходит как бы к почтовой столице. За окном пути, стрелки, опоры, провода, старинный паровоз в тупике, депо, и дальше потянулись составы. Ждать здесь долго. Отцепят и поменяют вагоны, подгонят новый локомотив.

Станция с одним из тех названий, которые невозможно запомнить. Главное украшение — старый вокзал. Он из тех станционных строений, которым за сотню лет. Этот старинный, одинаковый стиль был единственным, что сохраняло в неприкосновенности тот самый Великий Сибирский Путь. Вокзалы Транссиба — нечто среднее между китайской пагодой и гарнизонной казармой, где загибать кончики кровли по уставу нельзя. И такой вот китайско-казарменный стиль тоже объединяет крайние точки. Даром, что гарнизоны давно не стоят в Варшаве.

Глядя на станцию из окна, можно заниматься чем угодно. Самое простое — чтение непонятных слов на боках вагонов. Читая эти русские буквы, понимаешь вовсе не то, что они действительно значат, так что выходит совершенно иностранный язык. А те, кто мог бы перевести, то ли совсем никуда не ездят, то ли для них существуют особые поезда. Их никогда нет среди пассажиров. Как видно, они не тратят положенные им льготы на бесплатный проезд и тянут свою лямку, как великую службу — не для наград, но для всеобщего блага.

Станции вводят в сомнение. На каждой из них своя жизнь. И даже если в стороне от пути встречается одинокая хибарка с дымком из трубы, до которой от ближайшей станции ехать и ехать, там всегда живут люди. Как живут и что делают — непонятно. И порой откуда-то падает мысль — остаться. Но это — подвох. Оставаться нельзя. Нужно ехать туда — до конца.

Семейный рассказ: эвакуация. Месяц пути. Телячий вагон бесконечно отстаивался на полустанках — пропуская составы на фронт. И главным богатством был кипятилок. Соседи по вагону — чернявая семья из Херсона. Глава — Иосиф Борисыч — толстенький и бойкий, жена — Наина Семёновна, близнецы — Аркаша и Лев. Иосиф Борисыч никогда не расставался с округлым чемоданчиком, и театралка Мария Игнатьевна за то, но и за сноровистость, быстроту и брюшко прозвала его впоследствии модной балеткой. Поезд остановился на станции N. Соседний путь был свободен и у вокзального здания дымил вожделенный парок. Невзирая на семафор, Балетка рванул за кипятком. Он уже подбежал к очереди, когда дали зелёный и на путь медленно встал фронтовой товарняк. В его вагонах сдержанно шумели, платформы под брезентом рисовали стволы и колёса. Мерный стук сапог часового. За вагоном глухой разговор и шаги. Балетки всё нет. Тишина. Ожидание. Волнуются все: Наина, близняшки, спутницы-дамы. Лица поочерёдно выглядывают из раздвинутой двери.

Вагон тронулся так тихо, что показалось, уходит военный эшелон. Глухие звуки разговоров затихали, а вместе с ними неторопливо уходил и часовой. Балетка показался в далёком про свете, когда паровоз уже набирал скорость. Он бежал так, как будто за ним гнался убийца. Сыпался и отлетал в сторону чуть прибитый морозом гравий. Кипятилок хлестал по штанам. Пар смешивался с паром дыхания, так что Балетка был весь окутан им, напоминая собой малорослый, но проворный паровоз. Он почти настиг вагон, когда тёзка-чемоданчик открылся, и оттуда посыпались какие-то разноцветные пачки, похожие на картонные колоды. Встречный ветер рвал их, и синие, красные фантики разлетались по ветру. Деньги. Растерянность на лице, чайник в руке. Но Балетка только прибавил ходу. Наддал и паровоз. Ненужный чемоданчик полетел в сторону, и вот уже восемь рук втаскивают бедного Иосифа внутрь. Вместо лица — испуг, штаны мокры, в руках пустой чайник.

Полчаса бледный и мокрый Иосиф лежал плашмя и только хрипел. Рот его пенился чем-то коричнево-красным. В тот же день он бросил курить. Неделю молчал, укоризненно глядя на небо. Потом рассказал, как его не пустил часовой, как он бежал, как лопнул замок у балетки... Теперь уже замолчала Наина. Дальше были две недели тишины. Что думал тогда Иосиф Борисыч? Чего он так испугался? Теперь не спросить. Впрочем, кто знает, что случилось бы, не догони он состав? Долго бы прожил Балетка со своим «кошельком» один на станции военного времени? Что бы делал он там? Выпил бы весь кипятилок? Подженился на солдатской вдове? Стал бы завмагом? Был бы взят патрулём и расстрелян, как диверсант?

Вагон оживлённо загадел, зашуршали газеты; сало, хлеб, картошка и вся ещё богатая снедь полетела в сумки. Соседи собрались. Ещё чуток, и они уже дома.

Провинциальные перроны не созданы для мечтателей — смотри под ноги, ты на земле.

Остановка длиной в шесть часов. Всегдашняя проблема — найти, чем заняться. И благо, если она не случается в воскресенье. Смешное слово. Для нас, земных обитателей, почти ад, где всеобщее безделье заводит в тупик все желания. Не то, конечно, на небе. Там всё исполнено и забыто, и знай себе, лежи на софе, stai которых пролетают над головой.

Продавцы на перроне — полная противоположность старинным купцам. Не они, а к ним привозят покупателей. Им лишь остаётся поджарить пирожки, семечки, запастись пивом, лимонадом, леденцами и выйти. Они выходят так круглый год, много лет подряд, и от этого складывается какая-то особенная, благожелательно-равнодушная манера: возьмёшь — хорошо, не возьмёшь — ну и ладно. Говорят они странно — сквозь губы, отчего глотаются звуки, будто ветер залетает им в рот. И способ понять их — перевести взгляд на товар. Хохлы — эти «харчовые мастаки», презрительно смотрят поверх продавецких голов и степенно говорят о чём-то своём. Эти вечные путешественники знают — путного здесь не купить.

Странно смешаны лица у местных. В них черты многих народов. И этот вавилонский итог тем более смешон ввиду отсутствия и намёка на башню. Урал — вроде фильтра. Из тех, что бежали дальше, кто-то остался, женился, прирос, а остальные, будто очистившись, пошли без оглядки вперёд. И там, дальше, у нас немцы остались немцами, русские — русскими, татары — татарами. Дальняя дорога сблизила их по-другому. В Сибири уже нет товарищей, ни господ. Все — земляки.

Через рельсы в город. Впрочем, это не город, а поселение. За станцией — громадная, больше похожая на пруд лужа. Обойти её можно только по окольным кривым переулкам.

Иду вперёд, в надежде найти то ли местное чудо, то ли ещё что-нибудь из того, чему можно если не удивиться, то хоть оставить на память. Не всё же так плохо?! Но нет ни музея, ни приличного магазина. Несколько часов кривых заборов, чуть подсохших обочин и пустоты...

До поезда оставался какой-нибудь час, когда я вспомнил, что где-то здесь, на этой, вроде бы, станции, почти век, как умерла прабабка. Шевельнулось желание — пойти, отыскать, постоять. Увидеть забытую навсегда могилу. Но невозможно. Полчаса, и снова дорога. Да и не та это станция, а если и та, то давно уже нет ничего — слова «хоронить» и «хранить» давно разошлись по разным углам...

Тогда, в 19-м, прадед получил назначение в столицу. Но скор телеграф, столь же нерасторопны поезда Гражданской войны. История смутна. Жена заболела почти сразу. Где-то чуть дальше Перми начались горячка и бред. Не помогли ни бумажки с новым инструментальным гербом, ни любовь к сыновьям, ни молитвы... Бог милостив — тиф неумолим.

Остановка. На последние деньги — к врачу. Поздно. Попа нет, но весенняя могильная вода сводит воедино крещение и отпевание. Перед «погружением» новый обряд: платье режут на полысы — теперь не разденут, не украдут.

Задержка стоила места. Вдовец и двое детей застревают на станции с дужей. Новый приказ из столицы: — оставаться на месте. Жильё, кабинет. Два месяца и расторопная пишбарышня-секретарша становится новой женой. Жизнь немедленно попадает в редакцию — фото, там, где с покойницей новенький муж, любовно обрезаются, как потом вырезались висевшие над его головой портреты огрешных вождей. Все другие, где только она — летят в печку. Обман столь искусен, что дед только на пенсии обнаружил подмену — мать в перемать. Но всё уничтожить нельзя. И несколько фотографий остались в столе под старой газетой, которой, будто ради одной чистоты и порядка, были выставлены ящики.

Поезд гудит, проводник торопит. Коробейники в последний раз идут на приступ, но отступают.

Сажусь на полку. За стеной разговор. Новая бабка угощает хохлов домашними пирожками. Лежу и завидую. Почему не ко мне, почему к ним подседа старушка? Но плацкартное одиночество — невозможная вещь. Лежу и слушаю этот разговор за переборкой. И начинаю думать о бабках. Пройдя все этапы, — от девичьей глупости, женского упрямства, материнских забот, поклёванные и побитые мужьями и жизнью, они уже оставили в покое всё то, что мешает жить. Женского в них почти нет, и поэтому слушать их интересно. Уютные старческие морщины, будто мозг на лице. От этого и самого разговора кажется, что думает она только лицом. А потому ей нечем лавкавить, не о чем и незачем врать.

«...вот так и чесался. Спросил Катьку, жену, дочку мою: посмотри. А она говорит: бородавка. Месяц, другой — бородавка растёт. Уже и спать неудобно. Он к врачам. Те, дескать, вырезать надо, а то, кто его знает, может вылезти рак. Мишка и согласись. Лёг в больницу. Резанули. А через неделю он и помри. Вот так. Молодой. Тридцать пять и уже на покой. А тут уж не знаешь, куда деваться. Да я вот три дня, как у попа обходную взяла. Скоро, глядишь, тоже туда повезут, а пока попроведаю внуков»...

За окном меркнет. Уже поздно. Валит усталость. Закрываю глаза. Бабка ещё что-то бормочет. Но вот голоса нарастают и слова теперь непонятны: *Рона кимать, полумеркот, рыхло закуре-щат ворыханы. И чуть погода: Да позагорбил басве слемзить: гируха басвинска ухалила дряботницей.* Это даже не мова, не суржик, а чёрт знает что. Очевидно, подсел кто-то из тех — коробейников. Они и вправду какие-то странные: не татары и не русские, так что чёрт их поймёт. И как он втесался к хохлам? Гоните его, не жрите этой дряни, а то не видать вам больше ни горилки, ни сала, ни дальних прекрасных краёв.

За окном тянутся низкие горы. Красная громадная луна висит на плече. Она освещает удивительные выпуклые, перекинутые через пропасти, похожие на римские виадуки мосты. Избушка — единственный сторож этих неведомых мест. Из году в год она исподволь вытягивала мысль о возвращении. Я ненароком думал — уехать, остаться здесь и только смотреть на поезда. Но потом понимал, что эта всё та же бесконечная дорога. Ведь и в Питере мимо окна проезжали шахи и президенты, провозили кости царя, а я был только свидетелем. И эта избушка становилась не человеческим жильём, а чем-то из страшных угорских сказок, только остановкой во времени, одиноким и вечным вагоном.

И каждый раз эта избушка, и луна, и мосты, грохот тоннелей и колёсный стук будто выговаривали что-то, напоминали, дразнили хохлов, говоря: жовто-блакитный, жовто-блакитный... Жёлтый свет памяти и голубой — детства. Между ними как граница, через которую перекинут мост.

То же было теперь и со снами. И фраза эта была будто одна и та же, но всякий раз поворачивалась по-разному. Она словно длилась. Но время сместилось. Сна не было. Он только бежал, догоняя нас и, подобно страшным грёзам Балетки, никак не мог запрыгнуть на подножку.

Иногда вместо снов нас посещает какой-то невидимый небесный собеседник. Приходит он не сам по себе, а когда что-то особое трогает и заставляет прожить прошлое дважды. Разговоры с ним всегда помнятся утром, а иногда застревают навсегда. Для этого нужно, чтобы мысль перешла в сон. Так и теперь, когда в быстрое окно глядит неторопливая и равнодушная луна.

Она отразилась в избушке, сорвала меня с полки и кинула к мосту. Я будто бегу через пропасть. Деревня. Мама и бабушка у стола. Дед на кровати. Уже не кашляет, а хрипит — умирает от рака, но не сдаётся. За поздние прогулки я «арестован» и сижу на печке. За окном странно светает. Охота выскочить, и я машу бабушке. Она прикладывает палец к губам. Под прикрытием взрослых выхожу на улицу. Над холмами красный свет. Идём тёмной дорогой. Над холмами встаёт край луны — непомерный красный горб. Всё вокруг залито его светом. Видно, как в овраги сливается пар. Кузнечики тихнут. Мы стоим у прясла и смотрим. Тишина. Что-то случится. И будто бы кто-то отчётливо говорит мне: запомни, этого больше не будет. Чего не будет — не понимаю и отношу «это» к луне. Она дрожит, как налитый водой детский шарик. Ещё секунда и лопнет, затопит вокруг. Бабушка опасливо трогает за плечо — пойдём.

Дед лежит на спине и что-то бормочет. Тихо, потом громче, так что слышно слова: «Васька, вода гаубока, телегу утоплю. Ты меня подожди, я щас. Дай только Моряка запрягу».

Я гляжу на бабушку. Она смотрит в угол на икону и беззвучно шевелит губами. Мама толкает к двери — спать. Я молча упрямяюсь. Дед поворачивается на бок и замолкает. Полночь. Арест снят. Бабушка останавливает ходики и закрывает деду глаза.

Но всё это — только воображение. А настоящая Луна выходит и давит, что есть силы на мост. Он рушится там, откуда я только что прибежал. Поворачиваюсь и бегу дальше, к тому берегу. Но как же поезд? А поезда уже нет, как нет и луны.

Что-то дёргает и свистит. В голове начинают крутиться какие-то ролики. Сквозь железные ухабы дороги ловко скачет фургон. Я ликую — мы едем в деревню!

Домá на высоком пирожке взгорья. Заросшие муравой улицы. Огород склонился к реке и неспешно пьёт воду. Он — поле чудесных находок: кресты, лошадиные зубы, татарская стрела с дыркой. С ней я удачно охотился на ворон, цепеневших от её визга. Наконец она воткнулась в верхушку берёзы. Не поднимись буря, я спас бы её. Охотник мотался сверху и орал благим матом, а мама вскидывала руки и о чём-то заклinalа низко летящее небо.

Легко и весело бежать по пыльной и тайной, укрытой ботвой тропинке вниз, где за калиткой сразу врежешься в крапивные буйные джунгли. Крапива так толста, что едва охватишь рукой, а иголки проколют ладонь насквозь. Невозможно поверить, что весной, сквозь сухой прошлогодний бурьян, робко зеленеет её нежная молодость.

В неимоверной высоте крапива склоняется в строгую арку. Но в пылу июля и тень её не безопасна. В особенно жаркие дни, в надежде на дождь, по старинной примете, меня посылают посечь крапиву. Деревянной сабелькой я с упоением предаюсь этому бессмысленному занятию, избивая мнимых врагов. И вера в чудо иногда подкрепляется и собиравшимся дождиком.

Речку легко перепрыгнуть. Но однажды я чуть не потоп в единственной, может, на всей речке яме прямо на глазах у двоюродных братьев, которые издевательски-недоверчиво свистели над моим отчаянием.

Если лечь на другом берегу и подставить глаза к воде, то крапивные заросли кажутся непроходимой еловой чащей. Однажды я схоронился там от стада свиней, которые ходят по деревне совершенно как в раю, и роют кочки на берегу речушки, куда стекаются отличные рыболовные черви.

За спиной, против деревни, увалы — протянутая к реке культяшка огромной лапы со средним уцелевшим пальцем — Татарский елбан. На его плоской вершине ветер косматит ковыль.

Тут же яростная вечерняя рыбная ловля. Пескари, окуньки, линьки беспрестанно летят в котелки по десятку в минуту.

Наша рыбалка — по маленькой. Не то дядя Серёга — лихой рыболов. Три его удочки вытягивают из глубин целые вёдра великанов-карасей. Он знает, где будет клевать настоящая рыба. Но гений рыбалки — пьяница — младший сын пьяного семейства с рыбной фамилией Китовы.

Канавы поскóтины отделяет луга от полей. На краю — могилы домов — всегда пустые, заросшие всё той же крапивой ямы. В войну здесь жили переселенцы с Поволжья. Работящих и крепких, помнят их не добром — бабий вой над похоронками живо откли-

кался близким отголоском разудалого немецкого смеха. А потом и дед вернулся из плена... И спустя двадцать лет, когда тётка вышла замуж за Штольца, кроме бабушки, на свадьбу никто не приехал.

Деревня — отъезжее поле. Здесь охота не столь изысканна, как в городе, зато совмещает удачу и пользу. Здесь нет уже резных самострелов и проволочных пулек. Здесь царство рогатки и битого чугуна. Полёт его точен и смертелен. Вороны идут на путала, а голуби в суп и жаркое.

Дом пропитан сизым махорочным дымом — первый запах деревни. Бабушки нет, и дед беспечно смолит в потолок. Над его головой лениво буксуют густые дымные кольца. Нашему приезду он рад, хотя не подаёт и виду. Нарочно медленно обнимает он мать, степенно здоровается с отцом. Мне внимания больше всего: «Кхм-бормота привезли»... О бабушке машет в сад: «Вон, нарцисов своих разводит». Она появляется сама с охапкой нарцисов — нас ждут.

В разговоре с бабушкой дед пользуется только одним словом, меняя лишь тон. «Софья!», и стол уставляется праздничным обедом; «Софья?!» — и из-за образа достаётся праздничный шкалик.

Выпить дед любит не один, но поддержать его некому. Он стар, слаб и держится только до третьей рюмки, где недобрым словом поминает власть, а на пятой начинает говорить «понемецки», где некоторые слова очень похожи на русские, которые мне запрещают слушать.

Встаём поздно. На столе топлёное масло, сметана, варенье. Бабушка печёт блины. Две сковороды снуют в печь так быстро, что мы втроём не успеваем подьедать — один блин всегда в запасе. Дед поел спозаранку и теперь держит газету. В «Правде» читается только погода, объявляется ложью, и газета идёт в раскурку.

Он почему-то не любит Пушкина, а все разговоры приканчивает одинаково: «Глупые вы ишшо». Своё презрение к разуму он показывает из вредности. На деле он умён и удачлив. Он воевал в пехоте, попал в плен, трижды бежал и остался жив.

О нём рассказывают истории. Будто однажды он поехал в город да забыл бумажку с адресом и спросил у первого прохожего мужика: «Слышь, ты, Федька-т Романов, где живёт?» — «Да вон, в том доме, в тридцать третьей квартире», — отвечал тот...

Сплю я на чердаке, среди сена, газет и старинных сапожных колодок. Под головой мешок с прошлогодним хмелем. Потому, может быть, и сны мои глубоки и прозрачны. Отсюда я наблюдаю звёзды; вижу, как луна заливает холмы.

Здесь я учусь свистеть и тем постигаю тайный смысл заграничного жеста «о'кей». Он — ключ к свисту в виде составленной пальцами буквы О.

Иногда, перед сном, я спускаюсь к деду за сказкой. От него я слышу о Рыбаке и Рыбке. В пику школьной, у него другая история — Старик предприимчив и не разменивается на пустяки. Он устраивает свою жизнь на острове против прежней лачуги, дер-



жит Рыбку в пруду и изводит каргу разными сумасбродствами до тех пор, пока та не отдаёт Богу свою сварливую душу. А Рыбка просит у Старика прощения и признаётся, что она и есть Старуха, но не та — завистливая и злая, а чистой невинной души. Что некогда, когда Старик только ходил в женихах, Старухино сердце умыкнул один Моряк и утопил его вместе с собою. Так появилась Рыбка. А у бессердечной Старухи только и осталось радости, что пилить Старика. Теперь Рыбка готова исполнить заветное Стариково желание. Старик думает, медлит и воскращает Старуху с золотой рыбкой на груди...

Грохот туннеля комкает и срывает картинку. Мир во тьме, но да здравствует электрический свет! Теперь не уснуть. Зато прошлое выходит из засонья. Я всё думаю о деревне, что окончательно умерла вместе с дедом. Кончалась она долго. Церковь переложили в школу, ту снесли, магазин сгорел. Жители растеклись кто куда. Осталось только прозрачное кладбище на высоком бугре, а со смертью ограды оно подобрало к себе и старинных утопленников, и недавних самоубийц.

Туннель пролетел и опять почти тишина. Иду за чаем и тихо пью его напротив не по-женски храпящей проводниковой двери.

Хохлы ли, Балетка, домик ли, узость пути навевают сторонние мысли. Я почему-то начинаю думать об оседлости, о том, что оседлость — странное слово, которое значит не столько привязанность к месту, сколько связь с этим местом, так что, по сути, кочевники — самые оседлые люди, которые вместе с собой носят то, что делает их неизменными. Они всегда на коне и всегда дома. Их дом — не место, а чувство. И кто ещё более постоянен — паргвайские немцы или наши цыгане?

Это как-то связывается с поездками туда и обратно. И каждый раз, когда я ехал «туда», вагоны были полны земляков, кто уезжал «навсегда».

Почему вообще уезжают? Что снимает их, нас с обжитого места и бросает в неизвестные дали? И почему одни уезжают *оттуда*, а другие так стремятся *туда*? Вот ведь хохлы ехали к нам, а наши — куда-то на запад, так что земляков можно увидеть почти где угодно — в Вене, Венеции, Венесуэле. Но больше всего их в наших столицах. Москве земляки предпочитают Питер. Что гонит их туда от зелени, солнца и ясного неба? Потом ведь всё становится тем же, что и везде, куда бы они ни попали.

Столица — спесивое место. Она — самый простой способ возвысить себя. Ещё проще это сделать, уехав за границу, чтоб в биографии мелькали столицы мировые. Но здесь есть недостаток. Привлекательно это только тогда, когда по временам можно навещать родину и старых друзей, представляя перед ними воображаемым великаном. И даже те, кто не может вернуться, стремятся туда — рассказать, показать, вызвать зависть и попутно заразить этим самым стремлением. Но знают они, что никто никуда не

поедет. Что большинство слушателей мучит страх бессмысленных перемен. Многие не заразятся. Но, бывает, заблестят глаза нового Адама, и его уже легко совратить.

Он уже рисует себе, думает, что если бы, да кабы не семья, то так же махнул бы, как этот чудесный смельчак. И зараза начинает точить. Она поселяется в голове и первым делом попадает в глаза, делая всё кругом кривым, скудельным, убогим. Ближнее расплывается. Всё знакомое кажется недалёким, и уже потому привлекает даль.

Потом болезнь возвращается в мозг. Настоящее видится исполненным пустых результатов и чрезмерных трудов. Всё здешнее — пыль. Работа — надрыв, а жизнь — испытание. И неприятельность переходит в неприятягательность.

И, продолжая верить глазам, он воспринимает уже одну видимость. Разрушить её может только реальность. Неофит готов. Уложив баул, он уже едет, не помня себя. Высокая платформа — этот символ столичной самоуверенности — под самой ногой. Иллюзии на высоте, самодовольство в зените.

Но если соблазнитель — поклонник новизны и красот, то Адам здесь не за тем, чтоб начать жить иначе, а, как водится в гостях, просто порубать начужбинку. Но зайти не к кому — дверь заперта. И корешок-соблазнитель почему-то не слишком хочет видеть своего малахольного друга, так что несколько дней и ночевать негде. И он, ошеломлённый вероломством «друга», рад получить койку в общежитии и нажраться хоть какой-нибудь полуготовой мурцовки, которую можно сварганить себе на скорую руку. Может, здесь и вспомнит он бабкину поговорку, что обочины жизни не шанежками увешаны?! Но если и тогда он не разует глаза, то ещё несколько дней или месяц, на последние деньги будет шарашиться без цели и направленья, пока не найдёт себе работёнку и не начнёт мантолить с утра и до вечера каким-нибудь подметалой, льстиво улыбаясь барыгам и разгоняя по служебной обузе бродячих кабыздохов. А барыги будут навещать его сны.

Как обкусанные пальцы в горячей воде, они проявляются вдруг, стоит закрыть глаза. Он будто лишь смотрит, а они хозяйничают в нём. Или он — просто дверь, за которой идёт другая, неподвластная ему жизнь.

Сумрачные, они всегда становятся у него за спиной или прячутся в тень, так что он никак не может увидеть их лиц. А то берут его за руки и ведут по нескончаемым лабиринтам. Потом внезапно сворачивают, так что по временам он может видеть себя в просветах смежных проходов. За его спиной они что-то обсуждают, иногда обращаясь к нему, а он малодушно отвечает и соглашается. Но стоит только проснуться, как всё теряется и меркнет, оставая в голове только желание вспомнить и воскресить эти ответы, как будто это может уберечь его от них.

В другие ночи он пытается расставить вешки, запомнить очертания, детали, углы. Но что запоминать, если всё вокруг одинаково. Побуждаемый рассветом, он готов уже оторваться и об-

рести самостоятельность, но всякий раз ему преграждают путь всё той же рукой, оттолкнуть которую ему самому не по силам. И тогда, когда он готов уже сдаться, из темноты, наперерез им, выскакивает бабушка, охватывает его руками и кричит: «Эш, припёрлися сюда, краснорожие черти, жинжеля!» Тогда они отступают и прячутся. Но проходит день, и они снова на месте.

Теперь он глядит себе под ноги и изредка видит там проблески, которые в безнадежной темноте уверенно кажутся ему тем, что он так долго искал. вспомнить, увидеть себя — прямая возможность дать им отпор. Теперь все эти мельчайшие приметы он поднимает и спысает в карманы, а когда просыпается — опять ничего не помнит.

Каждый раз он старается ухватиться хоть за что-то знакомое, реальное. Вроде оно и похоже на правду, но звучит так же бессмысленно, как без пяти пять. И чем сильнее пытается он представить себе мир земной, тем пронзительнее видит в нём потустороннее.

И вроде бы давно надо понять этому чалдону — пора отчаливать. Но упрямства ему не занимать. И, чтобы разгадать своё смущенье, находит этот герой на рынке какого-нибудь земляка. Но даже если и земля такой же вот простодырый, то всё равно «не тово». Ведь к рынкам у него нелюбовь, прижитая с детства. Каждый раз, проходя сквозь ворота, он вспоминает, как униженно считала мелочь мать, а сверху выжидательно смотрели на неё надменные «сыны пророка». И зал в его глазах автоматически делится на своих и чужих. Чужаки эти сплошь нависают во фруктовых рядах, словно нарочно устроенных так, чтобы покупатель был отделён от продавца массивным прилавком, из-за которого ему выбирают гнилой и лежалый товар. И он понимает со злостью, что если раньше, идя по рынку, он просто чурался этих тёмных, с оскаленным выражением лиц, то теперь пришло нечто новое. Ещё немного, и он купит у тех же барыг позабытую дома фуражку, и всё будет как в детстве, когда десантура и погранцы бескорыстно переморачивали прилавки и валяли по полу едашей, выражая этим энтузиазмом апогей своих праздников. Но это уж слишком...

Возможно другое. Одет он, как все, и на слове его не поймать. И работает не в шарашке, а в офисе. Но как в офисе нет офицеров, так и ему не стать местным, а быть всё той же поселгой, которой помыкают кому не лень. И ждать удачи придётся до морковкина заговенья. Впрочем, он ещё ждёт, хоботырится, но понимает, что оклематься можно только вернувшись. И вот, исподволь, ещё только в уме, начинает он подсобирываться.

До конца ещё далеко. Он не уверен — так ли там хорошо. И бывает, он наезжает домой. Но причина тому — не тоска, а всё та же возможность покобениться перед *бывшими* теперь уже друганами.

И снова назад, к старым снам. Они вползают в него с усилием, так что прокрадывается мысль, что сны эти кто-то заказыва-

ет. Порой он чувствует страшную силу где-то в спине. Она поднимает его над кроватью и несёт в крайние закоулки сознания, куда он ни за что не решился бы сунуться днём.

Чтобы не растеряться, он пытается ловить взглядом руку. Но вместо своей видит другую — загорелую, волосатую, с золотой гайкой на пальце.

Долго бродит он по пустынным кривым закоулкам, будто ищет чего-то, пока не заходит в узкий и грязный двор, похожий на щель, где баба с тёмным скуластым лицом плещет ему в ноги ведро помоев. Он выпрастывается из щели, сворачивает и бежит коридорами улиц, покуда не выскочит на залитую солнцем площадь. Жёлтые арки обступают его со всех сторон. Он теряется и робеет — в каждой будто бы он, не похожий на себя самого. Оглянувшись, он втыкает голову в ослепительный нудль солнца. И в этот момент мысли вскипают, пузырятся и хлещут уже через край. Голова ясна и легка.

Утром всё просто: на работе, где он тот же всё «лейтенант в отставке», заявление начальству, вечером раздаёт по новым друзьям накопленные шелагушки. Спит спокойно, без снов. Утром идёт на вокзал, не желая видеть ни лиц, ни красот, ничего... Москва уже за спиной и ни шагу назад.

А как соблазнитель, что приехал годом пораньше? Своя рубашка ему ближе и потому он не пускает к себе неотёсанного корешка, хотя исподволь и следит за его «успехами». Впрочем, всё то, что случилось с жертвой его болтовни, его не слишком волнует.

Сам он давно уже имеет вид старожилы. Но флёр первого времени, ходьбы, удивлений, хвастливых отписок домой давно и быстро прошёл. В разговорах с приезжими он ещё наливаются гордостью за прописку, но всё больше ругает город грязной дырой.

Тоска подступает исподволь, так что он не успевает понять, когда за чужим внешним блеском перестал различать себя самого. Но понять его некому, потому что «заслуги» его и «друзья» — это новое и пустое. Общего нет — нет и общения. Сочувствия здесь не дождёшься.

Корни прошлого давно не питают. Они уже не болят, а корчатся и умирают. Это и есть — ностальгия. И время, заслуги, красоты уже, кажется, не страшно терять. Их полноводье мелеет, сохнет и оставляет в нём, как в австралийской пустыне, один только крик. Пожилой этот Евгений думает уже по-другому: всё отдам, лишь бы вернуться. Он ссорится с друзьями, пытаясь им разъяснить, но сочувствия не находит. Он машет рукой, кончает с делами, идёт на вокзал за билетом и чувствует будто бы страх. Но это лишь жадность и опасение: а ну, если здесь потеряешь, а там — ничего? Всё ведь стало другим. У прежних друзей семьи, дети, старые и новые жёны. И если друзья ещё вспомнят тебя, то жёны тебя даже не знают. И всё будет против. И здешняя фантазия об излечении там обернётся всё тем же. Он возвращается и начинает жить по привычке: перетерплю. Но всё повернулось. То, что каза-

лось вершиной — внизу. Корни эти в здешней каменной земле коротки. А внутри греет солнце. Набухают почки. Ещё немного, и из сухих будто бы веток уже повывезут листья — эти приметы и знаки весны. Глаза, ноздри, уши ловят всё, что для других недоступно. В бледном «спасибо» на чеке он различает обрывок родины и читает его как псалтирь. Он уже не один. Родина ревнует к чужбине и лечит сравнением. Он слышит всё на пути: лужи, лица, выбоины на асфальте. Ещё самую малость, и чек превратится в билет... Но Евгений покрепче своего приземлённого корешка. Он — эстет и считает все эти позывы обманом. Он настороже. И если столичная грязь начинает бросаться в глаза, он ищет другие пути и уже выбирает Европу или что-то подальше. И продолжает свою эйфорию до нового переезда куда-нибудь в Глазго, где поселается на Богом забытой улице, на уборку которой не хватит ни денег, ни рук. На лестнице то же. Раздражает всё. Два первых года учит язык и с отвращением уже переводит на новый лад имя такого же, как и он, уезжанца. А тот — просто Валдас Зебестас. Поначалу язык не даётся, потом, вроде бы, начинает сдаваться, когда наш эстет вдруг понимает, что невозможно жить в мире, который называется уродливым словом Уорлд на планете Зи Ётхс. Ему уже безразлично спокойствие, царящее тут, — тот самый «пис», который так не нравился прежним ментам. Не соблазняет и мысль о либерализме, когда облегчить нужду можно без опасений ареста. Здесь не допустят описки и так же, как и везде выпишут штраф, только уже равнодушно, не понимая ни слова, ни жеста. А плакать, как венецианцу Антонио, нечем. Ведь иллюзия, превращённая в реальность — полноценной не станет. Она — как бабкина облигация. Обналичить её не удастся, и можно лишь любоваться на красивые завитушки и почтенный венчик, обнявший весь мир. Он всем сердцем уже стремится обратно, туда, где не надо плакать по чужим счетам. Но нет дороги назад. Западня обостряет болезнь. И чтобы вернуться хоть в чувствах, идёт он и гадит на их этикет — на упаковку.

Таблетки здесь не помогут и лучшее лечение — Родина. Но что делать, если она в дефиците, да ещё и по собственной воле...

Ностальгия — диагноз. За сто лет после Брокгауза, статья о ней разрослась, как разрослась и болезнь. Быть может, скоро она захватит в себя слишком многих. И тысячи, миллионы людей бросятся поджигать и убивать. Они, кто обезумел, сначала не будут трогать друг друга. И ненависть будет выливаться на местных. Место, которое их приютило, скоро будет пустыней. Но эта война не за место, а значит — не месть. Они стремятся к другому. Но если они вернуться на родину в том своём виде, в болезни, которая не поддаётся лечению, если и родина их не излечит, то они продолжат убийства и там. И в этой пустыне, проснувшись и осознав, они накинут петлю на себя. Ведь те, на кого они подняли руку — их друзья и родные.

Нет доверия к истории братьев. Если уж у кого-то из них и случился припадок, то, конечно, у Авеля. Или он был из тех пасту-

хов, кто не болеет совсем ностальгией? И тогда всё тоже понятно. Он — блудный сын. Он вернулся, но принёс с собой новые нравы. Свиному не есть не для моды, ведь как же можно есть однокашников? Его принимает отец. И тогда, видя беззаконие, недоумённо смотрит старший сын на отца. Отчего такая несправедливость? Почему брату, а не ему полагается честь? Он говорит с братом, обвиняя его, а тот, не помня себя, берётся за нож. И только потом, какой-то его потомок сказал, де, грешны все мы, те, кто от Авеля. И надо б покаяться. С тех пор и началась свистопляска, но не на день, а на ближайшие две с хвостиком тысячи лет.

Всё к одному. И первым, конечно, потухнет Свет Новый. Потом уже все остальные. И тишина останется только где-нибудь на острове. Это и будет высшие расправа и суд. Каждому выберут срок. Большинству — вечную каторгу, а те, кто получит «условно», начнут новый мир.

Я додумался до того, что дорога — это порок, и она, конечно, ведёт к преступлению. И преступная мысль зарождается сама по себе. От чего? Может, тайный порок в нас самих? И мы пытаемся быть похожими на иностранцев, а больше всего англичан? Эти всю жизнь могут провести в заморских странах, но всегда знают, что на старости лет вернутся в отчизну. Дело, может быть, в островах? Легко любить то, что видишь до края. Они — как москвичи — эти внутренние наши «британцы». Не желая принять туземства, они всегда стремятся домой. И сколько ни проживи они лет среди нас, их презрение к нам не пройдёт, ведь нам заказана дорога в их рай.

Похожи, похожи они. И говорят они странно: одни катают во рту картошку, а другие тянут кошку за хвост, так что простодушному провинциалу легко принять их за извращенцев. Но никакой коренной не будет тянуть и выделяться. Правда, таких уже совсем почти нет и в мявканье этом виден вчерашний Адам. Так что если первые — колонизаторы, то вторые, скорее, канализаторы. Пробковый шлем и монтажная каска — уборы для разных голов.

Позади половина пути. За окном — тьмутаракань. Удары колёс по стыкам бормочут какие-то фразы, а уже те диктуют картины, которые, будто проектором, передаются на белую оконную шторку. Но образы эти смутны, и различить ничего невозможно. Пробежав стык, поезд подскакивает, — отбивает такт. Всё это смыкается с промелькнувшим полустанком и опять налетает полусон. Стук, стук. Видать, мальчишки подкладывают под колёса гвозди... А может, намёк на оседлость? Ещё минута, и, держась за узду, я снова скачу на восток.

Утро летит без остановки. В шторке дырка от ночного гвоздя. Сквозь неё сочится утренний свет. Под стук вспоминаются собственные, давно истлевшие гвозди, подложенные под поезд с тайной целью получить настоящий кинжал. Потом эти «кинжалы» десятками валялись где-нибудь в укромном углу, безнадежно ожи-

дая своей очереди на конечную обработку. Самым ценным здесь был тот миг, когда поезд, медленно погромыхая последним вагоном, проезжал, и мы бросались к рельсам, отыскивать эти раскалённые тяжким движеньем полоски. А они медленно отпускали нам в руку тепло, которое чудесным образом выходило из них, ещё недавно таких круглых и холодных. И это тепло нам было понятно из множества других похожих вещей. Тогда всё можно было объяснить. И странное это тепло с одной стороны соединялось со штурмами сугробов, где мы возились до остекления штанов, но тело было горячим, а с другой, из более позднего времени, с таинственной ядерной силой, о которой слышали в школе. Всё это приводило к «опасным» опытам по добыванию энергии из ранеток. Под ударами молотка они разлетались вдребезги, а мы сидели в ожидании священной искры — того чуда, которое должно было произойти из яблочного атома, который нужно было делить. Но то ли ранетки были слишком малы, то ли атомов там вовсе и не было, на общее счастье взрывов не происходило и можно было, забыв об опытах и науках, обкидываться и объедаться ими до отвала.

Вагон стучит всё чаще, будто торопится сам. От этого кажется, что приеду уже сегодня к обеду. И как поезд не может свернуть, так и я не могу пресечь этот поток воспоминаний, которые всё дальше уведут меня к началу.

## ГОРОДОК

*Тот, который знает нас,  
не похож на того,  
которого знаем мы.*

Африканская пословица

Слово Городок похоже на завиток, на улитку, на подпёршую голову руку. От реки Кошь, оставшейся в наследство от обитавшего на её берегах племени, некогда он прозывался Кошачьим. Но, может статься, имя он получил и от острова Кошка, куда пристала, говорят, первая лодка с поселенцами. Впрочем, кошек на острове никогда не водилось, да и относились к ним в Городке не слишком благосклонно и, хоть и держали их изредка, но как-то они не велись, так что можно подумать, что неприязнь эта была взаимной. Почти египетское обожание животных, отлитое в многочисленных истуканах, этой породы не коснулось. Словом, кошка в Городке была совершенно бесполезным, а посему несуществующим зверем.

Эволюция имени такова: вначале, когда русские только поселились на этом месте, деревенька называлась Кошачий. Разработка казённых приисков утвердила в столице мнение о подыскании названия попрестижнее. Там и сельцо разрослось и обзавелось уже разными мануфактурами для своих и государевых надобностей. Тогда, во времена приснопамятной Екатерины, и прибавили «Городок». По приезде нового вождя, усмотрели в этом непорядок и

дерзкие вольности и сократили до Городка. А поскольку местность наша отдалённая и никто значительный здесь не родился, а все были только проездом, то человеческого имени Городок не приобрёл и остался городком, каких много.

Кроме медведей, оленей, собак, змей, свиней, павлинов и коз, изваянных из всевозможных веществ, несколько и вполне человеческих: три Ленина в разных одеждах, указующих во все стороны света — последний разводит руками, памятник Пушкину и фигурка умершего в Городке изобретателя Червякова перед старейшим в округе музеем.

Басурманка — мой природный район, прежде крепко плетённый молекулами деревянных домов в каменную застройку, сжался и отодвинулся к реке. Правая, деревянная сторона Народного проспекта, будто живое ополчение, отражает другую — каменную и регулярную. Перейти отважились пока ещё немногие кирпичные смельчаки. Красно-белый «Бербанк» с медведем на крыше — их основатель и полководец — знает, что только сначала этот каменный подвиг будет непонятен, а дальше их ждут награды, богатство и слава. Вблизи они видят, что резной деревянный фасад их соседей — показуха. А дальше — нахаловка и руины. Здесь, на сплошь уже каменном «берегу», ещё заметны деревянные «повстанцы». Кое-кто из них даже молод. Но все они здесь только затем, чтобы подороже продать свою жизнь.

Там, в глубине Басурманки, дома, некогда построенные по прихотливой гордыне владельцев — кто во что горазд — падают или вырастают. Гниют брёвна, и текут крыши. А высокий кошский обрыв каждый год отъедает квартал басурманских владений. Уже давно заготовлены сваи и плиты. Уже лежат на архитекторских столах планы спасения и проложена в спасательском воображении Кошская набережная, не уступающая Английской...

Я с трудом перешёл наводнённый машинами Народный, здесь оснащённый несчастными ещё светофорами. Но с каждым шагом вглубь Басурманки прошлое, будто всё сильнее отодвигалось. Оно будто осталось в той первоначальной памяти, которая вдруг разверзлась передо мной во сне и на дороге из Норова. И чем ближе я приближался к вещественным доказательствам, тем память становилась ленивее и пустее, но тем пуще разжигалась фантазия, в которую охотно окунались все окружающие предметы. Вот и лица людей, казалось, всё те же. Даже собаки будто оттуда. Но этого, конечно, быть не могло. Теперь моя жизнь, если измерить её собачьими, протянулась бы на трёх кабыздохов. Она казалась мне вместе короткой, так что эти воображаемые дворняжки не успели бы тявкнуть, и широкой, потому что в неё вместилось всё невероятное количество моих и чужих чувств, расстояний, предметов, домов. И внутренний этот рост теперь легко объяснял, почему серая глыба мельницы уже не казалась такой громадной. Прошлое было теперь столь велико, что в нём помещались все времена, события, люди от невинных детей до страшных согбённых старух — ходячих горбов, которые, будто медиумы



времён, носили неизменные старинные, вытертые до кожи цигейковые шубы. Как и прежде, они держали одну руку за поясом и никогда не опирались на палку.

Улица моего детства когда-то называлась Непроезжим переулком, потом Доброхотской улицей. А позже первое пересилило второе, и жила я уже в Кустарном тупике. Теперь здесь нет и кустов, но, видно, из земли ещё не выветрился тот смачный пьянящий дух, от которого росла всякая палка. Так что я и сам не заметил, как вдруг очутился в том незапамятном возрасте, когда забытый быт взрослой родительской жизни никак не мешал отыскивать важное, а детская вера упрямо спорила с взрослыми суевериями. Здесь бродили вдоль весенних ручьёв, подгоняя кораблик, здесь тонул с кораблём «капитан», а после обсыхал возле печки, заклиная родителей задержаться подольше, здесь тёрли до блеска о рукава и давились кислыми ранетками, не в силах дожидаться, пока их прибьет морозом, здесь клятвенно жевали землю, невзирая на место...

Широкий переулок проложен так, как это делают за городом, когда дорожная насыпь возвышается над окрестными низинами. Дома стоят в ямах и во дворы нужно спускаться. Песчаная подушка, вздувавшаяся пыльными облаками от проходящих машин, лежала долго, пока по всей длине не были сгружены, да так и оставлены кучи крупного щебня. От этого со временем образовалась удивительно холмистая, приглаженная колёсами и ногами улица, по которой по ночам взрыкивали машины, а свет фар метался вверх и вниз, как и положено в бурном море, так что в нашем сухопутном месте стали являться морские истории.

Радужные от бензина лужи между взгорков переполнялись дождями и текли во дворы. А мы, сперва вволю натешившись путешеством спичек по изгибистым многоцветным потокам, будто новые голландцы, упрямо воздвигали плотины. Труды всегда были тщетны: новые игры меняли наши профессии, и к дворовому ландшафту добавлялась безмерная лужа. Она простиралась от крыльца до дальних сараев. По краям этого Черноземного моря крыльцо становилось Римом, единственный балкон — Балканами, тополь — Крымом, а дальние сараи Африкой и Палестиной, так что пройти от Рима до Крыма и дальше можно было лишь в сапогах.

И если в Эпоху Разлива Больших Рек я летал над лужей на отцовских руках, то позже — на аэропланах, которые клеили из реек, шпона и папиросной бумаги, оставшихся от чьих-то неведомых запасов.

Впрочем, до неба в Городке можно идти. По четвергам, после школьных уроков, нас прямиком отправляли наверх — прочь от реки, где в конце улицы, на краю широкого парка стоял планетарий — бывшая церковь. Над входом — квадрат всегда свежей извёстки. Позже рассказывали, что там стала проявляться какая-то фреска. Замазать её не удавалось и спустя несколько лет квадрату решили придать respectable вид: смыли извёстку, подтёрли нимб, положили тени и дорисовали до Ленина.

Часовня окружена «планетами» — десятком громадных шаров на массивных чугунных подставках. На первой экскурсии я влез на один и возвышался над всеми, пока площадь внизу не опустела, так что учительнице пришлось подставлять свою шею.

Парк культуры и отдыха, по странному обыкновению эпохи, переименован из кладбища. Эта культура и отдых уже тогда звучали насмешкой над культом и смертью — отдыхом вечным. Теперь шары стали проваливаться в могилы. Предвестие конца света или просто чугунная природа не терпит под собой пустоты?

Купол служил на совесть только глазам. Старинный «Цейс» по-прежнему чётко рисовал на нём фигуры созвездий. Но построенный для голоса, купол будто издевался над слухом. Лектор, пока стоял перед нами, говорил чистым и воспитанным голосом, но стоило ему погасить свет и взять микрофон, как тот начинал кашлять, трещать и булькать, а купол аукать и завывать. Как видно, это и дало нашему звездочёту прозвище — Говорящая Задница. Иногда он пускал по рядам тяжёлый, чёрный метеорит, похожий на оплавленную автогеном болванку. Окончательно же прозвище оправдали уроки анатомии: как видно, от частого общения с небом лектор подхватил звёздную болезнь — метеоризм.

Посреди улицы — дороги к планетарию — стояли столбы ЛЭП. У самого здания нитки линий сводились в узел, к вершине раскоряченной посреди зелёной лужайки опоры. Эта опора потом меня почему-то сильно волновала. На неё хотелось залезть и в высь, над смешными шарами, почувствовать себя космонавтом.

Позже в планетарии недолго работал отец. Я приходил к нему и обходил пустые залы этого храма то ли знания, то ли веры.

Тихой ночью, с устрашающей мыслью о кладбище, я выходил из дверей, глядел в чистое, незамутнённое городскими огнями небо и, не решаясь двинуться дальше, представлял себя открывателем далёкой покинутой планеты, обитатели которой жили теперь где-то в другом, неведомом месте.

В космос хотелось и со страхом внутри. Попасть туда можно было ночью при чистом небе, когда расступались облака, кочующие на синих безмолвных границах.

Целое лето мы по кускам собирали ракету. Всё было готово. Не было лишь одного — самой ракеты — какой-нибудь, заострённой, похожей на карандаш конструкции с круглым окошком и входом. Мы искали её до тех пор, пока нас не осенило, что ракету нужно делать, конечно, из ракиты. Тем более, что у реки нашлось и подходящее дерево с напрочь гнилой сердцевинной, дуплом посредине ствола и целым входом внизу, так что внутри мы прибили лесенку и устроили все накопленные материалы. Там и «курили» втихушку, воображая в этом дыме и свою зрелость, и ракетный огонь, и головокружение от полёта.

Наверное, желание быть поближе к небу и есть стремление к зрелости. Вот только тогда, раньше, я не знал, что на «обрыве» совершеннолетия «полёт» неизбежен. И неизвестно только одно — полетишь наверх или вниз?

Я заглянул в свой двор, теперь объединённый с соседним. Дворы подсыпали и сравнили с дорогой. Насквозь сгнившего дома давно уже нет. Да и не должны такие дома существовать в действительности, а только в воображении и мечтах о прошлом. Нет сараев, дровяников, углярок — «каменноугольный период», как и положено, властвует под метровым слоем асфальта, гравия и песка. Там же и яблоня с червивыми яблоками; зарытые, а теперь навсегда погребённые «клады». В соседстве с бензоколонкой думаешь, что всё это давно превратилось в уголь и нефть.

Двор был пуст. И если бы не суббота, весь был бы заставлен машинами.

Я шёл дальше, туда, откуда несло баннным дымом. Он насквозь пропитал всё вокруг и смешался с запахом брёвен, папки, старых заборов и палой листвы.

Вот улица с железной дорогой, по которой мы ходили смотреть на играющую в половодье реку и кататься на тощих задиристых льдинах. С берега вдалеке, на горе слева будет видна телебашня, похожая на ошипанную после Нового года ёлку.

Зелёный, даже зимой замшелый участок земли — «месторождение» дрови. Здесь добывали прораставшую среди мха свинцовую «клякву». В детстве все мальчишки — сугубо военные люди. Это потом мы косили от армии, а за десять лет до этого неумоимо лепили из пластилина солдатиков и, выставляя целые когорты, нещадно палили по ним из пушек — гильз от мелкашки, куда вставляли крупные эти, особенно ценные дробинки.

Тополя, которыми засажены центральные улицы, в деревянном содоме — опасные чужаки. Потому-то здесь преобладают клёны. Они — почти привилегия Басурманки. Местная их порода, вопреки земной тяге, растёт вкривь и вкось. Будто бородавками, они сплошь усеяны шишковитыми наростами. Весной на них слетаются галки и зримо отмечают собою будто главные достоинства бренда: с тоненьких, ещё хрупких от последних морозов веток, стекает сладкий сироп, который теперь вдруг оказался дорогим заграничным продуктом<sup>1</sup>. Летом, как только клёны выпускали тонкие свежие прутья, можно было, очистив веточку от нежной зелёной коры, пускать «зайчиков». Скользко-упругая сердцевина

<sup>1</sup> Выражение «за всё нужно платить» словно вычёркивает детство из следующей жизни. Быть может, оно и есть Бытие, осенённое неведомой силой, где нет ни денег, ни роскоши, ни трудов, ничего из того, чего требует «настоящая» жизнь? Оно удивительно незатратно и невероятно расточительно — на движения и плоды. Нужно лишь дотянуться и всё, за что потом приходится платить, идёт в руки само. И пусть оно не так обильно, зато неподдельно. Ведь и за полноценные деньги часто покупаешь фальшивку. Канадский кленовый сироп в красных банках, что позднее стоял в магазинах — скорее всего натуральный. Его можно было б купить, если бы к нему прилагались лёгкий весенний ветерок, веточка и закатное солнце в спелой сахарной капле. Но и канадцы, даже если б смогли, не предложили бы этот «полный комплект». Тем более что и семечки у них не щёлкают, а едят.

пулей выскакивала из пальцев в чей-нибудь лоб. Осень — пора «вертолётников». Их упругие сдвоенные тела похожи на теннисные ракетки или ступни на зарядке.

Двор, теперь совмещённый с нашим, — великая тайна. Хозяина звали Бакоткин. В имени будто сошлись авторитеты безвластия. С ним не здоровались и к нему не ходил почтальон. Пенсию ему не платили, и до сих пор загадка, на что жил этот человек. Подобно взрослым, мы обегали его стороной, но иногда, отодвинув доску забора, заглядывали внутрь. Старик сидел за треногим столом и сам с собой играл в шахматы, переходя с одной стороны на другую. Он упрямо пытался приручить нас конфетами. Но взрослые пугали отравой, и конфеты летели в помойку в надежде на крысиную смерть.

Он жил один, отсидев много лет за то, что служил полицаем. Ненавидел он не советскую власть, а власть вообще — за соблазн: не будь кесаря, Христа, иудеев, не было б и Иуды. До вождя безвластия он дождался: «предательский» дом ради автозаправки сожгли вместе с ним и собакой.

Как попал сюда, где не было ни войны, ни фашистов этот человек, было такой же тайной, как местные немцы. Большинство уехало, а те, что остались, немцами были лишь по названию. Их считали чем-то вроде аборигенов и почти дикарей, сохранившихся с незапамятных времён. Говорили, когда до Городка добрался сам Ермолай Тимофеев, уже обжившие эти места котофобы, не желая делиться ничем, на все вопросы его отвечали, дескать, не местные мы. Дело, рассказывают, было в мороз, и губы слипались. Тем, кто пришёл, слышалось: «немецкие мы». Тогда пришлые только махнули рукой, дескать, и спрашивать не о чем, всё равно не понять, и пошли себе дальше, разнося легенду о безмерном немецком проворстве. Под спудом слов за столетия они стали и вправду, как немцы. Впрочем, те и другие говорили только по-русски, и отличить подлинных немцев от наших можно было лишь по фамилиям, да и то не всегда. Когда-то жили они на Отшибе, но уступили его новосёлам. А уж Отшиб прирос Басурманкой. Это у них, этих выдуманных немцев, были чистота и порядок. А у тех, настоящих, кто теперь уезжал — разброд и шатанье. Да и откуда бы взяться порядку у беспокойных и подвижных людей. Могут ли сделать они хорошо, если всё время ищут, где лучше?

Подобно нулю, Городок не раз сводил противоположности вместе. В эвакуации здесь умер поэт Шершнева и масон-эмигрант Кончаков.

Теперь здесь, на Старом Отшибе, автостоянка. За нею не видно реки. Некогда сюда приходили резать прачи. Оружие это, как и приклады взрослых ружей, росло в прибрежных кустах. Они сплошь обрезались летом, а потом вновь отрастали ещё гуще.

Весь городок тогда поделился на уделы, и «оружие» брали с боем — кусты оберегались речными. И чтобы срезать новую, в карман клали старую — не для защиты, но для бесстрашия. Здесь — поле последней битвы. Тогда речные вдруг окружили нас.

В яростной схватке мы сбросили их под обрыв, но в конце потеряли и берег, и кусты. Отрадно лишь, что поражение заставляет думать лучше победы. Нашим ответом, против детских речных прачей стали настоящие пращи из отцовских, страшно памятных многим армейских ремней, последним «камнем» которых была звездистая пряжка, которую для тяжести заливали свинцом.

Районы были поделены по школам. И, подобно учёным, что тоже бьются за свою пустяковую правду, мы дрались не за истину, а за принцип.

Зато для суровой Заречни все мы были «городскими», и теплоходная прогулка на дальний берег заставляла объединяться перед общей угрозой. Но стоило вернуться, как свары начинались вновь...

Теперь все ссоры оставлены здесь. Словно навсегда перейдя на «тот берег», мы не вместе, но и вражды уже нет. Нет и тех, кто по-настоящему пал в отчаянных жизненных драках. Может быть, они и примиряют нас — тех, кто остались?

Отшиб валится вниз. Там, под обрывом, где вода обмывает песок и старые корни, можно было почувствовать себя всемогущим. Для этого стоило лишь походить по берегу или закинуть верёвку с крючком — басурманской трёхногой кошкой с зацепом. Она, вместе с мятым ведром или старой кирзой, вытягивала порой из глубин неожиданные и очень нужные вещи: осколок швейной машинки, тележное колесо, трансформатор, пластину свинца. Это случалось подобно тому, когда в горсти мелочи, полученной в магазине за рублёвую бумажку, обнаруживались то пфенниги, вместо копеек, а то и серебряный пятиалтынный какого-нибудь тысяча восемьсот тридцать затёртого года.

В закиданном некогда ржавым железом проливе найти деньги ещё недавно было проще всего. Но теперь весь металл вынут и сдан. Странно, что прежде его собирали пионеры. Лучше всего это сделали те, кого исключили.

Тогда же деньги, которые взрослые так шепетильно ценили, валялись везде. Старый город понемногу ломали, и то там, то здесь находили клады.

Бывало и мы брались за лопату.

Уроки заканчивались. Мы отслушали последний звонок, едва сдержались, чтобы не вылететь из-за парт без разрешения. На улице гудела орава: малолетки шумно играли в пробки, длинный Пашка уже выяснял отношения, девчонки затеяли «резиночку». Я закинул на плечо сумку и пошёл домой. Но не успел дойти до проспекта, как меня тронула чья-то рука. Обернулся — Генка. Он стоял и пыхтел, совершенно запыхавшись: м-ужики клад нашли, — наконец пробормотал он, — деньги старинные. Только копать надо. Дай сапёрку, вместе пойдём.

Как же я туда пойду? — возразил я. Там ведь ваши. Надают по башке. И деньги заберут, и лопатку.

— Не заберут, — храбрил меня Генка. — Я — свой человек. Не боись. Если что, брата позовём.

«Побежали», — прибавил он шагу.

Мы рванули что есть сил, швырнули портфель в сарай, схватили лопатку и кинулись обратно.

На углу, рядом с вражеской школой, происходило, наверное, то, что за сто лет до нас на Клондайке. Пацаны, парни и мужики разделили всё пространство на участки и рыли всеми подручными средствами.

— Куда же мы приткнёмся?

— Найдём, — заверил Генка. Они не там роют. Не знают. Я-то знаю, где ящик разбился. Он рассказал, как зацепили экскаватором ящик, как посыпались сквозь песок монеты, где и как пронеслась над песком железная лапа. Туда мы и двинули. Все остальные, за исключением немногих свидетелей, рыли в отдалении. И странно, именно оттуда время от времени раздавались крики: «нашёл! нашёл!», после чего эти находчивые, а пуще их все остальные бросались на колени и начинали рыть с сугубым упорством, по-собачьи перебирая руками. Из нашей делянки не раздавалось ни звука. Это и было понятно. И хотя первый рубль с царским профилем чуть не заставил меня заорать, но опомнился и сам я, и дополнительно зашипел Генка.

Мы рыли «по науке» — копали на штык «по чуть-чуть», срезали слоями, так, что всё, что ни попадалось, брякало о лопату.

В сопящей рабочей тишине мы складывали богатство в карманы, когда услышали гугнявое: «Эй, пацаны, меняю золотой на серебряный рубль, деду нужно на печатку». Эх, как быстро нашёлся целковый! И нашли его, конечно, не мы, что шмыгали себе на коленках, а ребята постарше. Да и не было нам дела до червонца. Вспомнился он уже потом. И долго думалось с презрительной улыбкой: «идиот», пока не пришло понимание, нет, не того пацана с глупым дедом, а самих себя, для которых червонец стал бы тогда всего лишь одной монетой из других. А «ржавый» цвет и ничтожный размер, может быть, отнесли бы его к мелочи, как позже полновесный белый полтинник покрылся этим жёлтым дешёвым налётом, да и сам рубль сократился до прежнего гривенника.

В карманах у нас было по пригоршне серебра, когда показалась милиция. Лопатку пришлось зарыть, чтобы вернуться потом и сделать вид, что мы тут просто играем.

Не приставали к нам вовсе не потому, что кто-то там знал Генку. Просто каждый был занят своим. Что может быть азартнее инстинкта фантазии? Это была не та пустая, бесплодная нажива, которой все увлеклись позже. Это было копилкой, в которой любая брошенная монетка немедленно превращалась в сказочные удовольствия, нематериальное вдохновение, чем жива большая часть всякого детства.

Клад — не богатство. Сколько их потом закопали сами, чтобы найти через год. И прятали каждый раз всё глубже и глубже, то ли пытаясь пробить дырку сквозь землю, то ли втайне надеясь на безвременную и безымянную славу тех, кто зарывал прежние клады. Кто они были, те странные люди, которые оставляли в земле такие богатства. И то, что клали мы в коробочки и кофейные банки, казалось нам не меньшим сокровищем, чем то, что нашли мы тогда на пустыре.

Всё это было не только фантазией. Для достоверности, кроме дешёвой галантереи, мы клали и медные старинные монеты, жертвуя их богу воображения. Мы были основательны и щедры настолько, насколько глубока была яма. Мы были создателями чудес. Горсть медных орлов в конце ушла в такой ящичек, чтобы потом потеряться. То ли кто подсмотрел? А вернее — забыли место...

Не то — поверхностные девчоночки «секретики». Те прятали «сокровища» в ямку, закрывали стекляшкой и засыпали песком. Потом было интересно разгрести песок и находить помаленьку.

Да что говорить, девчонки вообще были существами совершенно другого рода. Их игры казались ненастоящими и больше касались не труда и заслуг, а только фантазий. Они и сейчас готовы воображать, верить в чудо и это даёт им силы. А мы, обжегшись, потеряв многие клады, хотим только, чтобы исходное не превратилось в безысходное.

Я сел на скамейку и оглянулся по сторонам. Всё так и не так. Полрайона теперь было перестроено, и я никак не мог вспомнить, как было тогда, когда не было здесь ни асфальта, ни стеклянноквадратной коробки, ни парковки с администраторской будкой.

Старый тополь почему-то пощадили, но укоротили до половины и обложили новенькой мостовой. Из плоской вершины на месте прежней развилки, теперь торчал ёжик молодых побегов.

До сих пор кажется, что залезть на него хотел весь наш маленький двор. Может быть потому, что в детстве привлекает всё то, что повыше, хотя сейчас думаю, что скорее возвышает то, что привлекает внимание. Я выбрал вечер, когда во дворе было много народа. Женщины сушили перины и стирали тряпье, Шлёп-нога на старой фуфайке лежал под машиной, мужики играли в домино.

На тополе только что обрубали нижние ветки, так что теперь было легко цепляться и ставить ноги. Я шустро вскарабкался и уселся верхом на развилку. Сверху можно было увидеть почти всё вокруг — заглянуть за заборы, помахать рукой соседям внизу и туда же послать привет млеющим от восторга подружкам. Теперь это превосходство кажется ложным, ведь огромным было дерево, а я лишь осмелился влезть на него. Залезть — не штука, куда труднее спускаться. Может быть, потому и не пытаются многие достичь высоты. Но и не могут перебороть в себе интереса, пусть даже к чужому успеху. И смотрят всегда снизу вверх, подрастая лишь до той степени, когда громадное становится просто большим.

Я сидел наверху до самых потёмок, пока меня не снял брат. Отчаянно ругаясь, он долез до меня, а потом, под наблюдением мамы, переставлял мои ноги с ветки на ветку. И хотя внизу, а после и дома, мне задали трёпку, но слава покорителя тополей за мной сохранилась надолго и даже запечатлелась в имени: иногда, чтобы отличить от тёзок, меня звали Сева с тополя, склоняя на все лады: Севестополя, Севустополя, Севойстополя, Севыстополя. Может быть, вместо Питера я бы попал в Севастополь. Но мы переехали, имя забылось, да и флотская слава ушла в другую страну.

Я тщетно пытался представить себе дом, которого нет. И вновь, как и давным-давно, выручил тополь. Я мысленно влез на него и «заглянул» в своё окно. Всё так же как прежде: скособоченный пол, где удобно катать машинки и кучей вылавливать их шваброй из-под дивана. Комнаты жмутся к печке. Лежу и досматриваю сны. Под кроватью горшок — тот самый золотник, который дорог. Он — единственное ценное, что меньше меня, потому что щуплое моё детство окружено исполинскими вещами. Я открываю глаза, и взгляд мой уходит в двухсаженную глубину потолка, в которой комната кажется поставленной набок. Выхожу во двор, до краёв налитый водой, куда смотрят высокие чёрные сараи. За ними — опасные соседи — долговязые тополя, заносащие город несметными тучами пуха. Весной хрустят они почками и липко пахнут смолой; осенью — рушат на город водопады гигантской листвы. Всё это я вижу под ногами — в тёмном зеркале лужи. В высоте — циклопическая башня мельницы. Её одинокий фонарь рассеянно смотрит во двор. Округа полна унылым гулом ночных работ.

Воскресенье. Облитое морозной глазурью окно утренней кухни. Трещит печь. Стучит нож, и сухо скрипит скалка. Всё маломальски похожее путается и роднится. Отец похож на пельмень. Мать похожа на скалку. Все чувства ещё неразрывны и для меня пока ещё неделимы котлета и неделя, ковёр и король. Ворон — муж вороны, а кошачик — это кошка и собачик. Вот, я смотрю на еду и хочу есть. Это понятно. Удивляет лишь, что вареники бывают с картошкой, хотя, очевидно, должны быть с вареньем. Но пельмени я жду. Ведь, если не они, то взрослое есть невозможно.

Пельмени готовы. Отец торжественно накладывает с горкой. Я думаю о Лёхе — силяче и задире с первого этажа и ем много — для мести.

Улица манит, и холод не страшен. Собраться — минута.

Зимний двор — белый, блестящий, со снегом на крышах, белокудрой изморозью на яблоне, с угольным дымом столами. Его не сыскать в обеспеченных новых районах.

Во дворе кипит бой. Мальчишки штурмуют сопку — упрощённую версию «снежного городка». Наверху Лёха. Он — царь горы. Могучей второклассницкой рукой он стряхивает в мягкую снежную кашу соседских. Кидаюсь на приступ. Серёжка почти



роняет «царя». Победа близка, но вот ловкий удар и разбитый нос красит каплями снежные склоны. Вверх летит жалобный вой. Лёха боится возмездия и удирает. Война прервана, но не закончена. Мы клянёмся свергнуть Лёху и отомстить. Ведь, будь бой воздушным, лёхин самолёт был бы весь разрисован носами.

С Лёхой мы соседи. Я — единственный, кто страдает от него только словесно. Провокатор, прошлым летом он подстрекал меня сматериться. Как видно, я в точности понял значение слова, поэтому и ответил легкомысленной «матрёшкой».

За бесчисленные подвохи старшие называли Лёху ушлой мордвой, и мы напрямую связывали это с его оттопыренными ушами и подозрительно вглядывались в лицо.

Из опасений обмана слова́ нужно было истолковывать. Наука эта имела свой алфавит, начало и конец которого сошлись в букве «М» — от молодца до магния. На нечастое взрослое «молодец» недоумённо возражалось: почему «мало»? Много... многодец! Магний же, вопреки названию, не магнитился и потому со временем связывался с магическим и опасным — бомбочками, ракетами — Новым годом. Он был дóрог и достать его было крайней удачей.

Это Лёха разбогател всего за ночь, открутив со своим другом деталь от старого самолёта. Несколько дней они пиляли её пополам, десятками ломая драгоценные отцовские пилки, а потом пожинали: точили напильником и продавали щепотки магической пыли.

С его же подачи я проглотил жука — рыбью приманку. Меня прослушивали холодным липким стетоскопом, но так ничего не наши. «Не бойтесь, жить будет», — сказали маме. В своём бессмертии я ещё не сомневался, и это последнее принял насчёт жука. И долго вслушивался в себя, стараясь обнаружить внутри признаки жизни.

История эта как-то переселилась на улицу, и меня изводили дурацким стишком. На улице не хотелось, да и внутри было неспокойно. Так я и жил в атмосфере травы на улице и тайной жизни внутри. Недаром, спустя десять лет, казалось, что меня подслушивают, будто маленькая козявка со временем развилась внутри меня в прибор тайной слежки...

Ребята расходятся. Иду домой, скусывая с варежек льдинки. Хочется пить. Пытаюсь лизнуть разгорячённым языком дверную заиндевелую ручку. Отдираю с кровью. Рыдать стыдно. А может, Лёха виноват? — и там кровь и здесь...

Дома скучно. Сажу у окна, гляжу на узоры и прикладываю палец к стеклу. Он стынет. Целюсь языком, но намеренье тает — память о «сахарной» ручке. Смекаю подуть, и окошко готово. Сквозь него яростно пробивается ослепительный уличный свет.

Каждой осенью жизнь отступает, и только редкие, но густые лучи каникул возрождают её, наполняя неподдельной и бессмысленной, а поэтому особенно восхитительной свободой. Школа помнит к случаю — украдкой отдельных кадров. И никогда целно.

Первое сентября. Вижу, как моей маленькой подруге-соседке подарили краски, как она раскрывает коробочку, набирает воды и рисует загадочных змей — красные кривые полоски, попёрдывая от восторга. Я стою рядом и завистливо наблюдаю, как сверхъестественно она выражает переполняющие её чувства... Этому я уже разучился. Зато научился другому. В кармане мешок пробок: «офицерики» от зубной пасты, «принцы» и «короли» с маминых духов и лучшая — «светофорик» — маленькая нажималка от дихлофоса с тоненькой ножкой, сила которой определялась одной только ловкостью рук. Её следовало закрутить двумя пальцами так, чтобы она вращалась на бугристом асфальте, а игрокиavorожено считали количество «жизней». Да и попасть ей в соперницу было не просто. Но уж кто умел...

В третьем классе я разучился ходить. В спортзале мы отрабатывали строевые приёмы к «конкурсу песни и строя». Пел я громко, а ходил вразвалку. Отставать не хотелось, и мысленно я разделал показательный шаг на четыре движения: я сгибал ногу в колене, поднимал, распрямлял и опускал. К моменту полного прозрения урок закончился и я пошёл домой, с презрением поглядывая на приятелей, сопровождавших каждый мой шаг надрывным неистовым хохотом. Сложно смириться с ошибками собственных истин. Нормально ходить я учился до вечера.

Иногда среди привычной, размеренной жизни случаются сгустки. События словно делают намёки и подкрадываются к большему. Старательность младших классов уступила разгильдяйству средних. Пятый исполнен потерь: умер дед; друг уехал в какой-то Тамбов, вероятно, по моим тогдашним понятиям, совершенно потустороннее место, так что потом я всегда считал его умершим; брата забрали в армию. Прежде голый и сырый младший, я вдруг стал единственным владельцем множества необходимых мелочей. За этим и не заметил, как закончилось детство.

Унылые школьные коридоры были той гребёночкой, которая причёсывала светлую шевелюру моего детства. Она путалась в вихрах, и выдёргивала целые пряди, так что юность осталась бы пустошью, если б, как водится, не приключилась любовь. Разгонялась она долго и началась за несколько лет до того с пустяковой зимней отрады — скользнуть валенками вдоль половиц и щёлкнуть этим электрическим чувством мимолётнюю девчонку. Впрочем, и потом я был не из тех, кто кружевался вокруг и облизывался в предчувствии первой близости. Напротив. В нашем классе издавна бытовали воспитательные подсаживания мальчиков к девочкам. Тех, в ком уже поигрывали гормоны, ссылали на «камчатку», а нас, чьё неполовозрелое веселье выдвигалось в потасовки с «однопартийцами», переселяли в пару к девчонке, где мы сидели с ней, один несчастнее дру-

гого, не зная куда смотреть и чем заняться. Так что повзрослела я медленно и только к десятому классу дорос до серьёзных чувств, первым из которых стала именно она.

Есть имена, унылая фальшь которых пронизывает проносящего томительной неловкостью и тоской. Их жеманная прелесть не выказывает таланта родителей и не составляет счастья владельцам. Но даже и здесь встречаются исключения, где благозвучие переходит известную меру. Эти сиротские клички навязывают свою волю хозяевам, и те, не в силах разойтись с самим собой, живут под опекой своего именного одиночества. Звали её Нелли.

Более всего меня донимала её мнимая недоступность. Она сбивала меня с толку, окружая себя стаями обожателей, что обычно вьются вокруг школьных красавиц. А уж когда появлялась её подружка Леночка — пухлая девица с заплетающимися зубами, что играла при ней роль уродливого мопса и так же презрительно фыркала микроскопическим носом, я совсем раскисал. Но всем красавицам вольно давать авансы...

Несчастливые часы ожиданий. Ей было свойственно разыгрывать с людьми такого рода пасьянсы. Прежде я и понятия не имел, что это был её излюбленный вираж в отношениях. И не только с мужчинами, а с людьми вообще. И даже с животными. По полдня она могла забавляться с котом и бантом, к которому была привязана мясная приманка. Но я был терпеливым пациентом.

Всему началом была её внешность. Она была влюблена в себя почти антикварного Нарцисса. И поэтому всё, что можно было бы посчитать обрамлением этого внешнего блеска, должно было подчиниться определённом порядку. Все её фантазии были направлены на то, чтобы подчеркнуть и усилить свою красоту. А самолюбование и всё вокруг преображало в фантазию, которая становилась реальностью. И если второе не совпадало с первым, начинало сдавать второе.

Тогда у меня было три «отрицательных» свойства, которые не зависели от меня, но от которых зависело моё тогдашнее счастье: я плохо учился, был мал ростом и неуверен в себе. Первое было пустяк, на второе хватало надежды, но третье было непоправимо — мне не хватало истории.

Способов соблазнения существует великое множество. Я предпочитал те, которые бьют наповал.

Не так-то легко исправить пороки, к тому же и мнимые. Я врал ожесточённо, бессмысленно и глупо. Я придумывал себе какие-то особенные способности, я участвовал в невероятных приключениях, был отважен, остроумен и хитёр. Но это было только воображение.

Вырос я взмахом за лето, на другой год поступил, но третье осталось неколебимым.

Она уехала в Москву, поступила в актрисы, и на несколько лет о ней позабылось.

Я потихоньку учился, разгильдяйничал и зарабатывал разгрузкой вагонов и продажей книг. В Городке книг немало, но известные уже раскупили, а о других ещё не слышали.

В благодатной и обширной нашей стороне некогда привольно гнездились залётные иностранцы, бежавшие с возлюбленных родин, кто из бедности, кто от революции, а кто и просто потому, что бежали другие. По этому случаю и образовалась Басурманка. Жили там германцы, голландцы, французы, поляки... Теперь, в свободолобивом порыве, они оптом записались в немцы и побежали назад, растекаясь по объединённым отчизнам, питавшим их новыми мифами. Так что старые они за собой не потащили. И грядка букинистической торговли зацвела.

На стипендию я притаскивал рюкзаки книг. Они прочитывались и уносились обратно...

На площади громоздились коробки с новым товаром. С краю всего этого блестящего великолепия теснились мы. Утро начиналось с раскладки. Я укладывал свои два метра полусотней томов и открывал торговлю.

Не желая, во что бы то ни стало, выручить прежнюю цену, я не ждал «своего» покупателя. Если книга прочитана, то хватало и половины, что с лихвой окупало всё.

Ближе к полудню начинало немилосердно жарить. На глаза букинистов надвигались козырьки и бумажные шляпы. Я укрывался томом пошире и выкидывал главный свой козырь — называл желанную сумму и предлагал прицениться так, как было бы выгодно покупателю, попутно забавляя его прибаутками с намёком на то, что книгу можно взять и бесплатно. Но человеческая совесть, к которой взывал мой вид, никогда не оставляла меня в накладе.

Соседи по рынку так и не решились перенять этот способ. Для взаимного счастья их цены были слишком высоки.

Однажды, с полупустым рюкзаком, я неспешно шёл по бульвару домой. Меня окликнули. Я оглянулся и увидел Нелли. С последней встречи прошло несколько лет. А теперь она стояла передо мной и никуда не спешила. Я так твёрдо позабыл её, что поначалу разговор больше крутился вокруг «ну как ты», пока лента памяти не двинулась вспять. Теперь я смотрел на неё уже без прежней робости, а совершенно так, как смотрят на старого приятеля, с кем мирно и давно разошлись. Но чем дольше мы говорили, тем сильнее действовали на меня прежние чувства, которым хотелось податься меньше всего.

Спустя три дня я посадил её в поезд. А через месяц поехал навестить. Это и было то, чего мне так не хватало. Наверное, всякая история состоит из подвигов... Что делать? Иначе она будет скучна.

Всё следующее — урывки, как если б случилось слишком давно: вокзал, где не знал, куда себя деть; украшенная розовым

веником встреча; разговоры, поездка в прославленную поэтову вотчину и длинная тропка к легендарному дубу, где мы ссорились с каждым шагом; набег на княжеский сад, мешок антоновки и бегство сквозь железные прутья ограды, перед которыми бессильно остановились сторожа.

Но как яблоком нельзя утолить аппетит, так и я только впустую растравил свои чувства. В Москве мы расстались. И тут уж сошлись пустота души с пустотой в кармане: едва я помахал рукой, как опомнилась голова — деньги кончились. В руках — забытый мешок яблок...

На улице не засидишься. Нужно куда-то идти. Когда не знаешь, куда, — иди к центру. Народный уже за спиной. Впереди Московский.

Тогда на Арбате я зашёл в маленькую, нелепую на фоне «книжных» небоскрёбов, церковь. Молодой, в джинсах, помосковски мордастый поп, на мои всхлипы кивнул на икону... Потом я валялся в ногах у Божией матери, ночевал на вокзале, нахрапом лез в поезд — прощай, столичная удача. С тех пор я не люблю Москву и яблоки. В каждом из них — червячок. И пусть ты хоть трижды уверен, что плохое есть он не будет, но лучше уж думать, что человек хуже червя. В конце им достаётся и мы — сколько и каких бы яблок ни съели.

Кроме любви, юность наполнена пространством, в ущерб самобытным фантазиям детства и отсебятине отрочества. Она выходит за пределы дома, двора, района и занимает собой все те места, куда может проникнуть подозрение о бесконечности мира. Наверное, к старости человек естественно становится космополитом, оставаясь патриотом одного только прошлого.

Если взлететь из помойной лужи двора — выше тёмных сараев, домов, крыш, тополей, колоссальной мельничной башни, то увидишь широкое тело реки, вязью проток расчертившей свою бесконечную пойму. Вся огромная эта равнина наливается полыми водами. Рыбы островов, тесно схваченные сетью стариц, уходят тогда в блаженную глубину, объявляя себя только робкими вершинами утонувших лесов. Равнодушная мощь её мускулистой руки легко подгребает всё, что встречается у ней на пути. И плывут тогда в мутной воде лодки, брёвна, дома и мосты. А иногда прибьет к берегу чье-нибудь неудачное тело.

Островитая наша река перекинута мостами. Первый из них — Кошачий — на остров. Я помню только опоры, которые остались от него. Мать видела его новым, красивым, с протянутым поверху канатным хребтом, с мягким дощатым настилом, с ласковым деревом поручней. Там, по рассказам, отец обаял её Ахматовой, не то Ахмадулиной.

В те времена строить у нас уже разучались, так что мост простоял недолго и рухнул в год моего рождения под согласным пионерским топом. Я застал только его высокие башни с торчащими

сверху оранжевыми солнышками отражателей, лихие брызги ныряльчиков и плески солнца в воде. Впрочем, вёл он никуда, а теперь его и совсем затянуло песком.

Мосты в Городке весьма примечательны. И если первый судьбою наполовину схож с Египетским в Петербурге, то железнодорожный, перекинутый на восток, напоминает другое, куда более западное сооружение — известную башню во французском Париже.

Окрестности Городка изобилуют множеством ничтожных селений с большими названиями — Москвой, Варшавой, Прагой, Берлином, Ниццей и даже Вавилоном. Есть среди них и Париж — захудалая деревенька в десятке дворов. Примечательного в ней нет ничего, кроме разве двухэтажной бани, срубленной без гвоздей в лучшие времена. Находится она точно позападнее Городка.

Мост этот построен в эпоху нашей восточно-железнодорожной лихорадки, о чём там и сям твердит на рельсах клеймо КВЖД. Сделали его с большим толком и на долгую жизнь. Открыть движение должны были через месяц, да тут прошёл слух, что будто бы объезжает с ревизией отдалённые владения Великий князь и что, де, вполне даже может навестить Городок. И ничем бы его не удивить, как одним только мостом. Но нельзя — мост не покрашен, а мужики не торопятся — «аккурат впору поспеем». А гость, глядишь, раньше зайвится... Тут и взялись три цыгана: «Точно в три дни покрасим!» И покрасили... Мост родился недоношенным и досрочно облез, а князь не приехал. Спустя четверть века затеялись, говорят, французы обновить Эйфелеву башню. Своих охотников не сыскали и подрядили нескольких наших флотских. Они и покрасили... За три дня! Ещё через несколько лет поднимался на эту башню в числе военнопленных и дед — до первого — порусски второго этажа, куда хорошо долетал голодный запах жареных каштанов и кофе...

План Городка — страница в клетку. Проспекты стекают к реке, а улицы рубят их на кварталы. И только лихие переулки, запертые в квадратную столичную геометрию, самовольно расходятся вкривь и вкось. Центр — Московский бульвар — от реки вздымается вверх. Поперечины старых улиц — вся наша литература: улица Пушкина, где он не бывал, изгибом трамвайного рельса переходит к старинной аптеке, где ночевал Достоевский. На стыке с Московским бульваром она — средоточие Городка. Тут столпились остатки городской старины. Здесь — центр всякой общественной жизни: наискось стадион с футбольными криками, прямо — липовый сквер, в центре — новенький памятник Пушкину, куда стекаются голуби, влюблённые и разноликие общественные чувства. Поставлен он поэту поэтом.

На Пушкина он был бы похож совершенно, если б в растущие из плеч бакенбарды не было вставлено другое лицо. На нём два чувства в одном — радостное недоуменье, но по-своему и оно вдохновенно. Кто оно, Городок узнал вдруг.

Железнодорожный диспетчер Петров готовился к повышению, когда на него низошла муза. Была ли она коллега-кассириша или легкомысленная проводница, неизвестно. Важно лишь то, что Петров внезапно обрёл необычайное поэтическое томление, вылившееся в сборник «Тропы». Этот дебют сразу стал в Городке притчей. Добрая половина книжки была исписана именами коллег-меценатов, а вторая являла благодарственные рифмы сомнительных прозрений и наблюдений за общественной и личной жизнью последних.

Вместо обычной своей средненькой фамилии он взял псевдоним — Воробей. Состоялся он из поэтического брака Володи и полумистической Розы, объединённых модным призывом именитого восточного иностранства, который, вместе с тем, был должен пресечь покушения завистников.

Сборник составил из двух, трёх и четырёхстиший. Заключала книжечку поэма с железнодорожным мотивом «Тело».

Но железная дорога не терпит поэтов. Уволили его с той же внезапностью, с какой его охватило вдохновение после того, как он стал пользоваться громкой связью в поэтических целях. Скоро Воробей стал знаменит.

Открылся памятник так: в сквере ещё собиралась и шумела толпа, когда на постамент взобрался Воробей и стал декламировать «Я памятник себе воздвиг...», после чего перешёл к «Я лиру посвятил...». Публика, пристыженная поэзией, замолчала. Поэт выкинул руку в направлении прославленной аптеки и выпалил: «Пушкин — больше, чем наше всё. Пушкин — это мы!». Следом свалилась тряпка, и народ увидел знакомую фигуру поэта. Воробей именованным сиял рядом с новорождённым, пока кто-то не обнаружил явное портретное сходство памятника с вдохновителем...

Позже уже распознали и тайный смысл напутной речи, и что слова под ногами не вполне пушкинские, да и... Впрочем, воробьиная цель была достигнута. Строптивая и вычурная судьба поэта. Стратегия его оказалась шире поэзии. Спустя месяц он объявился в столицах, где через полгода выпустил повесть «Уста». Писал он о нуворишах и соли для «Уст» не жалел. О том, как их благоустроенные души радостно трепетали от звонких пустяков и завидовали диковинным унитазам соседей. В именах персонажей он вспоминал теперь многих, кто когда-то его поощрял, и переводил бумагу космическими тиражами. Себя узнавали и ненавидели Воробья и его мемуары, неизменно похожие на доносы. Говорят, накапал он и в столице, после чего применил старый приём — пустился в бега.

У Пушкина я присел на скамейку. Это то место, где, просидев день, можно увидеть половину знакомых и даже дожидаться тех, с кем хотел бы встретиться, но свидания не назначал.

На повороте развернулся рекламный плакат: «Чти память отцов. Живи, как мы». В сочетании с Пушкиным и памятью о Воробье это было похоже на заманчивое приглашение на работу от

гильдии гробовщиков так что я невольно перенёсся в Питер, к парусам перетяжки на Офицерской: «Последняя коллекция Джанни Версаче: В лучший мир — в лучшем виде»...

Между тем, к скверу подъехал чёрный длинноющий «хаммер». Из него вышел человек в длиннополом пальто. Он вытащил из кармана мобильник и стал листать адреса. Неуловимую знакомость его движений ещё усилила поворот головы, а жест, будто старательно вытирающий что-то под глазом, вытащил из невыносимого далека имя — Гришок.

Ровный ход моих воспоминаний прервался, будто я одним махом перескочил все времена, но так и не смог достичь настоящего. Всё это было таким далёким прошлым, о котором я мечтал в детстве и в котором совсем не мог вообразить нынешнего настоящего. Я мигом вспомнил «фазанку»<sup>1</sup>, первый день, когда нам выдали охапки уныло-синей, но страшно крепкой униформы. Плащ, костюм и зимнюю шапку для учёбы, рабочий костюм и ботинки для практики. Форму выдавали всех размеров, но беспорядочно и потому все начали меняться. «У тебя какой размер?» — «Сорок шестой». — «Давай мне, у меня пятьдесят второй». Не спрашивали только Гришка, которому просто свалили то, что не подошло никому. Тем самым его изначально определили в шуты, не подозревая, что этот подвох вернётся и сразу, и ещё много раз.

Мы возвращались с обеда, когда увидели все свои скучные, но новенькие вещи весело висящими на кабеле, перекинутом от стены класса к цеховой крыше. Мы никогда не узнали бы, кто был этим изобретателем, если бы спустя пять минут мимо окон, под наши возмущённые крики не продефилировал Гришок в той самой, но чистенькой и прекрасно сидящей форме. Больше всех злился Славик — надежда сборной Городка по хоккею. Гришок будто нарочно нанизал одежду так, что самые роковые оказались впереди, так что дольше всех ждал именно Славик. С этого дня началась вражда, в которой сила схлестнулась с хитростью... Славик давил, Гришок уврачивался.

<sup>1</sup> Фазанка (ФЗУ) или путяга (ПТУ) — теперь подзабытые названия начальных профессиональных училищ. Некогда они были предназначены не столько для подготовки квалифицированных рабочих, сколько для эффективного контроля над теми, кто по разным причинам не смог удержаться в обычной школе. Уровень знаний выпускников оставлял желать лучшего по той причине, что большинство из них уже по самой своей природе не могли ничего усвоить. Впрочем, остроумная система обучения возмещала недостатки головы ручной практикой, которая начиналась тут же, в заводских цехах, где какие-нибудь дяди Васи или тётки Маши учили выполнять несколько несложных операций. Теперь все эти фазанки и путяги поменяли названия и называются колледжами и лицеями. Это последнее особенно веселит, если представить себе, что и первый наш лицей — тоже «путяга», куда удивительным образом затесались и князь Горчаков, и Пушкин. По логике, это и Царскосельский парк низводит до производственных мастерских, о чём некогда прозорливо задумывались иные поэты, организуя свои поэтические цеха.



Гришок давно уехал, а я шёл всё тем же мысленным путём дальше и урывками вспоминал, как мы сидели в пэтэушном квадратном классе и ждали математика. Игорь Петрович — бывший борец и наш учитель зашёл с двухпудовой гирей в руке: «Сегодня зачёт. Кто не хочет думать, будет поднимать гирю. Десять раз — пятёрка, девять — четвёрка, восемь — тройка». Расчет грешил ошибкой, но переспорить учителя было невозможно, а думать не хотели все. Гиря стояла на кафедральном возвышении. Выходили по одному и поднимали кто сколько сможет. Маленький шуплый Гришок был последним. Под общий смех он долго шёл из конца класса, снял пиджак, засучил рукава, плюнул в ладонь и обошёл гирю кругом.

— Давай, Гришок, покажи класс! Смотри не пёрни! — раздавалось вокруг.

Гришок дёрнул гирю, чуть приподнял её и разжал руку. Двухпудовая чугуянка хлопнулась на ногу Славику. Тот взвыл, подпрыгнул и упал. Славик с раздробленной ногой оказался в больнице, а «шуту» дали отставку.

Говорят, в беспутные девяностые он свёл счёты со всеми. И благо, что я не числился среди его врагов. Этот мастер нестандартных решений давно перерос своё отроческое полуимя и теперь его, невесть откуда взявшаяся сажень была Григорием Васильичем — большим бизнесменом, будто детская порочность разрослась до большого греха.

Недоумение поэта понятно. По мысли Воробья, Пушкин должен был бы стоять среди книг. Но их давно отгеснили на рынок. Ярмарка теперь, лишь короткий рядок между фруктами и штанами. Книги здесь окончательно превратились в товар. Людные торжища прошлых лет запустили. Покупатель стал штучным. Потому и книги — не те, что читают, а те, что смотрят, не покупая, — тот антиквариат, который немногие отваживались выносить прежде и держали как сокровище дома.

Я взял массивный том в «мраморном» с кожей переплёте и перевернула толстую корку. Книга называлась «По следам столетий» и рассказывала об эволюции Земли от начала Вселенной до создания человека, двусмысленно мешая Дарвина с Богом, что прозрачно подтверждали ходули, на которых шёл по листьям громадной развёрнутой книги человеческий скелет.

Эти книги, со своей жёлтой, будто пропитанной опытом, бумагой, буквами, как бы переводившими их на «иностранный», но отлично понятный язык, и до сих пор казались непререкаемым авторитетом. Так что даже Писемский, в красном, с виноградной лозой, переплёте, представлялся если не умнее, то ценнее современного лакированного Толстого.

Старые книги открывали другие, неведомые эпохи, когда всё имело свои имена. Древность тех времён была тем таинственнее, чем непонятнее были вещи, которые можно было назвать этими

словами и исчислить непостижимыми цифрами, наподобие древнерусской *колоды* — числа в сто миллионов. Тем более странен был низкорослый Серёга Колода.

Из этих книг я узнавал то, что было так необходимо для игр: что индейская трубка мира называется *калюмет*, а настоящее имя высочайшей горы — не труднопроизносимая школьная Джомолунгма, а *Гауризанкар*.

Странные слова, что встречались на жёлтых страницах, издавна вели во мне тайную жизнь и по причине устарелой стыдливости почти никогда не показывались на поверхность. Зато давали понять, как многое перешло из одного состояния в другое — переродилось без права возвращения. Но жизнь и знания соприкасаются редко. А жаль, ведь от знания мир становился населённое, шире, богаче. В нём, например, как минимум, вдвое больше народов: зыряне и коми, лопари и саамы, черемисы и марийцы, гольды и нанайцы, тунгусы и эвенки, самоеды и ненцы... Жаль, что об этом многообразии можно только мечтать.

Благодаря этим книгам я знал, что «СС» — это не фашисты, а невинный, усечённый былой редакторской застенчивостью до двух букв «сукин сын», так же, как «КМС» — не кандидат в мастера спорта, а князь мира сего. Знал я и то, что ранжир — это строй по росту, тот самый, который открывал мне перспективу взросления. Тем более, что слева от меня строй замыкал всё тот же маленький толстый Серёга.

Желание взрослости не существовало отдельно и было связано, прежде всего, с ростом. Лучше всего это понималось в физкультурном строю, когда поворот головы по команде «равняйся» показывал собственную дальнюю перспективу, в которой длинные одноклассники становились недостижимой высотой. Всегда предпоследний, в утешение я вспоминал фразу из старинной же книжки под названием «Медицина страстей», что средний рост лучше низкого, в особенности высокого. Это и огорчало и успокаивало, ведь в 12 лет есть ещё шанс дорасти. К тому же, эта фраза невольно совмещала меня с самым началом строя, так что я становился столь же «неполноценным» как и наиболее рослые в классе.

Старинное и позднее вызывало недоумения во всём, что касалось его существа от слов до продуктов, взять хоть то же прованское масло, которого следовало добавить полпачки. Какие тогда были пачки? И что за прованское масло? Зато прояснялось другое. «Крутые чуваки» ранней молодости вызывали бы недоумение, если бы не поваренная книга, в которой проверка готовности яиц состояла в *кручении*, скорость и размеренность которого и определяла результат.

Эти книги были чем-то иным, нежели поделки нынешних книготорговцев, единственное достоинство которых в том, что написаны они букварным языком. Сменились и продавцы. Нынешние уже не отличают Писахова от Пейсахова.

Я положил книгу и пошёл к выходу, над которым развернулось полукружье рекламы: «Чай, сахар и сладости от ЗАО «Карат-ель». И эта иностранная «т», вдруг подменившая прописную русскую «т», была тем самым сукиным сыном, который дорос до последнего негодяя.

Перед выборами книгам в Городке предпочитают комиксы. Снаружи рынок сплошь заклеен плакатами. То же дальше по улицам. Лица: брови, губы, глаза с прицельно прищуренным взглядом. Эта портретная внешность похожа на греческую калократию — давно засохший рулет из красоты, благородства и честности. Но всё здесь метафора и фотешоп. Чем ближе к вокзалу, тем всё больше они обступают меня и других. Счесть их нельзя. Подвох и начало сомнений: чёт или нечет? Решётка? Орёл?

Депутаты — слуги закона. Как и должно холопам, они всегда пытаются потихоньку надуть господина. И прекрасодушный барин сносит хамство своих домочадцев. Они ему — память о собственных детях. Но те поразъезжались, где-то служат и писем не пишут. И он знает, что пишут за них эти самые воры. Читая ему по утрам, перед столичными новостями, письмо Алексея, Софьи или Константина, они подражают всему, что связано с ему дорогим: сыновней или дочерней любви, голосам, выбирают слова, которые утешат одинокую и забытую старость. А слепой и давно уже полуглухой барин только кивает головой. Он давно позабыл, что когда-то за эти самые «письма», обнаружив подделку, он нещадно порол хитрецов на конюшне. Но теперь уже поздно. Да и зачем? Не они, так не было бы и голосов. Одно только — чтобы не завирались, их нужно менять. И меняет. Раз в год, в два, в четыре... Но чужих дворян в дом не пускает. И чтобы вечно ходить в фаворитах, меняет себе имена.

Кандидатские лица — всегда временны. Месяц-другой, и то, что было нарядом, сдувает ветром или смывает дождём, смотря по времени года. И если везёт, то они обдирают с заборов лохмотья бумаги и облачаются в скромность. Их больше не видно, не слышно. И только где-то идёт напряжённая работа... Теперь они — живописцы. Ретушируются портреты детей в барском алькове. А гримасы у зеркала — тренировка осанки, позы, лица — на случай, если барин прозреет — чтоб не смог отличить.

Так из временного, из бумажных лохмотьев, они переходят в групповой семейный портрет: вот барин — Тихон Иваныч, поодаль дети, а в прежних пустотах, поближе к усам — всё они — Нюрка, Сенька и Пашка. Но теперь они Анна, Павел, Семён. И, слычая черты, ненароком вспомнишь поголовно родственный троекуровский двор.

Все они — самозванцы. Но хитрый их ум теперь уже знает, что главное — стать легальным и тем закрепиться, может быть, навсегда, чтобы потом уж совсем подменить Тихона Иваныча. Беда только, что Тихон Иваныч один, а их много. Но чтобы упрочить

своё, даже маленькое местечко, нужно пройти неприятную процедуру. Самозванца должны дополнительно выбрать и тем самым умножить его силу законом.

Сегодня все они на виду и многие лица известны. Большинство — чада прежних избранцев. Учились все вместе — в трёх-четырёх окрестных школах, куда по пути из дома не нужно было переходить дорогу.

Школа была тогда — в застольные, давно прошедшие времена, которые, по странному капризу всемирной души, теперь вспоминают с тоской не они, а другие, что до сих пор недоумевают, как всё стало вдруг и быстро меняться. Есть чему удивляться. Жизнь началась свысока. Первый путь в школу на пике олимпийских побед. Два года игр, уроков, школьных звонков, тишины. Уже сообщение о смерти Безбрежного было так же странно, как если бы вместо этого по радио объявили, что в Петропавловске-Камчатском подлень. И вот уже солнце клонится к закату: за сбитым боингом объявили Передел и следом рванул Чернобыль. Дальше — «Нахимов»; Семь Симеонов ждут, кто первый начнёт и вот уже Руст оскверняет Красную площадь... Школе конец. Ещё по привычке, будто в предчувствии перемены, мы застыли в позе ожидания оживления. Но тут, словно под точными ударами олимпийских палиц разлетелась страна. Дальше миг тишины, потом крики, суета и толкучка — базар и вокзал.

И пока одни слагали нули на «счастливых билетах», этих подсаживали в «счастливый вагон». Они и теперь ездят, не зная границ, а тут, чтобы попасть в Омск, едешь по загранице, до краёв заполненной утробными звуками местных напевов с неизбежным призвуком Азии: Алма-Ата превратилась в Алматы, Тува в Тыву, будто стали размножаться чугунные сибирские названия, от звуков которых бросало в дрожь во все времена: Тобол, Сургут, Надым, Барнаул...

Все они здесь по той же причине, по которой в школе нельзя было разгадать, почему в классе «А» учились почти сплошь медалисты. В — «Б» разгильдяи, «В» — был спортивным и рослым. Всё это как-то определялось заранее, когда, кажется, дети все одинаковы — ведь заслут ещё нет. Быть может сами алфавитные звуки накладывали свой отпечаток, подчиняя всех нас своей воле?

Уже потом от крайнего «В» стали отламываться «Г», «Д» и «Е» — тусклые чадолюбивые вспышки последних спокойных лет. И благо, что эта сословная «азбука» так и не состоялась. Продолжи считать по-старому, «Я» бы вышел кривым, заморённым дебилом.

Вот этот учился двумя классами старше. Не идеально. Но умудрялся быть завсегдаем Артека. И хотя к морю был равнодушен, а моряков в его семье не было, фамилия его была Штурман. От имени или по другому, он всегда казался фальшивым. Я помню его человеком круглого характера, что никого прямым не обидит, но накатится и раздавит. Он всегда хотел верховодить: сперва пионерствовал, потом комсомольствовал. Попартийничать не успел, но отучился и начал преподавать в университете. Там

его всё за ту же круглошарость называли «сосуд невинности». Но некоторые злопыхатели как-то огулашали это почтенное имя. И при том была в этом какая-то иносказательная правда. Ведь сколько ни уличай и ни обвиняй шар за форму, никто не поверит, да и не сможет ничего изменить. Врождённая постепенность степенью как-то не становилась. Но шар путей не ищет. Он, наконец, — кандидат в депутаты. А что же с наукой? Да была ли она?

Его программа — вернуть городку историческое имя. И тут я с ним заодно. Пусть хоть так, ведь, имей он замысел поживее, ничего всё равно не случится.

Через дорогу — доска. Здесь почётные граждане. Одноклассник Борис — крутой бизнесмен и слегка меценат. Он всегда любил поговорку о времени и деньгах. Она неуклонно распадалась надвое, где время чужое, а деньги его. Мысль эта воплотилась уже в третьем классе. Но позже вышла боком. Ещё долго, пока Борька не сменил школу, Антон пытался наказать его потому, что тот когда-то купил его свободу за рубль. Сила этого ржавого, покалеченного изуверским молотком рубля была такова, что он, взяв его, прослушал до конца дня. Почему Антон не забрал рубль совершенно даром, а вытерпел до самого вечера? Потом он, конечно, дал Борьке пинка, зато с выражением покорности и отвращения честно носил его портфель, вызывая изумление и зависть на нашем лице.

Не все становятся бизнесменами. Но всем приходится платить налоги судьбе за счастье и за удачу. И нет таких, кто смог бы избежать этой подати. В конце концов, жизнь — только аренда душою тела у Господа Бога, как в кредите с отсрочкой. Но потом неизбежно нужно расплачиваться. Договориться нельзя и каждый платит в назначенный срок. Мы все живём в долг и должители мы только в этом смысле.

Но есть и другие. Эти платят посмертно. Они видят насквозь и не идут на кредит, не веря в Бога, не веря в судьбу. Таков был и Стас. Он хотел других обязательств, не зная, что жизнь нельзя поменять на другую, а только на смерть. Он благоденствовал бы сейчас так, как другим никогда не приснится. Но ему не досталось даже «билета». Сначала талант — всё достать, всё найти. Это он заполнил «ракету» припасами, которых хватило бы до края Вселенной. Но, как не взлетела ракета, так вот и Стас... Плохое всегда случается вдруг. Всё закончилось быстро: достаа, заложили, сел и погиб.

Старый вокзал далеко, под горой. Новые здания, как блестящие фиксы стоявших здесь когда-то цыган, встают на знакомых и новых местах. Кинотеатр за десять копеек — бутик. Бизнес-центром стал дом пионеров. Всё гуще реклама. Новое кафе — архитектурное чудо — трёхэтажный «футбольный мяч». Окна — чёрные и белые «пентагоны». Это я уже видел: держусь за отца. На пустыре громадный сетчатый шар. Внутри — мотоцикл. Он носится взад и вперёд, вниз и вбок. Вонь, вой, вздохи и вопли. Ожидание — упадёт или нет?! Другие времена, другие шары.

Ближе к вокзалу — хуже асфальт. Мысль городского начальства непреодолима, как физика: чем больше людей, тем хуже дорога — и не возразишь. Ещё снег, оттепель и мороз, и всё дальше по закону скольжения. Но упругая бодрость земляков непобедима. Так что шар-кафе — памятник здоровью и наш ответ всем чемберленам на свете.

#### СВЕТ В ОКНЕ

*Одни дети мечтают во сне,  
другие ждут дня,  
чтобы предаться мечтаниям.  
Следует дважды подумать  
перед тем, как будить  
спящего ребёнка.*

Дж. Кутзее. Осень в Петербурге

Вечер будто указывает направление. Скоро уже вокруг обступает толпа, снаряжённая рюкзаками, поставленными на ручные тележки клетчатými сумками, авоськами и всем тем, что больше самого человека, его торопливости и устремлённого взгляда, говорит о готовности отправиться в дальнюю или ближнюю дорогу.

Широкий перекрёсток с трамвайной линией уже позади, а людской поток всё несётся вперёд, к скрытой за углом автобусной стоянке. Справа — бесконечная вереница ларьков, слева — поставленные на ящики мелкие путевые припасы: сласти, пирожки, семечки, газеты. Всё как всегда. Картинку, что проходит справа и слева, стоит лишь отодвинуть во времени и обставить другими домами, как видишь другое, что глаза уже знают:

«По Садовой стремилась безостановочная человеческая река. Берега её подпирались плотной шеренгой продавцов, рядом с которыми кучки мальчишек выглядывали упавшую мелочь.

Торговались тут же или стремились к оптовым ларькам. Продавали всё, от спичек до оружия, для приманки выставляя детские пистолеты. Бабки торговали хозяйственной мелочёвкой, кто помоложе — штучной снедью — лимонами и чесноком, другие держали одежду, приплясывая с ноги на ногу.

«Спырт, спырт, спырт», — безостановочно перебирал у стены рыващим шёпотом кавказец.

«Чай, кофи, какаво», — катила термос разносчица.

«Пиво — шоколад, соки — лимонад, газеты — сигареты», — частил пенсионер с тележкой.

Лохотронщики втюхивали «подарочные» духи или предлагали сыграть в лотерею. Карманники молча резали сумочки.

Вдруг вся эта гомонящая толпа, роняя товар, кинулась врассыпную. Раскатились лимоны «три за десять», опрокинулась коробка с носками, свернули в толпу кавказцы — милиция шерстила торгашей. Впрочем, тротуар ничуть не очистился и даже разбух до поддороги.

Дальше открывалась огромная мерзость площади. Это можно было бы назвать запустением, если бы посреди не торчали острова серых, вкривь и вкось расставленных башен над бесчисленным морем лотков, пустоты между которых заполнялись людским потоком».

Картинка ещё неслась вперёд, и неизвестно, куда привела бы меня, если б не испугалась металлического окрика, в котором объявления о посадке и отходе автобусов перемежались с предупреждениями. Я вышел на площадь. Длинная, как предпраздничный кассовый чек, тирада о сомнительных личностях, что не проходят медицинский осмотр отрубалась классической рифмой: «Извозчик частный — выбор опасный». И этот «извозчик» вдруг обрстал в воображении тулопом, лёгким запахом сивухи, заломленной меховой шапкой, уломо-беспечным взглядом и коренастой уверенностью в превосходстве частной инициативы. Сами «сомнительные личности» не обращали никакого внимания на металлические слова и манили ездоков, поцыгански перебирая географические чётки. Конкуренция торжествовала и, вопреки воспоминанию, милиции никто не опался. Она была тут же и никак не противилась борьбе этих самочинных «самсонов» с «голиафом» автовокзала.

Высокая пропаганда вещала без умолку, но «голиаф» давился собственной силой: длинные пряди от касс уже не умещались внутри. Они вываливались наружу, расплетались, раскальвались и уже без сомнения тянулись к «самсонам». Победители указывали машину, били по рукам коллег, курили напоследок, сплёвывали и давили на газ.

Я влез на переднее сиденье. Хлопнула дверь в салоне. Полетела в сторону раскрасневшийся в сумерках окуроч. Машина тронулась и понеслась.

Последний автостоп через Кошь построен совсем недавно и своими плетёными конструкциями похож на крепко увязанную кóсу. Перед ним широким бантом лежит развязка. Обогнув одно её кольцо, автобус въезжает на мост и несётся по его стреле на восток, а затем, вдоль прихотливого колена реки на запад, будто бы вслед уходящему солнцу. Оно липнет к горизонту, и синее морозное небо покрывается розовой дымкой вечерней зари. Тёмной полосой под нею выступает тяжёлая зелень хвойных лесов. Если не знать о лесах, то издали она кажется чуть приметным порожком. Но стоит приблизиться, как вырастает непроходимой стеной.

Солнце уже совсем западает и оттого перспектива дороги сокращается, так что вершина её треугольника маячит где-то совсем близко. Но древесный вал только кажется беспросветным. На деле он узок, и его прорезает глубокая просека.

По сторонам проносятся белые острова — голые берёзовые кóлки. Они похожи на врастающие в небо колючие корни. Но то ли само небо уже перестаёт быть собой, тяжелеет, срастается с

землей, то ли земля подменяет его и возносится вверх, но при взгляде на дорогу из темноты кружится голова. И ледяные искры от фар взлетают кверху. А, может, падают вниз...

По краям дороги нет деревень. В наползающей тьме они начинают светиться где-то там, за границей моторного шума. Если не чувствовать времени или не смотреть в окно, то можно проехать мимо — стрелка указателя мелькнёт слишком быстро.

У самой дороги ночью живут только заправщики бензоколонок. Днём к ним добавляются продавцы. Но этих давно уже нет. Потушены жаровни, витрины киосков наискось перечёркнуты полосами запоров со скромными замками по сторонам.

Дневная обочина — самая протяжённая в мире страна. Здесь вотчина разных фокусников, лохотронщиков и хитрецов. И сколько ни разгоняй их, идеал торговли — втюхать то, чего нет — не изменится. Шашлык кажется самым реальным товаром: хочешь — смотри, хочешь — пробуй. И если что-то не так, перец, уксус и соль убедят в совершенно обратном...

Страх всегда приходит, как затмение солнца: свет мертвеет, невидимый нож вырезает тени. Всё началось с шашлыков. Тогда все вдруг стали предпринимать. Это потом ходили разговоры о том, что людьми кормят норок. А сначала путники и туристы трепали истории о том, что дорожный кавказский шашлык — из собак. И правда, — оглядывались кругом, — куда девались несчастные псы, которых ловили своими петлями и сачками страшные собачники-живодёры? Может быть, именно там и тогда зародилась счастливая мысль о безнадзорном и вольном рынке? К старым слухам добавлялись другие: противоядие — в кошках: кинь, дескать, кошке шашлык: будет жрать — ешь и ты, а встанет в дыбки — бей кавказца по морде — подсунул собаку. И будь всё так же сейчас, кошки бы жили в довольстве, наподобие индийских коров.

Странно, что старое детское подозрение, основанное на книгах о войне, что живодёры — именно немцы, так странно подтверждалось теперь. По родительским письмам, по слухам, оставшиеся после исхода немцы в открытую ели собак, так что теперь отвязывать их было нельзя. В лице бедных псов они будто мстили другим живодёрам с собачьей требухой, с которых когда-то всё начиналось.

И если сейчас собак едят немцы по собственной воле, может быть, смуте конец? Или всё только вначале? Или это — лишь упражнение, тренировка, что развивает чутьё перед китайской угрозой? Может быть, еда делает нас теми, кто мы есть и, чтобы стать китайцем, нужно есть собак? Недаром пьяницы так меняют лицо, становясь похожими на диких туземцев. Ведь известно — нет диких народов, но есть одичалые. И тогда их зовут — племена.

Края дороги уже не видны. Изредка фары автобуса высвечивают кенотафы — столбики и пирамидки с венками — эти последние пристанища шофёрских душ...



Ехать около часа. Но это совсем уже не город, и добираться кажется дольше — снежная пустыня удлиняет и путает время.

Мелькает табличка. Едва успеваю разобрать слово под стрелкой. Мягко открывается дверь. Впереди несколько километров по снежной дороге.

Габариты автобуса тухнут вдали. Слева и поверху шарит далёкий свет фуры. Луны нет. Звёзд много, но снег не отражает их свет.

Мороз крепчает. Развязываю шапочные уши, утыкаюсь руками в карманы. Идти нужно быстро — городская обувь не любит долгих прогулок. Скорей, скорей! Мимо тёмных, выпуклых силуэтов лесополос, мимо белых полей...

Под сапоги стелет позёмкой. Но чем дальше, тем больше она поднимается и переходит в метель. Она бьёт по лицу, давит в грудь и натягивает штаны на колени. Почти позабытое чувство вытаскивает из памяти детское, от чего отворачивал лицо и воображал. Тогда метель представлялась горластой и любвеобильной дворничихой Анной, подметавшей школьный двор. Это она, с внутренней бранью выбравшись из тёплой постели своего очередного, заночевавшего у неё ухажёра, медленно шла до кондейки с лопатами, мётлами и ломами. Выбирала инструмент и начинала скрести. Потом, уже разогревшись, бралась за метлу и полировала. Но это последнее, сгоряча начатое, вдруг тормозилось; она повидала на черенке, думала о чём-то, затем вскидывала помело на плечи и поворачивалась к кондейке. Шла несколько шагов. Остановливалась. Вновь брала метлу наперевес и мощными, резкими ударами заканчивала начатое. Именно в этот момент она и создавала локальную, но величественную, бешенную вьюгу, под которую иногда попадал и я, так что мне не раз доставалось метёлкой по морде.

Тёмная длинная выпуклая тень лесополосы преграждает свет. Ориентиры — дорожная твердь и плакучий собачий лай. Под деревьями ветер стихает. Поднимаю голову. Небо уже завалено тучами, и только одна караульная звезда колючим зрачком смотрит вниз.

Немного шагов, поворот, и вот свет деревни. Всегда тихий и жёлтый, он радуется и предвещает: дом, печку, тепло. Чем ближе, тем накатанная дорога становится уже и переходит в тропу. Свет не доходит сюда, и опознаться можно только по сухому скрипу снега по краям, куда то и дело зарываются ноги.

Скрип каалитки, несколько шагов. В последнюю секунду кажется, что собаки влаиваются — разрозненные их голоса становятся хором. Улыбаюсь, дёргаю дверь и вхожу.

Зимой деревенская жизнь размеренна и несуетлива. Её скрашивают фантазии и облегчают достижения технического прогресса — телефон, телевизор, приёмник. Не будь всего этого, зима всё равно была бы временем отдыха — ленивых движений и

оживлённой фантазии. Как видно, поэтому и сочиняли когда-то в деревянных домах столько баек. Ведь сама изба всеми своими углами способна избавить от суеты и оживить тысячи застенчивых мыслей. *Заветные* сказки появляются не за стеной. Рождённые разухабной весной, они почти никогда не собираются вместе и расходятся по свету поодиночке и по отдельным словам. Здесь же они теряют свою похабную удаль и любвеобильная поповна превращается в царевну, а работник из Балды в Балдуина Шестого. Для всего этого нужно только покрашенное узорами окно и бесконечно ленивое время. Прерывается оно только хозяйственными мелочами — топкой печи, баней, обедом. Отец просто смотрит в окно, а мать переносит на ткань ледяные узоры. Как-нибудь утром возводится в крепостное достоинство кот и получает тёплое место под боком. Отец стряхивает кота и протягивает руку, мать обнимает. Все дома и желания исполнены. Впереди разговоры, ужин и сон.

Лежу и смотрю в темноту. Я в тёмной комнате стою в кровати, зарешёченной нитяной сеткой и гляжу вперёд, туда, откуда льётся свет и слышатся звуки. Подбородок на планке кровати. Держусь только им — ходить я ещё не умею. Осталось впечатление, что я смотрел тогда на себя со стороны. Очевидно, таким же будет и конец. Где-то там будут разговаривать люди, а я буду лежать, глядеть в «тот» — прожитый свет, в котором ещё будет слышны какие-то, уже непонятные разуму разговоры.

Я проваливаюсь в жаркий припечный сон и чувствую себя берегом и рекой: половину меня греет печка, другую холодит — прохладный воздух идёт на приступ. Понемногу тело окутывают тёплые мглы и над ухом склоняется небесный ночной собеседник. И теплеют, тают, текут в голову мысли. Они длинные, мягки, похожи на большой байковый рулон, который я понемногу толкаю.

Деревенские гости всегда спят до упаду. Расставаться с тёплым, нагретым одеялом жаль. К тому же в чистом воздухе сны приобретают предметную резкость и не стираются так, как это бывает в городе. Их вспоминаешь медленно и с расстановкой. Долго лежу, не открывая глаз, потрошу сны и тяну время. От этого понемногу приходит позабытое чувство: от долгого сна может зарости рот. Мать гладит по ногам и склоняется над головой. Долго смотришь на неё и не говоришь. Нет ни сил, ни желания. Рот пропал — он не нужен. Уже готов откатиться и от ушей, но кто-то свистит на улице и нужно вставать и ответить. Нет, сперва надо поесть. Еда — лекарство для рта. Она разрывает узы и развязывает язык.

Несмотря на «опасность», хочется ещё долго и безмятежно валяться, но вдруг становится стыдно: хозяйева встали давно. Трещит печь, прочищена дорожка, свистит на плите чайник. Медленно открываю глаза. В окно видно, как на небе стоит белёсая мгла, сквозь которую тихо пробивается солнце, так что шапки свежего ночного снега на крыше кажутся продолжением этой мглы и гла-

зами нигде нельзя отыскать границы между ними. Или сам снег, до которого можно было дотронуться, весь уходит вверх, как бы выстроив купол, сквозь который просвечивает слабое солнце.

Ночной снег принёс тишину. Ту зернистую её разновидность, которая так полна, что кажется, будто на сковородке громко лопается пшеница.

Будто чужа моё просыпание, кошки валяются с печки. Громыкает ведро.

Окончательно будят соседи. К полудрёме примешивается чужой разговор. В него постепенно вкрадывается ход часов.

Изда ещё не приняла в себя запахи дня, и пахнет прохладным, вьёвшимся с незапамятных времён крахмальным духом жаренной когда-то картошки с лёгким призывком шкварок. Запахов много, но этот — главный запах деревни.

Отец в кресле у окна читает газету. Рядом с ним солнце пришло на подоконник и свесило «ноги» на пол.

Печка гудит и подтверждает: мороз. Огонь бодрится и довольно ворчит. От этого его разговора становится жарко, будто он в самом деле творит загадочное вещество — теплотвор. Исходит он отовсюду: от земли, от деревьев, от стен, но больше всего от печки.

Завтрак окончен. Сажу у стола. Начало зимы, и морозы ещё только набирают силу. На морозном стекле звёзды, вихры и разлапистые пальмовые листья. Заменяя дерево пластиком, их почти совершенно изгнали из городов. Сами они недолговечны. Но здесь они останутся ещё очень надолго. От печного жара оконные узоры подтекают и между рам собираются лужицы.

Из окна первого этажа смотреть на улицу не так весело. Гораздо лучше, если окно приподнято над низкорослым кварталом и открывает даль. Но просто смотреть в окно не так интересно. Куда лучше найти такое стекло, где попадаются «сучки» — линзочки — особые узелки, которые ненароком роднят его с деревом. Именно через них было интереснее всего смотреть на лица проходящих людей или дома. Стоило нацелить глаз на такой «сучок» и совместить его с карнизом крыши соседнего дома, как карниз под воздействием неведомой силы «ломался», а лица людей безобразились — вытягивались или напротив, сжимались. Потому я и звал их *безобразниками*. Но, вопреки значению, всё, что с их помощью можно увидеть, очень образно, как интересен бывает калека по сравнению со здоровым, но близким соседом.

Одеваюсь. Навстречу сама собой открывается дверь. Прежде невидимый воздух белеет и хлопьями льётся наружу. Входит отец. Белая «краска» облепляет его и он, не снимая перчаток, протирает очки старинным денежным жестом.

Заснеженный двор — белое полотно с несколькими ещё неглубокими тропками — знаками жизни. В слабой попытке задержать время, соединить осень с весной, их каждый день чистят. Но задержись зима ещё на полгода, как пугали нас в школе, и всё пошло бы в обратном порядке. Те же тропинки стали бы подсы-

пать, дома опустились бы вниз, поднялись трубы, и вход в дом стал бы норой, подобной норовским подвалам. Эта неожиданная мысль отбросила меня к началу осени и разгадке странного желания прашуров жить под землёй. Это показалось приобретённой от нужды привычкой. В мысли этой я дошёл чуть ли не до времён ледяной Гипербореи, отчего захотелось созвониться с Сергеем Петровичем и поделиться с ним этой неожиданной мыслью. Но бумажка, что он написал мне, была в городе, и теперь я должен был несколько дней ждать обратной дороги и настойчивым нетерпением портить несколько безмятежных деревенских дней. Впрочем, всё вокруг: не зыбкое прошлое, а самое подлинное настоящее, отвращало меня от всяких стремлений. Свежий воздух, морозец, солнце и даже тени деревьев отбрасывали эти мысли. Нечего думать о чужом прошлом, которого нет, если то, куда я стремился, сделалось настоящим, а будущее придёт само по себе и пытаться догнать его бесполезно.

В проплешинах покрытого свежим снегом ещё недавно цветастого луга сквозит ржавая жёсть палой листвы. Редкие, позабытые листья ещё висят на голых ветвях. Внизу ветра нет. Весь он вверху. Будто кием сбивает последние листья. Они падают точно, как в лузы — в пустой бак для воды, на поленницу, дом и сарай.

Листопад — уловка деревьев. Морозная зима нагоняет холодá буйными ветрами. И деревья берут у солнца взаймы. Ветры глупы и можно думать, этот боевой маскарад когда-то отпугивал их. Редкие перелётные листья были письмами. От переднего края они летели вглубь обороны быстрее птичьих стай и сообщали: готовьтесь к бою. Тогда, в незапамятные эпохи, когда медленнее крутилась земля, деревья выдерживали натиск и откидывали зимних посланцев. Долго ещё и потом они не бросали листьев, и тысячи лет цветá зимы были жёлтым, зелёным и белым. Но теперь ветры заматерели. И чтоб не сломиться, не упасть и не побежать, деревья раздеваются как старинные гимназисты. И листья уже не письма, а крик: запорошить глаза — не дать испугаться, предупредить. Теперь зима лишь начинается жёлтым. Напирающие ветра будто упражняют деревья: взад-вперёд, взад-вперёд — не ленись! И от того сила их возрастает. Деревья старше ветров, а потому и умнее. Не меняется только хвоя — сосны и ели. Они слишком стары, чтобы меняться. Как николаевские солдаты, они верны уставу и долгу. Они не снимают мундира и не бреют усов. Прирождённые воины, они молчаливы. Даже буря стихает перед их спокойной неприхотливостью, и мороз отступает. Это хорошо знает тот, кто бывает зимой в хвойном лесу.

Листьев нет, и сорочки гнёзда кажутся доньями подгоревших кастрюль, накрытых снежными крышками.

Деревенский двор — маленькая страна. Здесь есть всё: собака, скотный двор, птичник, петух. На отшибе — гараж. Рядом мастерская — хозяйничать и мастерить.

Мои здесь недавно. Прежние хозяева живут теперь где-то там, в непонятной Германии. Они — как перелётные птицы, где год — это век. В них будто было заложено всё то, что мы с детства знаем о немцах — свастики. Вот она — жук, бумеранг, многоногое перекасти-поле, накарябанное детско-немецкой рукой на ржавом листе жести. Теперь все они там и могут, если хотят, рисовать.

Сейчас это кажется странным, но прежде, несмотря на однообразную пропаганду, на стенах домов с одинаковой частотой появлялись и звёзды, и свастики. «Партизанами» и с той и с другой стороны были кто-то из нас. Неожиданно я вспомнил старую чашку. Эта толстая, похожая на ступку тяжёлая кружка, которую дед, среди немногих трофеев привёз с войны, будто знак вечности. Её было невозможно разбить, и она сохранилась. Теперь в ней лежал полосатый красно-зелёный носок с пучком моих первых волос. Они так белы, что носок нужен будто лишь для того, чтобы увидеть, что кружка полна. В детстве я был белоголовым, как эта трофейная кружка, которая даже воду превращала в сказочную арийскую сурью.

В подспудном расчёте на вечность на стенах пишут и до сих пор. Звёзд уже нет, и остались одни только свастики, но у тех, кто их рисовал и рисует, нет ни кружек, ни прошлого.

Позже, в юной гордыне, и я готов был причислить себя к этой расе блондинов. Но что-то сильно отвращало меня от бывших владельцев, — тех, что уехали, и тех, что здесь доедали собак.

Из прибитого к коньку скворечника вдруг вылетает детский вопрос: откуда скворцы знают, что скворечники делают для них и где они жили до этого? На это я и сейчас не мог бы сказать ничего, будто совсем растерял чувство, которое прежде подсказывало любые ответы:

— Птицы и деревья похожи.

— Чем?

— Перья — листья, крылья — ветки, и живут одни в других...

А потом ради удальства убитый на пороге домика скворец. Всё исчезло и ответов нет. Куда действительно попал камень? В него? Или граница детства — убийство. Жуки и бескровные рыбы не в счёт.

В мастерской, под кругом циркулярной пилы — опилки. От редкого употребления круг взялся ржавчиной. Верстак не убран. На нём стамеска, рубанок, кучка гвоздей. Это место тоже полно воспоминаний. Не тех, что торчат как привидения из тёмных углов. Для этого нужно посмотреть на инструмент, или уж подойти, взять заготовку, зажать в тиски, пощупать остроту рубанка и чиркнуть десяток раз по бруску, пытаясь придать ему округлую форму. Ничего не беру, а просто смотрю на это запустенье. И раз уж в последние дни меня так увлекло детство, то грех не вспомнить. Вот она — отметина моего трудолюбия — почти отрубленный в детстве кончик указательного пальца.

Топорное воспоминание холодит душу и хорошо, что столярка теплее улицы. Здесь уютно пахнет деревом. Можно сесть на табурет и подумать. Под верстаком, под ногами, по всему полу кучи стружек. Беру веник, но останавливаюсь, приседаю и тяну за прозрачный завиток. Куча шевелится и выпускает. Длинная, кручёная, мягкая стружка из-под фуганка. Месяц назад здесь строгаля гроб для умершей соседки. Обычно стружки сжигают, но с гробовыми не так. Их хранят до весны, чтобы, как требует поверье, выбросить в воду. Что будет, если сделать не так, никому не известно.

Детство, как и вся жизнь — подобна ровно оструганной палке с зарубками: садик, школа, женитьба... А всё, что вокруг, мы не видим, не помним, потому что это те стружки, которые составляли часть каждого эпизода, но за внешней своей малоценностью были заброшены в угол. Многие из них затоптались, обломались. Но многое ещё можно вымести из углов «мастерской» — распрямить, рассмотреть, узнать, восстановить.

Детство требует мастерства, а тому уже приносятся разные жертвы. Кто-то пускает ракеты и обжигает руки, кто-то сверлит самопал и тот взрывается в руках, так что опять отрывает те же самые пальцы. Неуменье от отсутствия ума и от страха. То же было у первого президента. Может быть, потому он так безоглядно тащил всех нас в бездну? Азарт его понять я могу, а вот чувства его были и раньше чужды. Что там взорвалось в его руках, непонятно, да и неважно. Гораздо важнее то, что он ничего не извлёк и ничему не научился. Мой рубленый палец сделал гораздо больше. В доме с печью — топоры и ножи стоят в запечье. Я дождался, пока уйдут родители и взялся воплощать мечты. Автомат был почти готов. Ручка чуть не вставала на место, когда сорвался и хлопнул по пальцу топор. Кусок пальца болтается на тонкой коже, я вою и держу его под холодной водой. Но ведро не бесконечно, а другого нет. Помои густеют от крови. Я истекаю, бледнею, мертвою. Потом ничего... пустота. Очнулся оттого, что отец, вмиг скинувший сорокалетнюю тяжеловесность, безо всяких автобусов проскакивал квартал за кварталом со мной на руках. И это было весело. Я делал беспомощный вид и запомнил, что страдальцам прощают. Но это правильно только для родных. Во всех остальных это почти неизменно вызывает тоскливую неприязнь. Потому страдание — недостижимый идеал, которому учат в церкви. Оно — как мой автомат. Идеал не может состояться. В последний момент топор неизменно срывается и страдание уступает страданию. Ты будто делишься надвое и душа сочувствует телу. От потери крови тело расслабляется. И чем больше выходит крови, тем всё сильнее сокрушается тело, тем сильнее жалеет, а потом и скорбит душа. Соболезновать сами себе мы не можем...

Любая жизнь — мастерская. Приводят всех, но каждый сам выбирает работу по нраву. Кто-то чувствует себя токарем, кто-то слесарем, а кто-то и ювелиром. Другие просто сидят на табуретке и смотрят в точку.

Собирать стружки трудно. Железные режут руки, превращают в лохмотья метлу. Деревянные лучше, но они застревают меж прутьев, прыгают из совка, разносятся ветром. Большинство людей до времени считает их мусором. Нужду в них чувствуешь вдруг, когда работа подходит к концу, а вокруг толпятся уже «помощники и ученики» — жена и дети. И ты переживаешь, мастер ли ты? И если не сидел на табуретке, то в любом случае мастер. Что-то сделал и как-то научил. А уж как и что, оценить не тебе. Остаётся снять фартук, перчатки и уступить место. И если замысел был велик, то некогда уже убирать и разбирать какие-то стружки, которых не счесть, подобно тому, как нет числа у картинок детства. И трудно решить, что раньше, что позже. Это сейчас всё едино, потому что детство закончилось. И только, как гибкие стружки, возникает что-то потерянное и случайное — робкая жалоба: «Мам, меня петух укусил»; отрубленный топором кончик пальца; молочные густые усы; живительный свист емуранки; трепет рыбки в ладони.

Мои замыслы невелики и, быть может, останется время, чтобы собрать и как следует рассмотреть то, что считается сором.

В избе этот «сор» стал валиться на меня отовсюду, и с каждой щепоткой и щепкой я всё сильнее чувствовал себя потерянным ребёнком, которого, наконец, нашли. И теперь, стоило посмотреть в любую сторону, и тысячи подарков уже окружали тебя. И как тогда — испуганная улыбка — только не потеряйся, не уезжай.

Я вдруг решил записать эти случайные воспоминания. Уже несколько месяцев я был дома. Мне никто не писал и ручки засохли. Я стал пробовать их наперебор. Нашлась китайская — «с запахом». Её дешевая вонь раздражала и сбивала с мысли, будто в голову настойчиво вбивали клин. И только спустя некоторое время я понял. Она пахла свежими тополиными почками и чем-то ещё, что было уже не запахом, а намёком к чему-то, что требовало: найди! Но вместо того, чтобы бросаться искать, я продолжал сидеть и грызть ручку.

Сначала я взялся охудоживать своё прошлое без разбору и безо всякой почти цели. Воспоминания ускользали. Прошлое не останавливалось и продолжало жить само в себе. Неподвижность того свода небес, что был надо мною тогда, была только кажущейся. Облака там всё так же летели, на леске дёргалась рыба. Бывшее оказалось подвижным и теперь приходилось думать, как избразить его подвижными же словами, как было тогда, когда икра превращалась в игру...

Вопросы, вопросы... На одни уже отвечено опытом, другие по-прежнему безответны. Да и есть ли ответы? О чём спрашивал я тогда? Почему трамвай нужно обходить сзади, автобус спереди, хлеб резать тонкими ломтями и какой смысл в «волшебных словах»? И эти. Но больше было других, тех, что были сперва недоумениями, а потом уже потом превращались в вопросы. О чём? О том, например, что окошки на чердаке называются «слуховыми», а не зрительными. Кто слушает там, наверху? И кого?

И чтобы вытащить эти вопросы, нужно вспомнить себя от начала и до конца. Но как? Быть может, смотреть на вещи? Теперь, позабытые, они стоят и лежат где-то здесь. Не все, но некоторые, порой не главные, прошедшие избирательный фильтр лихолетья. Сюда, подальше от шума и суетливой недавней жизни перевезено многое. Где же оно? Этого я не помнил.

Растерянность порой прибавляет рвения. Нужно ходить по дому, вытаскивать ящики, подставлять стулья, лазить наверх и опять ворошить кропотливую память.

Мама: «Что ищешь»? Что на это ответишь? Ведь нельзя сказать, я забыл букву «с», когда забыл целое слово?

В холодных сенях старый шкаф. Некогда его короткие ножки были препятствием для бабушкиной вездесущей швабры. Из опасений трёпки под него я закатывал обкусанные пряники. Только потом, спустя несколько лет я понял, что они, лишённые прежде вожделенной глазури, могут быть неистощимым источником удовольствия, когда кончалось всё, что можно было погрызть в обнимку с книгой. В шкафу дед хранил кожаные плащи с дырочками от кубарей на лацканах, обувные щётки и трофейную вакуу. Внутренняя защёлка на левой двери шкафа, при открывании правой начинала тонко вибрировать, так что во рту неумолимо появлялся вкус пепси-колы. Так что недостижимый для детства заморский вкус я знал наперёд, а когда попробовал этот напиток, то узнал в нём старого знакомого — трескучий вкус старого шкафа. Я помнил его долго, и порой, пытаясь прояснить мысли, покупал бутылочку пепси-колы. Обязательно бутылочку, ибо банка придавала дополнительный привкус, которого не было в детстве.

На гвозде, вбитом в его плечо, хозяйственно висит немецкая банка из-под противогаса, последняя из тех, в которых дед высылал из Вены победные трофеи. Теперь банка пуста. Крышка проржавела посредине, так что от треугольника и загадочных букв AGV в его углах остались только кусочки. На дне выдавлено: CONCORDIA. Год, что-то совсем предвоенное, совершенно истлел.

Шкаф обманул. Он заставлен банками с вареньем. От дверного хлопка защёлка звенит, но старый вкус на язык не приходит. То, что он означал, — теперь рядом.

Я обходил все углы в надежде найти хоть что-то, что намекало бы на прежнее. И те места, где оно действительно могло бы найтись, отодвигал напоследок.

Фильтр переездов отсеял множество важных, но менее нужных вещей. И только ревнивая и хозяйственная бедность могла сохранить хотя бы основные приметы прежней внешности. Осталось немного, но самое главное. Максимальная концентрация знакомых вещей. Питерская прощальная мысль о духовном богатстве уже не казалась мне остроумной. Теперь её заменяла другая, что сожалела о переменах, о всяком движении вообще. Она стремительно развивалась, сокращая стремления до немногого — единственного и главного места, где на-



до жить и нельзя потерять. Где они, эти растерянные вещи, слова, имена? Я недоумённо ходил по дому, пока не вернулся к столу. В нём не может не быть!

Старый дедушкин стол. Он ещё из тех, настоящих письменных столов, за которыми приятно писать. Современные столы не предназначены для письма. В их сияющих крышках нет той мягкой прослойки, которая подстёгивает и радует руку. Весь мир давно усадили за неудобную твёрдую парту. Потому и нынешние писатели так малословны — на твёрдом писать неохота.

Приземистый стол торопил — дорасти. К пяти его ящикам — ключ. Средний открывали по праздникам; боковые закрыты всегда. Всё детство я потратил на то, чтобы найти этот ключ. Но привлекало даже не содержимое, а сама идея стола. Всё в нём было от деда. Как ежевечерне он чистил всю семейную обувь, так же самозабвенно убирал он в столе. На расстеленной в ящике газетке лежали все эти карандаши, линейки, циркули, ключи. Всё, что могло рассыпаться и потеряться, было разложено по маленьким коробкам. Потому и привлекала не столько стол, сколько эти коробки. Ведь открывать их одну за другой, значит почти бесконечно продлевать удовольствие. При этом, именно в коробках лежало множество восхитительно ненужных вещей: патроны от мелкашки, капсулы, пакетики с чернильным порошком, запонки, железные перья ...

Порядок в столе был недостижимым идеалом, к которому не было даже смысла стремиться. Ведь знать, что и где находится — не поэзия, а склад. И быть в жизни кладовщиком, пусть и хорошим, не слишком хотелось. Так думалось тогда, а теперь собственные залежи так велики, что всё это начинаешь сортировать с удовольствием, подобным тому, которое находилось прежде внутри каждой коробки.

В среднем — множество старых, ненужных, но добротных вещей — красный сургуч, очки для просмотра картинок, круглые тёмные деньги, среди которых когда-то хотелось найти баснословные старинные монеты, чтобы по-пиратски укомплектовать свой очередной клад. Боковые ящики, я был уверен, хранили в себе несметную пропасть коробочных тайн — побочное всегда скрывает главный секрет.

К восьми годам я догадался отвинтить ножку. Паз был предательски пуст. Стол упал. Я был наказан, но не укрощён. Тайна осталась и дальше — пытка многолетних ожиданий — когда все уйдут и оставят меня одного. Бабушка не выходила из дома неделями, а когда уходила она, оставался дед. Потом я смог открутить и ножки. Был найден и ключ. В ящиках — старые фотографии и дедовы письма с войны. Стариков уже не было. Для меня же всё только начиналось...

Я потянул за висячую ручку и выдвинул ящик. Тяжёлый альбом в ободранной по углам коже никогда не был запрятан, так что листал я его много раз. Теперь он поселился в столе. Пока не рас-

кроешь, его живой кожаный вес, подобно весу сидящего человека, кажется больше. Он — одно из немногих, что не могло быть изменено моим собственным временем, за которое всё стало другим. Что говорить о вещах, если изменилась сама природа — даже зимы стали игрушечными, так что нынешние морозы похожи на прежнюю оттепель.

Фотографии, наклеенные на картонки с золотыми виньетки, уносили в неизвестную даль. Их строгие цвета — коричневые, серые и зеленоватые, лишали прошлое тех излишеств, что есть на цветных, всегда похожих на плохие рекламные плакаты. В цвете нет и не может быть настоящей перспективы. Там — только пространство. Время сломано и потеряло свой вкус. Теперь, чтобы эта его остановка не казалась подделкой, его нужно толкать. Стрелки этих новых часов стоят. Но земля продолжает кружиться. И чтобы поспеть за солнцем, нужно бесконечно лететь или хотя бы стремиться за ним — на запад. И оттого день не кончится. Он теперь — навсегда.

Здесь — другое, настоящее, где не надо никуда торопиться. Здесь оно ещё остаётся тем легендарным парижским метром, длина которого имеет неподдельную цену. Истина — как редкая буква, наподобие «э». Но она хороша только для них, для парижей. Нам лучше что-то другое, что мы давно растеряли. И чтобы уцелеть, нужно порой уцепиться, вернуться, посмотреть на эти картинки, на обороте которых другие слова и другие буквы. Стоило их истребить, и в чужую эфемерную даль поскакали уже не прежние тройки, а экзотические экипажи. Эпизоды: эксплуатация — эмансипация — эвфуизм; эрцгерцог — эполеты — эскадрон; экспромт — эмиграция — экватор; экспроприация — электрификация — энтузиазм; этап — эшелон — эшафот; экономия — эрзац — эвакуация; эксгумация — экспертиза — эпитафия. Эпоха — эпиграф и эпилог. Эхма, в экстазе кричит какая-то шваль, и несётся вперёд, оставляя нам только эхо.

Далёкие и благословенные времена. Литые лица старых фотографий.

Дед родился в обильном, несравненном тысяча девятьсот тринадцатом году в зимней Туруханской глухомани. На уцелевшей карточке молодая, двадцатипятилетняя дама в каракулевой мелкодонной палашке с куколкой младшего сына. В шестнадцатом она убежала от «испанки», в девятнадцатом прабабку догнал тиф.

На другой — двоюродный дед. Теперь и от него осталась только жёлтая бумажка о безвестно пропавшем бойце да несколько старых фоток. Остальную жизнь его жена просидела у окна. Говорят, она видела его лет сорок назад. Будто бы шёл он к дому, глядящаясь в наше окно, и женщина в красном коротком пальто тянула его прочь...

Мне кажется, что это больше похоже на отчаянный старческий сон, в котором желанное вдруг обрывается, чтобы вернуться в реальность. Старики всегда мечтают о прошлом.

Впрочем, изо всей почти столетней своей жизни, она помнила только осколки, которые легко уложить в дистанцию и меньшего размера.

В конце альбома — чёрный пакет с пачкой вялых изображений. Мы прыгали с гаражей и пытались заснять друг друга на фото. Потом, в темноте, в красном волнующем свете разглядывали полоски бумаги, удивлённо следя за полётом. Очевидно, мы летали быстрее редких самолётов. Ведь их было отчётливо видно, а здесь мы почти растворялись в воздухе, и книзу неслась только неразборчивая и полупрозрачная тень. Так что муть на снимках, где себя можно было только угадать, утверждала опасную и заманчивую перспективу невидимости.

Тогда, в настоящем, эти игры со светом, движением и тенью были простыми поступками тела. Здесь, на тонкой дешёвой бумаге, они превращались в телодвиженья души. Они захватывали в себя не только прыжки, но и мысль о них, страх перед бездной, азарт, решимость и всё, что было когда-то, но давно позабылось, а теперь вспомнилось и разрослось. Эта невыносимая скорость меняла и время. Ведь теория относительности — это практика детства. Детство — свет. Скорость его такова, что время в нём замедляется, и его постоянно торопишь. А, выйдя из него, понимаешь, что вырос внезапно и всё закончилось так скоро, что не успел моргнуть. Моргнуть же — это было то самое, до чего я додумался на излёте детства. Именно взгляд тогда казался стремительнее всего, достигая луны, солнца и самых дальних звёзд, стремительнее самого быстрого света. Тогда было всё возможно: веселье целый день напролёт с мимолётными грустью и обидой, путешествия до краешков вселенных и бесконечность грядущей жизни, со всех сторон застланной неярким светом вечности.

Другой альбом полон открыток. В картинках, как в нынешних комиксах — античные мифы. Как и прежде, боги пируют, кушают, соблазняют, подначивают. Это та вождеденная праздность, к которой стремится всё человечество — командовать так, чтобы не уличили. Вот, сидя на облаках, боги держат совет. Ганимед наполняет бокалы, Зевс расслабленно обнимает Геру. Во всём здесь единодушие. Дальше обрыв: выдран лист, и эти разнузданные и весёлые небоседы сменяются другими — теми же, но согласия нет и следа. Есть только страх. Вот Гера мстительно смотрит на Афродиту, вот Ахиллес волочит труп Гектора на глазах зарёванной Андромахи. А вот уже и Эней глядит в заморскую глухомань.

Дальше те, чьих имён я долго не знал. Фебрис — богиня внезапной болезни. Тогда она была обнажённой бледно-зелёной дамой из незапамятных снов. Это она заставляла давить оральные нарывы на дёснах и наполняла уши смертельной, тоскливой болью. И вот тогда вынималась из шкафа синяя лампа и я, безостановочно стелясь, лежал и смотрел на синий — прекрасный и болезненный мир.

Болезнь мучительна, цепка и вкусна как сочинский козинак, где остаются молочные зубы. В ушах гудит и снится вечер, Сочи, шум прибора, склон дороги, пароход. Но нет ни моря, ни козинака, а вместо него редька с мёдом.

Болезней много. Мать лечила их неистово и долго. Листая в постели альбомы и книжки, я быстро научился отличать патриция от панариция, так что палец в стакане с бардовым кипятком приобщал меня к Титу Ливию быстрее, нежели бы домчал гонец с Форуа до Колizeя.

То, что за все эти годы со мной ничего не случилось, будто рифмовалось со странной бабушкиной фразой: Господь бережёт и Бог бережёт. Так что казалось, что Бог и Господь — всего лишь правая и левая руки всемогущего существа, у которого имени нет, потому что он вобрал в себя все имена.

Старые вещи — как зеркало, как перепев. От лампы на дне сундука в угол — к иконе. Связь их смутно понятна. На ней множество безликих фигур — выбирай кого хочешь. По лицам их будто долбили молотком, и поэтому для бабушки эта расхристанная доска была как бы живой и прямоком говорившей о страдании. Впрочем, страдание бабушка не культивировала, говоря лишь, что Бог терпел и нам велел, объединяя этим всех страдальцев в одно, которому она и поклонялась стоя перед иконой в таком же синем волшебном свете. Он выходил из всех этих дыр и скрывал её так же, как лампа меня. Поэтому я никогда не видел её молитв. А, может, не слышал? Ведь синей лампой я лечил уши. А что лечила она?

История вещей — жизнь людей. История моих стариков — в гоголевской «Женитьбе». Вот только рассуждала об этом судьба. Она выступает здесь сильно постаревшей Агафьей Тихоновной. Но все ухватки при ней — судит она по-старому и слишком уж задним числом. Но, как и прежде, переиграть, изменить — невозможно. Стариков уже нет. О них всегда говорили: если бы по-другому, если бы та бабушка вышла за этого дедушку... Наверное, теперь так и есть. Все они где-то там... А здесь, наверху, их связывают только икона и стол.

Пристрастие к книгам подобно болезни. В это время они умощаются так же, как звёзды после вечерней зари. Очарование их опасно — для глаз и для школы. Ведь затем и книги, чтобы видеть мир, не сходя с места, а не носить их с собой. Так что набитый учебниками портфель за спиной — прямая дорога к отказу от книг. Книги — неверие в школу. Соблазн — не идти.

Не пойти в школу можно было двумя способами: обмануть сразу или в кредит. Сперва я предпочитал первое, а затем второе. Первое кончилось тем, что в чайнике лопнул градусник. Я метался между тем, чтобы вылить «отравленный» кипяток и унижительным сознанием вины, могущим испортить мою бездельную карьеру. Я сунул градусник под мышку и лёг. Ртуть нашлась потом на диване и я счастливо отоврался лечебным усердием.

Второе было проще и романтичнее. Хрустальным морозистым утром идти по улице и шагом ломать тонкий матовый лёд до дна замороженных лужиц. Идти и бесконечно хрустеть т хрустеть этой «яичной скорлупой» под ногами. Теперь я обходил дом, ожидая, пока уйдут родители. А там возвращался, забирался в кресло и, обложившись какой-нибудь снедью, читал. Тогдашнее моё чтение сплошь состояло из островов: Таинственного, Сокровищ, Погибших Кораблей и всех вообще островов, которые только ни придумал человеческий ум.

В детских книгах всегда есть или должен быть остров. И на каждом своё. На одном досматривать сны, на другом — увернуться от школы, на третьем — вечное лето.

Тех книг немного. Они стары и слишком легки, будто от времени высохли их свинцовые буквы. Приключения Крузо — странная книга. Изданная для нерусских школ, она обильно уснащена картинками, а над каждым словом стоят ударения. Опять волшебство: «Киргизучпедгиз» приобретал вид богатого парижского издания.

Закладка лежала на той странице, где Робинзон размышлял о невозможности столкнуть свою лодку в воду. Это сходилось с тем прежним двором, в котором стояла такая же лодка, любовно и бестолково построенная соседом. Сдвинуть её с места оказалось никому не под силу. Всё лето этот образец сухопутного корабельства сиротливо и бессмысленно стоял у «причала» его сарая. Обеспечил её кто-то из тех, кто никогда не успевает добежать до туалета и всюду оставляет следы, будь то ножевые надписи на скамейках или копать от спичек на стенах. Лодка была разрублена и сожжена, как сжигалось всё, что могло сгореть в наших прожорливых печках.

Мы топили их всем тем, что не должно было гореть — сломанными хоккейными клюшками со стадиона, где работал отец, лодками и бумагой... той, которую жгут с оглядкой — школьными дневниками и газетными речами поддельных вождей.

Вожди всегда были там, куда я стремился. Только ближайшими джунглями были наиболее окультуренные, сплошь унавоженные человеческим старанием места, где экзотику первобытной дикости заменяла история, расцвеченная мифологическими цветами. Именно так Петербург стал казаться чем-то таким же дивным, как какой-нибудь выведенный Мичуриным царападус<sup>1</sup>.

А вначале я блуждаю по карте, выискивая в них значительные и сочные названия, как это свойственно тому периоду жизни, который напрочь отрицает данное и жаждет только невероятного, что чаще можно сыскать в одной уже красоте слов. И дела нет, что она не всегда совпадает с изнанкой. Что Азорские острова на

<sup>1</sup> Царападус — плодовой гибрид, полученный из степной вишни и японской черёмухи садоводом Иваном Мичуриным. Имя его стало анекдотом, в котором смерть настигла садовника под увешанной арбузами ёлкой.

деле звучат как Эзос, Балтика — Болтик, Испания — Спейн, а Сеул — просто стелька, отчего они кажутся уже не такими таинственными и недостижимыми, а, напротив, безжизненными и механическими, и мир представляется в этом новом звучании колхозной рембазой, лишённой всякого вдохновения. Но этого я ещё не знаю.

Не я хотел переворачивать всё с ног на голову, но таковы были правила, которые люди слишком уж часто меняли. Поумирали вожди, перессорились племена. Всё прежнее оказалось ошибкой и морем пустых обесмысленных слов. Только книги всегда были тем, чему стоило доверять. Их нельзя уже было исправить, и всё оставалось навечно до тех пор, пока не писалась другая книга. Но и она не отрицала, а увеличивала уже существующее. Поэтому не столько разговоры, сколько именно книги давали пищу для мифов. Главным стало чтение старой книги прабабкой, в Петербург не попавшей, а в Ленинград ехать не захотевшей, о том, что в Ораниенбауме есть *наипреимущественнейшая* в своём роде катальная горка.

На карте Ленинград — как план идеального мира — город ста островов. Живи, где хоч. Только б найти такой, где никто бы не жил... Я бы там поселился. А вот Робинзон-непоседа уехал. Но здесь людоедов нет. Здесь музеи, театры, дворцы. Здесь «Аврора». Здесь была Революция и Блокада. Здесь разводят мосты. Здесь белые ночи. И люди красивы. Потому что не может быть по-другому. Потому Ленинград — моя козырная карта. Вот Васильевский остров с его чудными линиями, вот остров боевой — Канонерский, а вот дорога на Турухтанные острова, что прячутся за обрезом. Там ведь точно никто не живёт. Тайна. Карточный фокус. Как умно сделали его люди, что рисуют карты в тихой конторке на Пряжке.

Невообразимо длинная горка, о которой мечтает всякий ребёнок, прочитанная под Новый год и невесть как запомненная, прямоком отправила меня в этот город, где и горок-то не было толком, где снег таял, не долетая до земли, а низкое небо искушало сумасшествием.

Ничему нельзя верить, но всё нужно видеть своими глазами, иначе получишь по носу. Вот и оранжевый город был теперь Ломоносов, а в разговоре — короткий Рамбов. Сократилась и горка, так что покатые снежные громады в зимнем Городке по сравнению с ней — великаны.

Память, как ожидание Нового года. Я сижу в старом кресле и смотрю в ёлочную виноградную гроздь зелёного стекла. На узорчатое окно, на пушистую ёлку с салфетным придуманным снегом. Под ней Дед Мороз — религия детства. Ко мне он особенно щедр, поэтому ставлю под ёлку валенки брата. Верю и позже, но уже знаю, что он сам по себе, а подарки отдельно — от мамы, от папы, от тёток. От брата — щелбан...

Даров уже нет. Далёкие детские боги повлекли за собой и другое. Главное, что я усвоил от них — идею расплаты. И чтобы уйти от неё, нужно взрослеть или казаться другим. Это теперь понимаешь, что вся прелесть детства происходит из связи слов простой и прошлый. Но изменить ничего невозможно и простоты уже никогда не достичь.

Каждая зима — удивление: только четыре, а уже вечереет. Сумерки засияют снег. Он кажется пенной застывшей волной. Закрывать глаза, и слышен шум прибоя: гул автострады мешается с западным ветром. Будто стая легавых, он крутится в вершинах деревьев. Ему уже нечем поживиться. Он бросает деревья и голодно крутится у трубы. Но вьюшка закрыта, и от голода он начинает свистеть и гудеть. Коты прислушиваются, прыдут ушами, лезут на печь и закрывают носы — завтра снова мороз.

Деревня засыпает рано. Читаю. Крузо всё живёт на своём острове и делает дом — обживает пустыню. У него нет зимы, и странно, что он носит шкуры. Понять мысль, по которой в жару нужно одеваться теплее, лучше в мороз. И не сидеть бы ему столько лет, будь там зима. Она, как дорога, что объединяет земли, делая мир белым пятном. Потому именно здесь волшебство — Новый год. До него ещё долго, и сейчас можно только вспоминать и мечтать.

Я лежу и смотрю в окно, будто в сон. На заснеженных крышах высокие телеантенны кажутся мачтами прильнувших к берегам кораблей. Окно совмещается с другим, за которым зелёный купол с жёлтым крестом. За ним, за Новой Голландией, у другого берега — другие мачты. Это барк «Крузенштерн». Адмирал многолик — внизу тоже он — уже в человеческом виде, но в бронзе. Взгляд бредёт дальше, будто по карте, на запад, туда, где в неприютном холодном соборе лежит его именитый прах. Иван Фёдорович Адам Антон Иоганн одинок и утешают его только два Андреевских флага, склонённых над каменным изголовьем могилы...

За стеной снова ветер. Воздух рябит, и смотреть уже невозможно. От долгого дня глаза словно забиты песком. Откуда песок? Старый двор просыпается, оседает в моём рассеянном сне. Ручейки песка уходят вниз. Обнажается старое дно. Встают из песка сараи. Их не сломали, а просто засыпали. Улица вновь возвышается над двором, прорезается лужа и оттуда чёрным потоком льётся вода. Но прежнее «море» теперь не стоит, оно течёт дальше. Подъезд становится причалом. Темнеет. Зажигают огни. Всё видно так чётко, будто я навсегда снял очки. Последняя мелюзга устремляется вверх по реке. Мост надламывается и идёт вверх, будто какая-то невидимая сила надрыгает его изнутри. Он дыбит, расходится и замирает в индийском молитвенном жесте. Вода на минуту становится свободной от движения. Она кажется ровно зернистой, отражая синие росчерки ночных огней. И следом за этим начинают движение сухогрузы и танкеры, похожие на длинные

клоунские башмаки. Они осторожно ступают друг за другом, как циркач по канату. Мимо плывут диковинные имена несуществующих русских владений: «Fort Ross», «Харбин», «Порт-Артур», забытые «Ревель», «Вильна», «Батум» и совершенно невозможный «Беломоръ». И только старый фрегат с круглым облачком над клоуном мачты сквозь просвет моста безнадежно смотрит вслед каждому «земляку», не в силах тронуться с места.

Далёкий «Berlin» сипит, отходит от пирса и медленно втискивается в прореху. Мост скрипит. Воеет старый металл. Видно, как моряки на верхней палубе «машками» и руками расталкивают берега — придерживают мостовые «ладони».

Мост пройден. Пароход уже «обгоняет» Сенат. Он так огромен, что нельзя взглянуть на него, не уронив фуражки. Она катится и падает в воду. Пароход рядом, но не «Берлин», а давно почивший «Нахимов». На баке стоит человек. Он машет и что-то кричит. Лицо его всё надвигается, и то мне кажется, что это тот самый земляк, то барин Сергей Петрович. Я не слышу, но понимаю. Бегу по краю причала, запинаясь за трос. Цепляюсь, но не могу ухватить. В руке он странно худеет. Его покидает стальная упругость. Он обдирает мне руки, но я кидаю его, как аркан. Он летит вслед ушедшей в темноту корме. Попал? Не попал? Причал дёргается. Провода рвутся, и гаснет свет. Падаю и цепляюсь за что-то. Причал трогается и плывёт сквозь мосты, мимо соборов, дворцов, коммуналок, за повороты Невы — на восток — в самую глубь России.





## Герман ВЛАСОВ

*/ Москва /*

\* \* \*

детская речь верлибра  
перистые облака  
я обманулся *liebe*  
ноша твоя легка

ищут размеры губок  
шалости и руки  
не обжигай голубок  
на сквозняке реки

не обижай летящий  
их пестрокрылый род  
ровный апрель блестящий  
таинство вскрытых вод

всё обретает в осень  
смерти глухой размер  
мы с тобой пани зося  
будем в ссср

будет тебе соседка  
маятник как в кино  
яблони злая ветка  
мерно стучит в окно

\* \* \*

еще сушили целлофан  
мышами пахла коммуналка  
лез в подстаканники стакан  
и персефону было жалко

старались думать про тепло  
упрятав руки в одеяло  
из крана медного текло  
минутам суток было мало

в казенной комнате ни зги  
вид поздней осени с балкона  
но туфли женские шаги  
живая спутница плутона

и если он как темный конь  
как товарняк и с нефтью поезд  
она несла в себе огонь  
затягивала туже пояс

и если начинался ад  
и сильные сирены пели  
она делила на недели  
с кавказа присланный гранат

\* \* \*

сдать квартиру уехать на дачу  
всё равно о тебе говорят  
взгляд случайный и кофе горячий  
да в палатках инжир виноград  
собеседник подвыпивший лишку  
курс обменный внимательный слух  
записная и черная книжка  
воробьиный на воздухе пух  
переходик сколоченный крепко  
новостройка мешалки бока  
праздник пива лужковская кепка  
и разогнанные облака

сесть на даче пейзаж наблюдая  
помолчать раствориться нигде  
вот карасиков стайка седая  
ходит в мутной и быстрой воде  
милый мрак надвигается скоро  
янтарем налился лунный глаз  
тихо всё и родные просторы  
неродные уже через час

\* \* \*

В пять обязательно быть у Стрелки —  
видеть окрестности за Невой:  
у дебаркадера почерк мелкий  
волн маслянистых, мундир немой

Адмиралтейства, его наружность,  
крепости шпиль. И на склоне дня  
старой Дворцовой пуста окружность,  
ветреный гид проведет меня.

В медную флейту проспекты дуют,  
дробь выбивают особняки.  
Серо-свинцовы дождя ходули,  
северо-запад собрал полки.

В эти ли гиблые гати кану,  
где безбородый родитель твой,  
в лица твои и живые камни —  
ангел расскажет с ручной стрелой,

чудом сюда залетевший с юга.  
Так и остался век зимовать.  
Влажный Неаполь — его подруга,  
воздух уставшая целовать.

\* \* \*

завтра в замедленной съемке  
желтая слива сарай  
вспыхнуло облако кромкой  
утки плывущие в рай

солнце пейзажик нарядный  
жребий паучий высок  
словно какой ариадны  
липнет ко мне волосок

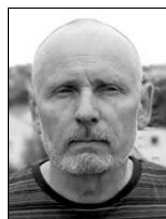
между ладонями в лето  
речка и дымчатый шлейф  
в воду монетка кометой  
ты возвратишься не дрейфь

ветки сухие дымятся  
сладок их приторный дым  
с этим клубком не бояться  
можно тебе и другим

бережный хворост и гянец  
всё пожирает огонь  
робкий осиновый танец  
красный в подпалинах конь

## Николай БОКОВ

*/ Париж /*



Из цикла  
«Колыбельная океана»

\* \* \*

Снова на память приходят  
выплывают старинные строки,  
словно открывшейся двери сияют проемы,  
в этот день, в этот полдень исполнились сроки  
слов созревание закончилось,  
труд завершился наемный.  
Праздник сияет в стекло окон,  
благословенный (*нрзб*).  
Только она и была, прихожая парадиза,  
сверху и снизу.

Вы с тех пор и не ездили?  
Другие поехали и не привезли  
ни мыслей, ни чувств.  
Скоро уж ехать совсем в другие места,  
где нет ни вашего кваса, ни самовара,  
ни ваших казней.

\* \* \*

И тени тянутся к востоку  
И запах скошенного хлеба  
И солнце розовой вуалью  
Накрыло горизонт

И если слезы оросили  
Души тяжелую поверхность  
То жизни алчность пробудилась  
И снова бьется в вене ток

\* \* \*

Почто, бабочка, летаешь над песком?  
 Здесь не твоя стихия,  
 тут грозной птицы тень  
 и брызги волн соленых,  
 нектара нет тут,  
 как нет цветов на водорослях.  
 Чернеет среди волн котел:  
 здесь затонул кораблик,  
 на отмель выброшенный жестокой бурей.  
 Погиб и капитан, и рыболовы.  
 Зачем же, бабочка, своей рискуешь жизнью,  
 чрез волны бирюзовые летишь  
 и на котел заржавленный садишься?  
 Что позабыла тут?  
 Кого ты будешь ждать?  
 Но, кажется, тебя я понимаю  
 и постигаю цель твоих усилий:  
 трепещет пятнышко,  
 как золото, на коричневом железе,  
 а вокруг колышется, сверкая, бирюза.  
 Стараюсь не дышать.  
 Мгновение остановилось.  
 Длится.

\* \* \*

Перья, разбросанные на песке.  
 Свидетельство драмы, разыгравшейся этой ночью.  
 Заснувшую чайку  
 съела проголодавшаяся лиса  
 или, может быть, другая более хищная птица,  
 например, сыч.  
 Мне мнится, я слышал  
 ночью жалобный крик,  
 утонувший в гуле прибой.  
 Луна висела в кронах сосен,  
 окутанных туманом,  
 и некому было придти  
 на помощь и отозваться.

Меня тревожат инстинкты зверей,  
 эта задуманная и безошибочная цепь  
 поедания друг друга.  
 Как бы на нас ни ссылались правительства  
 и оплаченные ими ученые,  
 тут что-то не так.

\* \* \*

И после многих разветвлений  
Вернуться к чистой простоте,  
Как после тягостный сомнений  
Вздыхают полной грудью те,

Кто из подземки душной града  
Вдруг вышел к полю и реке,  
И жизнь себя увидеть рада,  
Чтоб продолжаться налегке.

\* \* \*

*...вокруг лица, освещенного  
кровавой наготой ее губ.*  
Малларме

Гул океана и  
молчание звездного неба.  
Ощутимой на ощупь ночи  
аромат сосновой смолы,  
и пряный запах умирающего папоротника.  
И что со мной? Отчего это блаженство?  
Крики филина и  
черные всплески летучих мышей.  
Господи, ороси меня кровью моих артерий,  
посоли их хлеб солью моих слез.  
Пусть будет поровну  
мое восхищение и их горечь.  
Они наполнили свои копилки  
и, разбив их, заболели тоской.  
Они думали, что некое число монет  
становится счастьем.  
Не получилось.  
Они думали иметь всё —  
а оказалась часть их израсходованной.  
Они верили погонщикам лошадей,  
а оказались пометом для новых комбинаций.  
Господи, смилуйся над обманутыми,  
ибо Ты позволил их обмануть.

*Côte Atlantique*



## Гавриил ЛЕВИНЗОН

*/ Нью-Йорк /*

### Синица в небе

1

В счастливые минуты Отрепышу мечталось, что продержится он в этой, не такой уж постылой жизни, еще с десяток-другой лет, а там, как и положено доброму христианину, отдаст концы с хорошими перспективами на будущее. Что же до прочего, до бранных останков и места на кладбище, то тут как-то не мечталось: это как-то само собой утрясется. Разве нет у них с Кассиопеей детей? Ну, вот и ладненько! Так что давайте думать о душе.

Что ж, выходило отрадно.

Счастье, пошучивал Отрепыш, — явление метеорологическое: оно не бывает безоблачным. Разве не знавал его дом бурь, и ураганов, и сокрушительных торнадо, а вот такого покоя, как теперь, такого душевного достатка не знал никогда. Вот он, шестидесятипятилетний американец, восседает за компьютером; в соседней комнате прежняя его, живая, хоть потрогай, Кассиопея-Кормилица, а во-о-н там через несколько улиц — старшенькая, Пулюньчик, со своим тучным муженьком и двумя, его, Отрепыша, внученьками, Красулей и Любезницей; а еще дальше в-о-о-н там, в нью-джерсийском Хобокине, младшенькая — Зайчонок со своим субтильным муженьком, с внученькой Смышленишем и внучком Нахабкой. Весь дом, которому надежит быть спасенным по Господнему обетованию, так ладно, по-домашнему располагается на американской земле, которая теперь уже и их земля. Чего ж еще не достает? Добрых воспоминаний в старости? Пожалуйста!

И нанизывает Отрепыш свои воспоминания на нить своей памяти, да только не все они добрые.

Был Отрепыш широкоплеч и невысок, не красавец, но и не урод. Когда отдышал он в ИгнаLINE, литовцы принимали его за своего. Вот вам и прожидь — где она? А она была в наличии, зримая. Но дело ведь в том, что Отрепыш — человек, к которому надо приглядеться.

Канатоходец, отец Отрепыша, был евреем из евреев. Мечтал вырастить сына достойным потомком Авраама. Не канатоходцем, нет! (А какое б еще прозвище вы дали экспедитору, содержащему свою семью в достатке?) Так ни разу с каната и не свалившись, скончался от «рачка» в сорок два года. Перед смертью и о себе не забыл: велел похоронить себя по-еврейски.

Отрепыш не кичился своим еврейством. Напротив, не забывал, что по бабке он Баранников, то есть, нужно полагать, русский, а в военкомате восемнадцатилетним полюбил на всю жизнь русского доктора, когда стоял нагишом перед комиссией. «Сынок, — сказал этот русский человек, — убери ты свое родимое пятно. Зачем оно тебе?» Родимое пятно Отрепыш убирать не стал, а слово это «сынок» вместе с доктором, удостоившим его отеческой ласки, припрятал в специальный кармашек, который завел в памяти своей для людей, приглянувшихся ему.

Русских в этом кармашке было трое. Второй среди них шла Антонина Гавриловна Полуэктова. Уж как она согревала Отрепышеву душу только тем, что проходя мимо него по школьному коридору, поглядывала на него участливо, однажды подозвала его в классе набедокурившего и произнесла всего-то три фразы о том, что ему, Либерману, выпало жить без отца — вот и должен он думать сам, как поудачней занять свое место в жизни. Сказано все это было не с какой-нибудь там, а конечно же, с русской сердечностью. Отрепыш и понял: любит его училка и стал вспоминать о ней по вечерам. Вспоминает иной раз и до сих пор, а вот навестить одинокую старушку, когда ушла она на пенсию, не догадался. Уж такие они, наши праведники.

Третьим русским человеком шел в его кармашке старший лейтенант милиции. Ни сном, ни духом этот человек не помышлял, что попадет в Отрепышев памятливыи кармашек.

Вздумалось Отрепышу в наступивших уже сумерках искры высекать при помощи камня из торцовой, как скатерть пролежавшей, мостовой. Что ж, искры высеклись. Но обнаружил тут же обомлевший Отрепыш, что камень с нехорошим постукиванием подпрыгнул к ноге с лампасом. Генерал! Отрепышу бы навстречу ему броситься и повиниться, а он только и подумал: «Убегать не буду!» И то хорошо: развернулся разгневанный военный человек и стал приближаться к компании подростков. Был он высок, подтянут, строг видом, видать осознавал себя не меньше, чем на большую звезду на своих погонах. «Кто бросил? Представьтесь!» — Отрепыш и представился. Не любил он своей фамилии. А тут и вовсе разочаровался в



ней, когда озвучивал ее для генеральских ушей. Но, видно, фамилия не наклакала на него никакой беды: уж, конечно же, стало ясно генералу, что к «бандерам» провинившийся не имеет никакого отношения. «Следуйте за мной!» А дело было в пятьдесят втором, и Отрепыш уже кое-что слышал о любимце народа, Берии. Но не догадался он помолиться, а вместо этого решил положиться на свою сообразительность. Генерала по дороге, представьте, вздумал Отрепыш попытать. «А вот я сейчас убегу!» — кинул пробный камушек шестнадцатилетний хитрец. «Не вздумайте! — откликнулся генерал. — Я тут все разворочу...» Отрепыш и поверил.

К особняку командующего округом привел генерал Отрепыша, все размышляющего над тем «а что же мне будет?» А дело тем временем оборачивалось каверзно: выбежал лейтенантище, молодежато вытянулся перед генералом, получил приказание вызвать машину из комендатуры и умчался. Доставили Отрепыша в милицию два автоматчика на «Виллисе». «Ты что, парень, спятил?» — сказали ему милиционеры в дежурке. — В генерала камни бросать!» До чего же умудренные были!

Но появился старший лейтенант, которого Отрепыш через несколько минут в кармашек свой поместил. Повел милицкий офицер Отрепыша в свой кабинет. «Пиши, — велел, — как все было... Кто слышал, что ты собираешься искры высекать?.. Пиши... Все, иди». Отрепыш наш, ставший вдруг Вадиком Либерманом, поинтересовался: «А что мне будет?» — «Штраф». — «Сколько?» — «Рублей пятьдесят». Отрепыш толком и не понял, почему этого милиционера в кармашек своей памяти поместил. Да как же было не поместить? — так быстро и просто освободил он его от страхов. Любит Отрепыш этого милиционера до сих пор. И правильно делает. Взял милицкий офицер на себя это дело, корректно все провел. А ведь другой бы, кто его знает?.. Мог бы и посадить за враждебные действия.

Вот и выходило, что к своему родству с Наташей Ростовою и капитаном Тушиным литератор наш будущий относился, если не с душевным трепетом, то с чувством почтительным и радостным: любил литературу больше, чем жизнь, — что тут поделаешь?

Само собой, были в заветном кармашке и украинцы, соплеменники Отрепыша, если судить по записи в его паспорте. Первым среди этих достойных людей шел преподаватель украинского языка, принимавший у Отрепыша вступительный экзамен в университет. Окончивший русскую школу, Отрепыш не уверен был в своем украинском, а баллы ох как нужны были! Экзаменатор его по фамилии Голобородько все приязненно посмеивался то ли над не вполне украинским произношением Отрепыша, то ли над его еврейством, которое проступало только в фамилии. С интересом относился к жизни человек. Посоветовал Отрепышу завести себе «українську дівчину», чтоб

она его подучила «украинский мови». Отметку в зачетке про- ставил быстро, так что парубок наш украинский не успел и разглядеть, что там намалевано. Оказалось, четверка. Тройка означала бы, что на последний экзамен можно и не идти. За эту вот братскую приязнь и за отзывчивость к чужим нуждам и внес Отрепыш Голобородько под номером первым в свой украинский список.

Был, само собой, и еврейский список. С почетом первен- ствовали в нем два еврейских паренька, которые бросились на выручку к Кассиопее и Отрепышу, когда стали у них вымогать на выпивку трое пьяных, предположительно русской нацио- нальности. Отрепыш залюбовался этими двумя бегунами, пе- чатую еврейской взаимовыручки на их лицах. Тут бы ему и понять: держаться надо евреев: нельзя поделить себя на всех. Но нет, хотелось ему любить всех.

Но не всегда любилось по-справедливости. Ну, за что, спросите вы, Отрепыш внес в свой кармашек некоего Беккер- мана? А всего лишь за родственный еврейский распев: «Ли- берман, — было сказано, — зайдите в канцелярию за путе- кой». Что с того, что путевка в профилакторий пожалована ему была за то, что три месяца провел он на целине? Сказано-то было сердечно, по-домашнему. Вот и питает Отрепыш слабость ко всяким там Беккерманам! Что тут скажешь? Пригрелся хо- хол среди евреев.

О чуланчике в памяти Отрепыша, куда вносил он воспо- минания, которые решено забыть, мы сейчас говорить не бу- дем. Уж если решено, так, значит, и забыто. Но до поры: кое- каких фигурантов, как нынче любят говорить, Отрепышевой подследственной памяти придется нам временно оживить.

## 2

Читателя, конечно же, интересует мать аттестуемого, из- вестная всему городу пирожница от горторга. Как же это она материнским своим сердцем не почувствовала, что отдает сы- на на посмеяние. Ну как не подшутить над Либерманом, запи- санным украинцем? Да к тому же обтрепанным. А все дело в том, что склонна была женщина эта к юмористическому ос- мыслению жизни. Советским ли был ее юмор, украинским ли, но уж, во всяком случае, не еврейским. «Будуть у тебе, сыну мий, сказала она, — цуресы. Що ж робыгы? Батько твий ев- рей. Пишишь, як я, не пожалиеш». Послушался ее шестнадца- тилетний соискатель человеческих улыбок.

Много смеху из-за всего этого вышло. Смеялся сам Отре- пыш вместе с еврейскими своими друзьями. «Ну, — говорил первейший из его друзей, Изя Котляр, — да ты, Либерман, ев- рей какой-то странный. Хохломан — твоя фамилия, ты уж ме- ня извини». Другой, не такой близкий, как Изя Котляр, но все же почти друг, Петя Записоцкий, все посмеивался над нело-

гичностью Отрепыша. «А мозгов-то у тебя, Вадик, не хватает. Надо было брать фамилию мамы, а то ведь нелогично: Либерман — украинец. Отец твой, я уверен, был посообразительней». Уж кто только из еврейских здравомыслящих людей не корил Отрепыша за нелогичность. И правильно корил: откуда ей было взяться логике в недоукомплектованной Отрепышевой семье. Нет, не логика правила его детством, а любовь к матери и сестре, которую Отрепыш и не осознавал, ибо считал, что детство его протекает по единственно возможному маршруту: от младенчества к зрелости, вот вам и вся премудрость. Но что же в нем такого было, что долго виделось оно единственной победой его жизни? А ничего такого, кроме радости: вот живу!

Комната в шестнадцать квадратных метров в коммуналке до сих пор видится Отрепышу в поэтических его видениях обиталищем трех Божьих существ, счастливых своим, несказанным счастьем... Летом в распахнутое окно сквозило, тянулась ветка клена, — вот скоро уже можно будет коснуться родной природы, простирившейся зеленым островом Божьего величия. А вверху гобеленовые облачка... Такие домашние, родные небеса... Божья благодать! Но это в воспоминаниях. В яви же: вот живу и радуюсь! Что с того, что иногда приходилось пробавляться пирожками с чаем, в иной же, денежный период месяца, Отрепыш сам закупал продукты, разбирался в сортах картофеля, летом устраивал клубничные пиршества, а зимой, поразмыслив, приносил с базара свинину на жаркое, обрекая дом на те же пирожки несколькими днями позже.

Сестра привычно дышала тут же, упрашивала брата, чтобы брал ее в компанию, просилась в школу вместе ходить, но был непреклонен Отрепыш: еще чего! В зимние утра, когда мрак неохотно покидал зябкие улицы, шлепала она следом за братом, отлученная от сладостного семейного общения. Братом она гордилась: вон какой задумчивый, ишь, стихи сочиняет! Бога полюбила шестилетней, когда повела мать, напуганная смертью мужа, выводок свой в храм. Десятилетний Отрепыш все озирался, все старался понять что к чему, девочка же бросилась целовать икону да такой вот, богопослушной, и осталась, как выяснилось к тридцати семи годам, — тогда-то и оседлила она свою жизнь с баптистами.

Не было лжи в той удивительной его жизни.

А Отрепышевы друзья насмехались над Хохломаном до поры, осеклись криваяки после вступительных экзаменов в университет. Обоих их сыпанула по физике один и тот же преподаватель с запоминающейся фамилией Недбайло. Что с того, что оба они отмечены были на олимпиадах? Пришлось им год кантоваться. К великому своему счастью Котляр по зрению в армию не годился, а Записоцкий семнадцатилетним окончил школу. В следующем году оба они поступили уже во всеоружий жизненных знаний и еврейской непохвальной настырности.

«Споткнулся жид — гони монету!» — прокомментировал свое поступление Петя.

А вот Либерман проскочил. В приемной комиссии формалисты сидели, скажете? Нет! Милые люди! «Зачем ему страдать из-за папы, которого уже нет, — подумали, — когда есть у него мама-украинка». Нужно здесь отметить дотошность нашего абитуриента: не поленился он в автобиографии своей указать девичью фамилию своей мамы, что не осталось незамеченным. Декан факультетский, по фамилии Мороз, подмигивать Отрепышу, правда, не стал, но при выдаче студенческих билетов между делом дал понять, что в автобиографию нашего хохла заглянул: «А вы, Опанасенко, — спросил, — харьковский?» Отрепыш и догадался: что отмечен особым вниманием. А секрет такого вот интереса преуспевающего знатока украинской литературы к Отрепышу был в том, что сам он был Морозом по маме, а по папе, стыдно сказать, Мардером, что означает, как разведка Отрепыш, разбойник.

А на дворе стояла пятьдесят третий год, когда все, как один, евреи в едином порыве переводили дух от пережитого страха. Когда еще людям удавалось из паспортных данных составлять столь спасительные фигуры?

## 3

Ну, а что же еще, кроме указанного кармашка, носил Отрепыш в памяти своей? Был у него, как у всякого полноценного мужчины, и кармашек для женщин. Но был этот кармашек долгое время, считай, пуст. Одна Дануся, двенадцатилетняя девочка, занимала все это пространство памяти. Да и можно ли было ее считать настоящим приобретением? У тебя, читатель, небось, в кармашке что-нибудь пообольстительнее. А тут, представь, идут они, Отрепыш с другом детства, Володей Ковалем, по деревеньке, наловив раков в речушке, больше на ручей похожей, а из хаты под соломенной крышей выбегает девочка-тростиночка. «Дануся! — кричит ей отец. — Иды до мэнэ!» — «Ни, тато, идить вы до мэнэ!» Вот и все. Еще, пожалуй, о ветре следует сказать. Подхватил этот бродяжка подол платяца. Вон они трусики! А вон взгляд смущенный, брошенный на горожан.

Как же сумела эта деревенская девочка, много лет полновластно распоряжаться в женском кармашке будущего нашего литератора? А вот же! Мимолетность, такая вот картинка для бедных запала в сердце.

Друзья его еврейские всколыхнулись: не импотент ли? Отрепыш клялся: «Во всеоружии я!» — «Так что же ты, — говорили ему. — Что же ты малодушничаеть. Вперед, малыш!» Петя Записоцкий все инструктировал его: «Ты пойми, женщина хочет того же, что и ты. Помни об этом! Порывы души твоей хоть и хороши, но уведят тебя от жизни!» Предполагаемый импо-

тент возразил, что сам видел, как Петя на вечеринке заработал по физиономии, решив, что русская девушка от него, еврейского рукоосуя, хочет того же, что он от нее.

Тридцатилетним вернулся Отрепыхин на то самое место, оставив пирующих на лесной полянке друзей. Дом, прежде крытый соломой, преобразился за восемнадцать лет в другой: стоял, правда, еще не достроенный, но уже крытый шифером. Видно, в доме жили, хотя кое-какие окна были еще не застеклены. Вышла из дома женщина с ребеночком на руках. Миловидная галычаночка с уже натруженными руками. Та! Та самая! Отрепыхин попросил напиток у мечты своей. А она возьми и улыбнись: «Так то вы булы тоди?» — «Я» — «От бачите, я памьятаю». — «А вас зовут Дануся?» — «Дануся». Пригласила приезжать к ним на отдых в новый дом. Но мечтатель наш и без того переполнен был впечатлениями.

Не подумайте чего нехорошего об Отрепыхе. Был он здоров. Но вот женщина, которой попользовался он до женитьбы, оказалась без призора в его памяти. Блаждала она, искала себе пристанища, попробовала было разместиться в том кармашке, где была Дануся, но изгнал ее оттуда Отрепыхин, и вскоре оказалась она в чуланчике в качестве использованного учебного пособия. Забрасывал в чуланчик этот, как вы помните наверно, Отрепыхин все, что хотел забыть. Заглянул он однажды в него — и изумился: неужели ж это все я наскладировал?

Но появилась все-таки женщина, ради которой Отрепыхин не то что на край света, а хоть бы и в польню моржом. Озорное было у нее имя — Сашка и свои, собственной выдумки, словечки: «А хуже тебе не будет? А глаз у тебя не опухнет?» Сделал Отрепыхин ее в помыслах своих родной, милой своей женой. Просыпался по утрам с мыслью о ней и засыпал, счастливый оттого, что завтра с утра опять проснется, наполненный несказанным своим чувством. Обозревал он ее в памяти своей и в профиль, и анфас и все воскрешал разные сценки их неземного общения: вот споткнулась она, так мило охнув, а вот, прижалась к нему плечом, лукаво улыбнулась и сообщила, что надо ей сбегать пописать, а то предложила ему углубиться в темную аллею парка и, усевшись на скамейку, стала вразумлять Отрепыхина: «Да что ты все прикладываешься ко мне, как к покойнику. А ну-ка подучу я тебя», — и коснулась Отрепыхина языка своим языком. Но нет, не понравились Отрепыхину эти смоченные слюной поцелуи, все старался он прильнуть к ней губами, вроде как флейтист к флейте, готовый в звуке выразить все свое изумление перед той радостью, какую дарит любимая женщина. Так отчего же наш потребитель жизненных впечатлений не женился на этой милой озорнице? А оттого, что посмеялась она над его романтическими чувствами. Оборвалось все в нем, когда она, шалунья такая, сказала ему: «Вадик! Постельки я тебе предложить не могу, но, если хочешь, возьми меня тут?» — «Как же я это сделаю?» — спросил недотепа. «А ты

сообрази. Небось, глаз у тебя от этого не опухнет». Что же наш простак проделал? Вздрогнул, пробормотал: «Да что же ты с собой делаешь?!» — повернулся и выбежал из парадного. А ведь было доброму молодцу двадцать пять, а его какая-то соплячка двадцатилетняя учила решительному обхождению с женщинами. Вот и понял Отрепыш, что надо ему подучиться, прежде чем жену искать.

Прошел он курс любовных утех у разведенки по имени Лариса. Научила его женщина всяческим умениям и здравомыслию, и все бы хорошо, да вдруг обратил внимание повеса наш, что стал он недолюбливать себя. При бритье вдруг возьмет — да и скривится. С особенной беспощадностью оценивал он себя, когда вспоминал, что чуть было Ларису эту не сделала своей женой только лишь потому, что стыдно было ему придти в ее дом ради блуда: одна, видите ли, подробность их общения смущала его: когда шел он к месту их телесного ликования, так и вспоминал о душе, ибо проходил через комнату, где обычно сидела за вязанием мама его возлюбленной. Кланялся ей Отрепыш интеллигентным поклоном, а через какие-то, обремененные совестливыми оглядками минуты, уже упражнялся в любви. «Ну, экзерсисы! — думал наш знаток французского. — Настоящие экзерсисы!». Это так, по-образованному оценивал он свое жлобское поведение. «Но, с другой стороны, — думал Отрепыш, — надо же как-то и жизненную школу проходить. На одних возвышенных чувствах ведь не продержишься в этом чертовом мире».

Где уж там! Ничего эстетически полноценного с этой женщиной у него не получилось: уж очень откровенной была она в разговоре. «Учти: последний раз за так, — говорила. — Приходи с прогуском от мамы. Принеси ей хотя бы букетик цветов за то, что расстраиваешь ее своим неопределенным поведением».

Расстался Отрепыш с Ларисой нелепейшим образом: однажды, когда шел он к ней ради жизненной практики, жизнь ему такие практические занятия устроила, что только бесу и выдумать: вдруг почувствовал наш практикант рези в желудке и вслед за тем устрашающие позывы, в результате чего стал он передвигаться по нашему, ставшему вдруг сомнительным миру, торопливыми, семенящими шажками. «Очень похоже на любовный порыв, а как же! — простонал в мыслях своих Отрепыш. — Бегу на свидание с унитазом, будто к любимой женщине» — «Так ведь это же он подстроил! — осенило Отрепыша. — Кто же еще?» Так вот наш несформировавшийся атеист уверовал, простите за откровенность, в сатану раньше, чем в Бога. И так ему тут обидно стало, что он, молодой человек, вполне приличной наружности и образа мыслей, не кто-нибудь, а учитель языка и литературы, в результате злокозненных проделок оказался в положении засранца, что хотя и не заплакал он физически, но рыдала душа его, жаждущая красивого и возвышенного. Кабинку в

общественном туалете покинул он со стуком, означавшим, что все, больше он ради экзерсисов ни с одной женщиной встречаться не будет. Любви хотелось!

Присмиревший, обнадеженный тем, что с этого момента пойдет он иными путями, вышел Отрепыш из туалета-метро в прекрасном своем городе и тут же стал наслаждаться запахом цветущих лип.

## 4

А работал наш обтрепанный герой в это время в сельской школе в каких-нибудь тридцати километрах от города. Веда к школе дорога, скатывающаяся в лощину, чтоб затем, как на санках, вознести молодое тело вверх. Ну чем было плохо? Спускался и возносился Отрепыш, идя от автобуса. Да вот в школе было скучновато: одни старые мымыры да единственный учитель-мужчина, страдающий от алкоголизма, нюнящий перед каждой школьной вечеринкой, что опять ему придется подружиться со «стакашкой».

И вот в один из дождливых осенних дней вдруг солнышко проглянуло в небе и заглянуло в школьное окошко: вышел Отрепыш из класса и остановился, еще не догадываясь, что это больше, чем перемена погоды. А как же! Знамение оказался этот поток света и перемещающиеся в нем пылинки, а дальше, в затененном углу коридора увидел Отрепыш женский силуэт в изысканной позе фотомодели. Стояла женщина подбоченная одной рукой, а другой — прижимая к груди классный журнал.

И дальше три дня подряд любовался ею Отрепыш, как каким-нибудь созвездием, и всегда, когда бы Отрепыш на нее ни взглянул, стояла она, то отставив ножку, то преподнося себя в жесте, как умеют это делать только умные, утонченные люди. И даже походка у нее была особенная, целеустремленная, и нужно было видеть, как эта училочка, направляется в класс, помахивая журналом, чтобы понять, что все это в ней звездное, предназначенное для любования. «Ну, Кассиопея!» — охнул про себя знаток античности. Узнал он, что женщина эта у них на замене вместо оказавшегося на противоялкогольном лечении учителя математики: «Я ведь тут один мужичишка на всю школу. Неужели же все эти позы и походочка с журналом в отмашку для меня?» А вот и нет! Любила Кассиопея, чтобы любовались ею все, кто ни есть: и детишки, и взрослые, но и мужичишку нашего она приметила. «Один на всю школу, — подумала, — да и тот Отрепыш». И стала она свои позы принимать для всех, кроме него. А все потому, что была аккуратисткой и терпеть не могла обтрепанных и нерадивых в обращении с собой и своим костюмом. Подумал как-то Отрепыш: «Вот стоит женщина для прославления в народах, но не для меня она. А почему? Да потому, что я шкраб с пузырями на брюках, а она училка». И решил доказать ей Отрепыш, что он только с виду шкраб, а на самом деле методический дока, настоящий

народный учитель, хотя еще и без отличий. Подошел он к ней на переменке, а она в лицо ему смотреть не стала, а неодобрительно уставилась на его туфли, жеванные, но не дожеванные драконом с острова Комодо. «А вот интересно бы мне было побывать на ваших уроках. Говорят, вы волшебница: двоечники четверочниками становятся... Я тоже за передовой опыт», — произнес он свою, Отрепышеву, шуточку не шуточку и стал с трепетом ждать ответа. Не догадывался Отрепыш, как он ей угодил, живущей ради пребывания на небосводе, чтобы каждый мог полюбоваться ею. Тут она и подумала: «А что? Он ничего: причесать, брюки и туфли сменить и можно опробовать...» На что опробовать, она не сказала себе: была застенчивой, но конечно же, догадалась, что просится ей на язык слово «жених». «Зайдите как-нибудь... — сказала. — Вот в пятницу у меня интересная тема в седьмом классе». — «Не премину, — сказал наш сельский интеллигент. — Сигнал принят!»

Мотанул он после уроков в город и купил себе туфли аж за пятьдесят рублей, чтоб она осталась довольна, позерка эта.

И полюбили они друг друга: он ее не за позы, нет, а за отличную терморегуляцию, еще с бедуинских времен приобретенную ею: была она в жару прохладной, а в холода горяченькой; она же его полюбила не за нарядность и дендизм, а за смешливую его покладистость. «Ты мне подходишь, — сказала. — Старайся!» Только вот старания она от него требовала гораздо большего, чем расходовала сама. «Ты, — говаривала, — этого не умеешь и этого тоже — старайся лучше». Выяснялось раз за разом, что Отрепыш наш не умеет быть по-настоящему внимательным, уступчивым в счастье своем, не умеет дарить по-настоящему хороших подарков, не умеет любить жену свою, как Жерар Филипп любил свою Аннушку, не умеет прославлять жену свою в стихах, как это делает влюбленный в нее с детства Мотя Швильдерман, не умеет, не умеет... Совершенствовался Отрепыш во всех названных и неназванных дисциплинах со старанием неподдельным, ибо стоило ему прилечь с женушкой своей, обнять ее, прохладненькую летом и тепленькую зимой, как тут же чувствовал он, что счастлив на все сто процентов с двадцатипроцентной надбавкой за экзерсисы. И только одно он умел делать лучше женушки своей — уступать. «Ты, — говаривала она, — уступай мне, уступай. У тебя это получается лучше, чем у меня, я этого не умею». Но должна же была когда-то израсходоваться его уступчивость. Об этом моменте Отрепышева супружества мы поговорим как-нибудь после.

## 5

Теперь внимем еще в одну особенность Отрепышевой памяти.

Обзавелся Отрепыш воспоминанием, которое ни в чуланчик, ни в коммод не поместишь.



Измучаясь он, рассматривая эту необычную картинку своего детства, в которой — уж как жаль! — загубил кое-какие подробности. Приходится выспрашивать у Господа в шуговой вроде бы молитве. Вот Господь и напоминает ему, как все было и объясняет смертному человеку, что это и есть его первое обращение к Богу, аудиенция, так сказать, разговор один на один...

Вот стоит он, шестилетний поклонник Господа Бога и осеняет себя крестным знамением. Мать, подучивая, смеется: «Не так, Вадик! Вот так! Смотри, как я делаю! Сюда, а потом сюда!» В какой-то миг Отрепышу показалось, что проблеснули в глазах ее слезы. Было из-за чего: отец уже был болен. Вот и надо было просить Бога об отце. А то ведь вся наука ушла в старание. Улыбнулся и Либерман-отец скорбной улыбкой человека вплотную задумавшегося о смерти. «Замолви и за меня словечко!» — сказал с отцовской уже полузабытой лаской в голосе. Вот и эту улыбку сохранил в памяти своей Отрепыш: хоть и отреставрированная, но какая все же живая! Все живо, ничто не утеряно! И это, несмотря на то, что сам директор школы, посидев на уроке истории, вышел к учительскому столу и спросил: «А кто тут у нас верит в Бога?» И разулыбался наступившему молчанию. «То-то же! — сказал советский мудрец. — Кто бабушку любит — люби, но в церковь с ней ходить не смей!»

А Отрепыш взял да и пошел. Через тридцать шесть лет, правда, после того, как в первый раз осенил себя крестом. Но года за два до горбачевских конвульсий нашего социалистического благоденствия. В том-то и дело! А если по правде и самокритично, то порываться-то порывался Отрепыш к Богу да и возвращался к своим человеческим заботам, забывая о Том, Кому в памяти быть надлежит ныне, и присно, и веки веков.

Тут-то и проскочила первая трещина в их отношениях с Кассиопеей. Она ведь не знала, что еще в студенческие годы проникся Отрепыш теплым человеческим чувством к Иисусу Христу. Узнай же, читатель, как это произошло. Вступил Отрепыш в дискуссию с преподавателем истмата да так опрометчиво, что могли бы и озвучить его на весь университет.

Друг-товарищ его Изя Котляр дал ему на ночь почитать у букиниста купленную его однокурсником книжицу про евреев. Представляете! О ком только в двадцатые годы книжек не писали! Прочел ее Отрепыш в установленные сроки. «Так вон оно что! — заметил себе. — Оказывается, предки мои по отцу были бедуинами. Кто бы мог подумать!..»

Была в этой книжке одна вольность: марксистский автор засомневался в том, являлся ли людям на самом деле Иисус Христос. Может быть, что-то такое и было, предположил этот горе-марксист, какие, видать, в двадцатые годы еще попадались на свободе. Об этих его сомнениях и проговорился Отрепыш на семинаре по истмату: на лжи подловил преподавателя, который, как и положено преподавателю истмата, взял да и

рубанул с плеча: «Не было Иисуса Христа. Это всего лишь легенда». — «А вот это-то и не доказано», — возразил Отрепшй вслед за марксистом двадцатых годов. А потом наступила тишина. Каждый подумал: «Интересно, что ему за это будет?» А вот о чем думал университетский идеолог, никому не было известно. Может быть, прикидывал, донесет ли кто-нибудь из студентов о том, что случилось у него на семинаре такое вот невероятное происшествие. А может быть, мысль его совсем в противоположном направлении заработала, может быть, вспомнилась ему старенькая его мама, живущая в деревне и по воскресеньям в любую погоду идущая к заутрене, чтобы помолиться Отцу Небесному и Иисусу Христу о его, преподавателе истмата, благополучии и добром здравии. А может, случилось и вовсе невероятное, может, этот преподаватель истмата подумал: «А вдруг и в самом деле это не легенда?» И вот после долгой паузы сказал он Отрепшю: «Не нужно меня уничтожать, Либерман. Вон как все уши навести. Подойдите после звонка, подискутируем». Славная мама была у преподавателя! И кое-что перепало ему от ее благости. Сказал он Отрепшю: «А вот мама моя считает, что Он был! Так что же мне оповестить об этом всех? Что же ты меня, да и себя подставляешь?»

Что-то произошло в душе Отрепшя после этого разговора. Он, Иисус, существование которого считалось не доказанным, оказалась вдруг несомненным, живым и родным ему. Как будто бы Отрепшй вот только что взял да и помолился Ему. Да как же можно было предположить, что тут надвое можно рассудить! «Вот уж чушь!» — говорил себе Отрепшй. Разве ж он не помнил голодного 46-го, когда удостоверялся в том, что Он жив. И стал Отрепшй разматывать ленту с памятной записью того переживания — первого посещения Божьего Храма.

Повела их с сестрой мать отпраздновать пасху. Догадывался одиннадцатилетний мальчик, что пришла мать просить Бога о помощи: недоедали рабы Божьи, угля, чтоб приготовить еду, и того не было. Озирался Отрепшй, потрясенный обилием лепоты. Чувствовал, что Бог где-то здесь, рядом, и даже мигание свечек представлялось ему не обычным, не земным. Пошел вслед за всеми и поцеловал икону, а когда шел от церкви, все оглядывался на распятие: что это с человеком? Почему он так страдает? «Мама, это кто?» — «Христос». Вот тогда Он, распятый и страдающий, коснулся его сердца, и понял десятилетний раб Божий, что существует какая-то связь между ним, голодным, выделяющим слюну при одной мысли о еде, и этим страдающим человеком. И пожалел он Его и полюбил Его, и была эта любовь, как зарубка на память о той пасхальной ночи. И это было все, что он знал о Нем, о Христе. Но все ли? «Не сказал ли он Пете Записоцкому, попрекнувшему его за насмешливость: «А я ведь хочу быть, как Христос». — «Вот и будь! — завершил Петя юношескую их перепалку. — А то ведь плюнешь

человеку в борщ, чтобы посмотреть, что из этого выйдет» А он, студентик, донашивающий куртку своего еврейского дядьки, спохватился, что ничего о Христе не знает. И даже не знает, где о Нем можно прочесть.

Что же такое он носил в своем сердце, полнящемся тем впечатлением, которое завладело им, когда на Пасхальные праздники, идя рядом с матерью, жалостливо оглядывался он на распятие? Пожалуй что, веру в добро! И как же иначе объяснить, что на второй день своей женитьбы, проходя мимо барочного храма, водруженного на горке, чтоб владел он умами и сердцами тех, кто будет снизу смотреть на него, попросил он Кассиопею подождать его, взшел, молодой и счастливый, по двухпролетной лестнице, вошел в храм и поставил свечку, как это делали люди в ту пасхальную ночь, когда он начал познавать Отца своего Небесного и Иисуса Христа, распятого, как он уже узнал из книжки про евреев, для его, Отрепышева, счастья. Чувство присутствия Бога в мире было несравнимо ни с чем. И он понял, что никогда уже не сможет сказать ни себе, ни кому-либо, что Его нет. И стал он беречь это чувство в себе и проверять, не запропастилось ли оно куда.

И зачем только государство тратило деньги на Отрепышево образование? Да и только ли деньги? А душевный пыл всяческих пропагандистов-агитаторов и преподавателей истории КПСС разве не в счет? Втолковывали же ему сызмала, что Бога нет, чтобы он передал это дальше подрастающему поколению. А он вместо этого вздумал проверить сам, существует ли Бог.

## 6

И наяривает Отрепыш, как на фортепьяно, на компьютерных клавишах, чтоб чего не пропало из его воспоминаний.

Вот наступило время Зильберштейна, пора так вспомнить об этом знатоке философии. Ворвался Зильберштейн в его дом прямо с вокзала, Кассиопеиной родней отрекомендованный замечательным парнем. Прожил гость этот у них несколько дней, а память о себе оставил долгую тем, что потребовал у Отрепыша доказательств существования Бога. А если доказательств нет, то какой может быть разговор? Все это были слова и словечки, приготовленные обожателем Канта на случай такого вот разговора: любовь не в счет, сегодня она есть, а завтра испарилась, а доказательство остается навсегда. Возразил ему Отрепыш, который и сам был не дурак, и хотя Канта не читал, но читал Мережковского — и выдал он любителью умного чтения запавшую в душу идею богоискателя о существовании мистического опыта человечества, личного, затаенного познания Бога. «Давай, — сказал разошедшийся Отрепыш, — проделаем этот путь познания вместе да и сравним наши результаты».

Отверг Зильберштейн это предложение. В письме из Ленинграда еще раз посмеялся над любовью: вот есть она, а вот ее нет — что же можно выстроить на такой мимолетности? Взвился Отрепыш. Как? Моя любовь к ближним моим мимолетность? А любовь матери твоей к тебе, оценщик любви, тоже мимолетность? Тогда скажи мне, почему это я люблю тебя, красная, несмотря на то, что у тебя ко мне никаких добрых чувств нет, а только расчет. Застыдился Зильберштейн и замолчал. Молчит и донныне, поверженный несокрушимой Отрепышевой аргументацией.

А Отрепыш, он до сих пор в пути, в том самом, который намечтал себе в разговоре с Зильберштейном. Путь Божьего познания оказался долгим, во всю его оставшуюся жизнь. И уж сколько выпало ему приключений на этом пути, читатель непременно узнает, если интересуется такими вот непрактичными вещами.

## 7

А теперь хочешь, не хочешь, а придется нам вернуться к чуланчику.

То, что постановил Отрепыш забыть, вовсе и не забывалось. А напротив светилось предупреждающим сигналом: «Осторожно! Тут ее нет, любви!» Сколько же раз загорался этот сигнал, когда сближался Отрепыш с новым человеком! Всегда старался понять Отрепыш, как относится этот человек к нему, не украинцу и не еврею, а к такому вот почитателю обоих этих народов, которые он постановил любить по той причине, что по отцу он к одному из этих народов принадлежал, а по матери к другому. И вот оказалось, что как раз это-то ох как трудно.

Ну, куда бы вы на месте Отрепыша дели вот такое воспоминание: вот он, четырнадцатилетний, идет со своим другом детства Толиком Ротштейном, и слышит, сказанное ему в поношение, еще и не совсем понятное словцо: «гой». Что же, так и не разобрался Отрепыш, что это за словцо такое? Допер, а как же! Без толкового словаря. С этих пор отношения между ним и чистопородным Ротштейном стали уж очень быстро портиться. В отместку назвал Отрепыш будущего своего недруга чучелом за его нерасторопность в беге и неумение бороться. Толик же оказался уж до чего обидчивым — бросился на Отрепыша с кулаками: так хотелось ему доказать, что он не чучело и в драке умеет постоять за себя. Ушел этот обманувшийся в себе человек с двумя фонариками. Да никогда бы не стал Отрепыш наставлять фонарики этому слабаку, если бы не это словцо «гой».

Зачем же чуланчик, если все равно все вспоминается? А вот попробуй объяснить любопытной женщине, каковой является Кассиопея, что это вроде запретной зоны: вспомнил — и забудь. Иначе разест то, что называем мы живой нашей душой.

Так и поступал Отрепъш с воспоминаниями о Григориях Абрамовичах и Абрамах Григорьевичах, приятелях Кассиопейных стариков (все пошучивал бедолага), с которыми он сдружился, приезжая на лето в Жмеринку. Жили Отрепъшевы тещь и теща в собственном домике, построенном еще до войны. Садик был при доме, и даже голубятня. Существование их выглядело идиллическим. Григории Абрамовичи и Иды Григорьевны приходили пообщаться, распивали чай с несказанно вкусным яблочным пирогом. Общение было сердечным, трогательным. Уже наутро теща звонила Иде Григорьевне и сообщала, что была на базаре и купила и дая для нее курочку и потрясающе вкусного творожка. Отрепъш примечал и сравнивал. Вспоминал, что его мать, пирожница от горторга, даже и не порывается написать письмо своей сестре, живущей в Харькове. А тут общение было почти сказочным, в каждый свой приезд Отрепъш и Кассиопея наносили визиты и Григорию Абрамовичу с Идой Григорьевной, и Абраму Григорьевичу с Бертой Самойловной, и Шапиро, и Гинзбургам, и просто Лизе, подруге детства Отрепъшевой тещи.

Был Отрепъш принят и обласкан этой мишпухой, как муж Нюсенки. И уж как на него полагались! Инесса Давыдовна, дальняя родственница жены, большая раком, только что прооперированная, глядя на Отрепъша глазами, в половину глядящими в этот мир, а в половину в тот, попросила: «Берегите Нюсенку». Была Кассиопея ценностью несомненной, впрочем, как и все они: каждый из них получал свою, причитающуюся ему толику кювета.

А вот Отрепъшу два раза в этом еврейском уважении было отказано. Не явно, нет! Не умышленно — можно ли? Отказано было по небрежению, по сложившемуся убеждению, что другим, по сравнению с ними, евреями, добра все же не достает.

Первым такой вот укол нанес ему тещь, простодушнейший из людей. Шли они с Отрепъшем на вокзал по такому еврейскому, освященному семейной традицией делу: отправлять посылку с фруктами Кассиопейному брату в Москву — и вот увидели, как высыпали на улицу с десятков подростков и стали избивать одного такого же, как они, — нужно полагать, ближнего своего. Били ногами — и враз разбежались. «Эти украинцы, — сказал тещь, — могут еще и не то».

Отрепъшу бы взмолиться: «Вы уж меня пощадите! Они ведь мне не чужие» Но промолчал разнокровка. Застыдился. Что тут скажешь? Линчеватели.

И в другой раз выпало Отрепъшу стыдиться своего родства с украинцами.

Пришел к Кассиопейным старикам начальник тещя, испорченный самомнением еврей Маргулис. Приглашен он был, как понял Отрепъш, по случаю его, Отрепъша приезда. При-

шел с пластинкой без чехольчика и со своей, как тут же выяснилось, воспитательной программой. Поставил пластинку, и стали они слушать еврейские иронические самовосхваления:

Броня крепка, и танки наши быстры,  
И наши парни мудрости полны.  
Громят врагов еврейские танкисты,  
А перед боем делают в штаны.

Под это музыкальное сопровождение Маргулис стал объяснять Отрепышу, к какому они с ним замечательному народу принадлежат. И умен этот народ, и предприимчив, и сноровист. А уж каков в работе! Вот хотя бы тесть его, Отрепышев. Достаточно его назвать по имени, а он уже знает, что от него требуется. А вот украинцы... Да что о них говорить?.. Народ-антисемит... «И не надо! — придумал свой ход Отрепыш. — Не будем же мы с вами худить другие народы, как это делают антисемиты по отношению к евреям?» — «А почему бы нет! — сказал Маргулис. — Будем! Еще как! Они убили мать и сестру мою! Я понимаю, вам с этим легче смириться...» Кивнул Отрепыш: конечно, это так. А в мыслях своих стал корить себя: «До чего же я благочестив! А как бы я себя вел, если бы моих родителей расстреляли полицаи?»

Ко всему этому (никуда не денешься) следует добавить, что и сам Отрепыш уже побывал в роли потерпевшего от своих соплеменников по маме.

## 9

В двадцать два года, на целине, столкнулся он с очень уж неуважительным отношением к своей фамилии.

Одиннадцать суток везли их в теплушках через три республики. Налюбовался Отрепыш красотами родной земли, а заодно и станционными сортирами, в которых хотелось научиться летать. Размышлял будущий литератор, как это должно сказаться на народной душе? А нужно было просто внимательнее приглядеться к тому, что происходило в теплушке. Вагонный мирок поделен был на свои республики, далеко не дружественные. Сам он, с таким же полукровкой, как и он, Игорем Черняховским, составляли свою, как оказалось все-таки еврейскую общину; на нарах особнячком прожили они эти одиннадцать суток. Был еще один суржик в вагоне, милейший, остроумнейший и потерявший себя Володя Мелешко. Спал этот пухленький человечек прямо на полу на сиротской подстилке, мерз по ночам, а утром на потеху всем согревался гимнастикой для беременных женщин. «С нами не хочет, — установил Черняховский. — А эти его не приглашают». С «этими» Черняховский тоже не общался, хотя учился с ними в одной группе, на журфаке.

Вольница царила в вагоне, партприкрепленный, аспирантик с кафедры истории КПСС, вяло вмешивался в разговор, когда слишком откровенными становились рассказы «журналистов» об их приключениях на поприще любви. Когда же зашел разговор о евреях, прикинулся глухим. Начали разрабатывать еврейскую тему будущие фельетонисты с вопроса: «А почему это среди нас нет Эйдельмана?» Тут и Либерману стало как-то не по себе: весь смак разговора состоял в склонении на все лады еврейской фамилии. Эйдельман был хромоног, да и все покорители целины были добровольцами, но вот же, уклонился Эйдельман. А почему? Предпочитают Эйдельманы работу полегче. Отрепыш помакивал, хотя чего, казалось, естественнее защитить калеку. Но ведь Либерман защищает Эйдельмана — кто его услышит?

Присматривался наш суржик, как относятся к этому разговору украинские его братья. Большинство их было в теплушке, ребят с украинской филологии, все больше деревенских, живущих в обще на стипендию с приправой из домашнего, привезенного на Рождество сала. Они этого противоеврейского наскока вроде как и не заметили, только один из них отвлекся от писания дневника, загадочно улыбнулся и принялся опять строчить. Записал ли он этот разговор в свой дневник? Ходил этот парубок, как и Отрепыш, в университетских поэтах, читал на поэтических вечерах стихи о вербах, стоящих по колена в воде, об агрономе, размышляющем об урожае, о своей деревенской хате, которую он так неохотно покинул ради учения в городе. Подсел к нему Отрепыш вскоре, чтобы поговорить о поэзии, прочел ему стихотворение о карпе. Украинский поэт прочел ему стихотворение о бескрайнем поле. Как же хотелось Отрепышу, чтобы этот его украинский собрат по перу, Юрко Омелян, не оказался антисемитом! Ну как же хотелось! Так бы и спросил: «Слухай, хлопче, невже ж ты єврейєв теж жидами называєш?» Загадочная душа: когда стали украинские хлопцы посмеиваться над Отрепышем, что не умеет он быть таким же работающим, как они, крестьянские дети, будущий, признанный обкомом поэт отвлекся от своих записей, опять загадочно улыбнулся и принялся строчить в свой блокнот. Дневников своих он не издал до сих пор, но по возвращении опубликовал в университетской газете целый цикл стихотворений о том, как славно им работало на комбайне, и на току, и как разъезжали они в «Газонах» по бескрайним целинным степям — русские, украинцы, казахи, и как соревновался он с еврейским хлопцем, кто быстрее загрузит машину пшеницей. Поэта заметили, напечатали подборку его стихов в молодежной газете. В деревенскую свою хату он не вернулся, приняли его в Союз писателей, поселили в «писательском» доме, а через двадцать лет давал он Отрепышу рекомендацию в писатели, уже сидящий, признанный обкомом и читателями. Что там говорить, неплохой человек и не бесталаный, вот только один недоста-

ток подметили в нем наблюдательные евреи: стоит поэту выпить лишнего, как начинает он честить *жидив*, никак не научится говорить *еврей*. Одно ему оправдание: трезвым ведет себя цивилизованно. Состоялся у него с Отрепышем прелюбопытнейший разговор, о котором читатель, оставшийся мне верным, еще узнает.

Своих целинных стихов Отрепыш не написал: помешал приемничек на батарейках и отсутствие глушилки: без всяких помех можно было послушать Би-Би-Си, рассказ с подробностями о «коммунистических методах хозяйствования». Отрепыш и понял, что добавить ему нечего. А жаль! Вот бы рассказать, как спорилась у них работа, когда срезали они лопатами дерн, готова ток для созревшего уже целинного урожая. Ух, как же яростно налегал наш доброволец на лопату! Покрылись ладони трудовыми волдырями, а рядом с ним покряхтывали, врезаясь под пласт с казачьей несравненной удалью, его украинские братья. А как закончили они труды свои, сказали без обиняков: «Погано працюєш, Либермане!» Отрепыш надеялся, что хоть один из них восстанет против такой явной несправедливости. Но нет, ни одного не нашлось, даже Вася Опанасенко, милый однофамилец его мамы, сердечный такой, всегда радостно улыбающийся Отрепышу при встрече, подтвердил: «Погано!» И пошли обличители ужинать. Что ж, они были уверены, что все, какие ни есть добродетели, принадлежат им, а не каким-то Либерманам.

А Отрепыш остался на поле сдирать с себя ярлык еврейского сачка: сдирал дотемна вместе с дерном. И вот за этой скорбной работой почувствовал, что становится таким же, как и его гонители: человеком, ощерившимся на целый народ. Испугался Отрепыш. Зачем мне это? Смрад! Вернулся разнокровка в глинобитный домик к своим полубратьям? Куда ж от этого родства денешься? «Посунься, козаче!» — сказал он любимцу своему Васе, садясь на нары.

## 10

А Вася продолжал радостно улыбаться Отрепышу при встрече. Ему, и правда, нравился Отрепыш, хоть и записал он его в бездельники. А почему? Так уж принято было в их селе относиться к Либерманам: не хотят они так же добросовестно работать, как мы — Опанасенки.

И все-таки кое-какие чудеса встречаются и в мире устоявшихся обыкновений. Заметил Отрепыш по возвращении в университет, что поменялось кое у кого отношение к его фамилии. «Никогда бы не подумала, что вы, Либерман, поедете на целину», — сказала ему преподавательница исторической грамматики Петренко. Расстроился Отрепыш: неужели же он как-то так нехорошо себя вел, что заставил справедливую эту



женщину думать о себе плохо. Не понимал он, что давно уже, еще в первый год его учения, озвучена его фамилия в университетских стенах. Озвучивание это началось с Розенфельда, потом был Гуревич, и вот настала очередь Либермана. Не позволил комсомольский вожак Плаксюк остаться Отрепышу безвестной личностью. Прозвучала таки с комсомольской трибуны его хорошо проартикулированная братом-филологом фамилия — Ли-бер-ман. Перед этим собранием как раз подошел этот *озвучиватель* еврейских фамилий к Отрепышу и предложил съездить в колхоз. Зачем? С номером художественной самодеятельности. Малосообразительный Отрепыш и брякнул: «Да нет у меня номера!» — «Как? — сказал комсомольский вожак. — Чтоб у Либермана да ни одного номера?» А на факультетском собрании он и отчитался: вся группа побывала в колхозе, за исключением Либермана, у которого не оказалось ни одного номера. «А нам такие номера не нравятся», — закончил будущий секретарь райкома. Вот и пожинал некоторое время Отрепыш кривые усмешки, посеянные с таким искусством. Недоумевал недотепа: так я ж и не вызывался ехать в колхоз!

Наставить фонариков озвучивателю еврейских фамилий не было у Отрепыша никакой возможности. И все-таки предстался ему случай прижучить его хоть как-то, хоть в какую-то долю своего негодования.

Как раз охота шла на верующих людей по всему университету. То там озвучивалась фамилия, то там. Тот самый целинный поэт с замечательной украинской фамилией Омелян уже поместил в молодежной газете стихотворение, как товарищ его по общежитию сорвал с шеи своей позолоченный крестик. Оказалось, что среди атеистов попадаются проницательные люди: «Сколько? — спрашивали атеисты поэта. — Сколько получил за стишок?» — «Приторговываем чем можем!» — пробормотал другой поэт, не избалованный славой — Гена Приходько, бывший Меламед. Отрепыш с ним и согласился. Но промолчал: стихотворение-то получилось! Вон какое боевитое! Правда, те, кто в одной комнате жили с прозревшим вдруг человеком, шепотом сообщали, что крестик он не сорвал, а снял с шеи после того, как была озвучена на собрании и его совсем уж малоинтересная для озвучивания фамилия: Воловец. Что же было делать? Глядишь, вызовут в деканат и попросят объяснить. Что тут скажешь? «Тато з мамою повисили ще в ды-тынстві?» Так что поэт Омелян, пожалуй, и выручил его, посвятив целое четверостишие описанию того, как он сдирал эту самую «мамою надягнуену святыню». Декан Мороз, прочитав вслух стихотворение, почесывать стал подбородок. «Не совсем, товарищ атеист, — сказал он поэту, — удалась вам выразить свое негодование. Святыня-то, мамой надетая, знаете ли, производит обратное впечатление». Следом добавил, уняв тик в глазу: «Работайте больше над словом!» Все знали: раз у декана тик, значит, насмеяется.

Тут все и вспомнили, что озвучиватель наш, озвучил еще одну фамилию, настоящую, еврейскую: Гринберг. Девушка, которой принадлежала эта фамилия, была низкоросла и полновата, ни крестика, ни магендовиды не носила, а просто любила поразмышлять вслух: пробормотала она, когда озвучивали этого несчастного, который крестик свой спрятал в карман, а не выбросил на помойку: «А все-таки Он есть!» — «Кто он?» — тут же переспросили ее. Надеялись, конечно, смутить еврейку. Да разве смутишь их? «Мировой Разум» — ответила упрямец. Висмеяли чудилу эту, поклоняющуюся мировому разуму. Нарисовали в газете, как молится она вопросительному знаку. Потолще была она на картинке этой, чем на самом деле, и пониже. Вот и весь смак.

Но мало показалось этого озвучивателю фамилий: вызвал он на бюро эту грудастенькую толстушку, папочкину и мамочкину дочку, и предложил ей подписать письмо в газету, о том, что она раскаивается в своих немарксистских взглядах. Рассказывали, что взяла эта присмирившая Раечка ручку, уже нацелилась ставить подпись, но вдруг передумала и отшвырнула ручку. Сама она уверяла с виноватой усмешкой, что вдруг почувдилось ей, будто Мировой Разум покачал головой осуждающе такому ее соглашательству. «А чтоб тебя клопы сожрали!» — пожелала она озвучивателю фамилий и в слезах покинула комсомольский кабинетик. А он начальственно вышел, простучав каблуками, и отнес это письмо, подписанное им самим в газету. Не пропадать же было еврейской фамилии втуне. Дальше эта история обрастает легендами. Кто говорит, что разгневанная эта девушка влепила пощечину озвучивателю фамилий. А кто возражает: не таковская она, чтобы бить члена факультетского бюро. Просто при встрече плюнула в его поганую рожу. Проницательные атеисты галдели: «Так ведь он гонорар слупил за это письмо! Уж раз такое случилось, так надо было хоть деньги ей отдать». Отрепых, насладившись всеми этими сведениями, подбросил человеку из комсомольского бюро свой невинный вопросик: «А почему нынче атеистические взгляды?» Тот прошествовал мимо злопахателя по университетскому коридору, стуча подковками на каблуках.

Вспомнил Отрепых этот стук каблучный, когда пригласили его для разговора к декану.

— Неужели это правда, что вы прицениваетесь, сколько платят за отказ от веры? — спросил Мороз. — Жалоба на вас поступила, будто решили вы подзаработать на этом деле.

Отрепых и ответил: мол, спросил у человека, знающего это не понаслышке. Любопытства ради.

— На комсомольском собрании надо такие вопросы задавать! — вразумил его наполовину Мардер, *затикав* глазом.

И вроде бы все: исчерпан вопрос. Так нет же! Было это только началом многолетних злоключений Отрепыха.

По дороге в школу любовался Отрепыш лицами идущих навстречу людей — всеми без разбора: лицами праведников и лицами прохиндеев, лицами карьеристов и лицами трудяг, русскими лицами, украинскими, набрел как-то взглядом на монголоида в очках и даже цыган на телеге не остался незамеченным.

А тем временем представлялось ему в ироничных его картинках, будто в небесах он парит и рассматривает людей-букашек, с этих птичьих позиций, а то и совсем уж несусветно выходило: будто стоит он на двух, один на другой поставленных ящиках, и с этой трибуны обличает шкрабов-взяточников. А почему обличает? А потому что сам не взяточник, а всего лишь взятодатель. Пришлось, что уж поделаешь, Отрепышу подмазать кое-кого в РОНО, чтобы получить работу в городе после того, как отработал он положенные три года в деревне. Сказала Кассиопея: «Не жалея себя! У нас вот ребеночек растет!» — и провела ладонью по материнскому своему животу. Сама она тоже души своей не пощадила, внесла, как положено было в их городе, за трудоустройство месячный свой заработок. «Еврейский взнос! — пошутил Отрепыш. — С меня половина причитается, как ты думаешь?» — «Не шути так! — подправила Кассиопея. — Там люди основательные — половинкой не отделаешься».

Вознегодовал Отрепыш, когда заметил, что коллеги его не чище. За баллы в аттестат поощрения принимают не деньгами, нет, а всяческими услугами вплоть до установки в их нужнике унитаза. После этого случая (а унитаз-то был синий) Отрепыш и взобрался на свои два ящика. Стал интересоваться у коллег, какого цвета у них унитаз. «Обмишурили вас, — говорил, — надо было синий выбирать». Вознегодовал и педколлектив: над нищенством нашим потешается!

Владелица синего унитаза с увеселительной такой фамилией — Музыкантская — уколола его своим ядовитым зонтиком: «А что ты понимаешь в цветах, двуцветный ты наш!» Что же Отрепыш? Думаете, растерялся? Сразил дамочку: «А вы из какой мусорной урны будете?» — спросил, как всегда довольный своим острословием. А ведь шутка боком вышла. Накатала Музыкантская жалобу в местком — и осудили Отрепыша: что ж это вы, Либерман, так невоздержанны на язык? Пришлось Отрепышу покаяться: «Сорвалось. Вы уж простите, беру обратно свои гнусные намеки. Только ведь и я пострадал в какой-то мере. Как вы думаете?» Веселое было покаяние.

Но так ли уж весело было Отрепышу? В тот день, когда так разухабисто покаялся он на месткоме, проходил он мимо Божьего храма (а дело было на пасху) — и увидел уймище народу, толпящегося у входа: всех, пришедших отдаться святому чувству Божьего присутствия в мире, храм не вместил. «А ведь

я гнусно обошелся с женщиной. Надо было и сказать это без экивоков», — стал вразумлять себя Отрепыш. Но тут же он и понял, что это первое его покаяние пред Ним, в Которого он странно так верует: от случая к случаю.

Дома он еще раз покаялся, уже перед Кассиопеей: «Ты знаешь, — сказал, — на чем я себя подловил? На низости. Ведь мужику, который может и по морде дать, я бы этого не сказал. С женщинами-то надо быть поласковее». — «Дурак, что и говорить, — поддакнула Кассиопея. — Вырвала из тебя владелица ворованного унитаза извинение».

Но продолжал виниться Отрепыш перед Ним, в существовании Которого хотел бы удостовериться. Взял да и позвонил обладательнице красивого унитаза, повинился еще раз, помножив свою искренность на пять. А Музыкантша эта и говорит: «Да что там! Польстилась я на красивенькое. Белый надо было брать — никто бы не осудил». Подружились люди. И что же? А ничего такого, кроме того, что Музыкантшу эту Отрепыш полюбил до того светлым чувством, что до сих пор наслаждается воспоминаниями о ней, плутовке.

Так ведь и был он ценителем всяческих изысканных чувств. Музыкой любил наслаждаться, альбомы с картинами великих мастеров листал по вечерам. Каждому ребенку, по улице идущему, радовался как своему. А тут вдруг научился радоваться всякому человеку. И это благодаря Ему, существование Которого Отрепыш предположил, проходя мимо храма. «До чего же светлой и радостной может быть жизнь человеческая, — смекнул Отрепыш, — если полюбить всех этих плутишек, людьми называемых!» Только вот как быть с собой? То, что они все милые плутишки — это совершенно ясно. «А как же я сам? — размышлял наш иронист. — А сам я плут-плутище! — догадался он. — Взяткодатель и поноситель женщин».

*(Окончание в сл. номере)*



\* \* \*

Народы сумрачно глядели,  
Как эти суки что-то ели...

Мой первый конь был Буцефал,  
Я говорил ему: «Стефанчик,  
А где вчерашний целлофанчик?»  
Он хохотал.

1959

\* \* \*

Царица голосом и взором...  
А между тем уже темно,  
И за соседним косогором  
Призывно светится окно...

Царица голосом так пылако...  
А между тем по мере сил  
На стол поставлена бутылка,  
И кое-кто уже спросил...

1985

## **Социальные размышления в Миланском аэропорту Мальпенса**

Те мчатся есть, мотая пузом,  
Сидят над пиццею в кафе,  
А эти убирают мусор,  
Как большинство, как все.


И социальные усилия  
Не изменяют общий план.  
Бывал Аркадий тут Васильев<sup>1</sup>,  
Конечно, пьян.

2001

\* \* \*

Мой старый друг, давай напьемся,  
Потом куда-нибудь пробьемся,  
Добавим по полста,

<sup>1</sup> Аркадий Васильев, секретарь парткома ССП, общественный обвинитель на процессе Синявского и Даниеля.



Потом медведь заметил Машу,  
Потом послал ее мамашу  
В известные места.

Зачем вращается избушка,  
И кружка, лживая подружка,  
Свалилась у крыльца,  
Вся наша жизнь пошла насмарку,  
Как будто дали контрамарку  
На полтора лица.

Веспасиану или Титу,  
Или иному паразиту  
Пред смертью надо встать,  
Ведь стоя умирают боги,  
Расправив складки белой тоги,  
Когда начнет светать.

2009

\* \* \*

Съела ворона твои глаза,  
Голубой саксонский фарфор,  
Стихам все равно, кто их написал,  
Праведник или вор,  
Но там, где дорога пошла назад,  
Остался холодный труп,  
И съела ворона твои глаза,  
А ты был не очень глуп.  
Тебе теперь не кивнуть головой,  
С ножом в животе не встать,  
Другие вернулись к себе домой,  
Им незачем повторять,  
Но там, где дорога пошла назад,  
Остался прохладный труп,  
И съела ворона твои глаза,  
А ты был совсем не глуп...

1957



## Алексей СОМОВ

/ Саранца /



\* \* \*

Вот такая это небыль, вот такая это блажь.  
Улетает шарик в небо — тише, маленький, не плачь.  
Он резиново-атласный над тобой и надо мной —  
синий-синий, прямо красный, небывалый, надувной.

От любви и от простуды, обрывая провода,  
ты лети скорей отсюда, никуда и навсегда,  
выше рюмочных и чайных и кромешных мелочей,  
обстоятельств чрезвычайных и свидетелей случайных —  
Бог признает, Бог признает, Бог признает, кто и чей.

Если веруешь, так веруй, улетаю, улетай.  
В стратосферу, в стратосферу, прямо в космос, прямо в рай.  
Вот какая это небыль, вот какая это блажь.  
Улетает мальчик в небо. Улетаешь, так не плачь.

Над снегами, над песками, над чудесною страной —  
ты лети, я отпускаю, воздуш шарик надувной.  
Выше голубей и чаек, мусоров и попрошаек,  
новостроек обветшалых, сонных взглядов из-за штор —  
ты лети, воздушный шарик,  
Бог поймает, если что.

\* \* \*

*Денису Модзелевскому,  
журналисту и гражданину*

Гонорарный январь, оснеженный Ижевск  
и квартира твоя — на каком этаже? —  
неприкаянная и большая,  
кура в микроволновке, аптечный бальзам,  
Башлачев на кассете угрюмо баздал,  
и до света — всего-то полшага.



Ни продажных газет,  
 ни затертых кассет,  
 завалиться без спроса — и вдрызг окосеть  
 с припасенной бутылки кагора.  
 И понять сокрушенно: первейшее зло —  
 в объективной реальности, коей залог —  
 недостаток в крови алкоголя.

Виннипухово Дао, великое «да»,  
 заповедная тропка отсюда-туда,  
 ну, давай поиграем, как будто  
 мы забыли пароли, ключи, имена,  
 а снаружи нездешняя вовсе страна,  
 и шагнуть за порог — как отправиться на  
 три веселье белые буквы.

Простодушная доблесть, дикая спесь —  
 полагать наобум: все, что явлено днесь,  
 равнозначно тяжелому бреду.  
 Так и бродим впотьмах — по чужим, по своим,  
 с телефонов казенных друг другу звоним:  
 — Приезжай! — Я приеду, приеду...

\* \* \*

Кому — бесстыдная весна,  
 кому-то песенка шальная,  
 Кому-то весточка из сна:  
*Я умерла, а ты как знаешь.*

И только ветер простонал  
 да закачались деревья,  
 как забухавший Пастернак  
 в обнимку с Анною Андревной.

Ты кончилась, а я живу,  
 зачем живу — и сам не знаю,  
 а все как будто наяву,  
 и снова песенка дурная

поет, поет, звенит, звенит,  
 бесстыдно перепутав даты,  
 а в небе радуга стоит,  
 а в горле — мертвый команданте.

Однажды, ядерной весной,  
 мы все вернемся, как очнемся,  
 в горячий город, свой — не свой,  
 и мы начнем, и мы начнемся.

Скребнут совки, картавит лед,  
шипят авто, плюются шины,  
а в небе радио поет  
про то, что все мы где-то живы.

\* \* \*

*Здесь ты жила, пока не умерла.  
Другой маршрут, но улица все та же.  
И мимо проплывают номера  
краснокирпичных десятиэтажек...*

...прощай, вот я пишу тебе опять  
«прощай» на этом непорочно-белом,  
прощаясь наугад и второпях,  
прощая между строк и между делом —  
какая роскошь — вспарывая швы,  
да разве мы с тобою не простили  
те времена и армии, что шли  
победным маршем сквозь твои пустыни,  
по простыням бессонницы, прощай,  
сдирая корочку с подсохшей ранки —  
какая дрянь — смотри не оплошай,  
когда, отзимовав, засвищут раки,  
когда — прощай, ты слышишь ли — в четверг  
вдруг линет хлывень или хлынет ливень,  
и поплывет куда-то вбок и вверх  
воздушный змей, нелепый и счастливый,  
прощай, да неужели не смогли,  
не удержали и не отпустили  
до первой светлой капельки любви —  
все остальное ухищренья стилиа,  
прощай, тебе там будет хорошо,  
и ветер возвращается из странствий,  
тепло, еще теплее, горячо,  
непоправимо, безмятежно — здравствуй.

## Памяти Пэ

I

Где-то за полночь слышишь тройной стук-тук-тук.  
В подкроватной стране созревает латук.  
В подкроватной пыли потерялся волчок.  
Жил да был человек, но об этом — молчок.

В подкроватной пыли — закатившийся мяч.  
Жил такой человек, сам судья и палач.  
Был один метроном, сам себе мозгоклой.  
Если веришь — усни, а не веришь — наплой.

## II

Только за полночь слышится мерный стук-тук.  
 «Открывай, открывай, я вернулся, мой друг!  
 Хоть цепочкуними, хоть пусти на порог.  
 Я устал и замерз, как обманутый бог».

В плащ-палатке, в бушлате, в набухшем пальто,  
 это кто-это-кто-это-кто-это кто —  
 неумеренно весел и в меру поддат,  
 беглый каторжник ли, неизвестный солдат?

«Это я, мой воробушек, вот я каков —  
 от пещеристых тел до седьмых позвонков.  
 От обугленных скул до стеклянных ногтей —  
 это я возвращаюсь из *синих гостей*.

В некрасивом году, в кисло-сладком кино  
 бьюсь дырявой башкой в слуховое окно.  
 Толстым клювом стучу, как саврасовский грач,  
 сам себе мореплаватель, плотник и врач,

сам себе и мустанг, и седло, и ковбой.  
 Собирайся, мой друг, я пришел за тобой.  
 Видишь, прерию лижет шершавый рассвет.  
 Жил да был Франкенштейн, а теперь его нет».

## III

В подкроватной стране, в бронетанковом сне  
 я приснился тебе, ты пригрезился мне.  
 Стоит скобки открыть — и припомнится, как  
 мы с тобой штурмовали московский рейхстаг.

Отпускаю на волю гусей-лебедей —  
 это игры больших невеселых людей.  
 И торчу на высоком холме, не дыша,  
 и трофейный сжимаю в руках ППШ.

## IV

Расстрелять все патроны, пустить в молоко.  
 Запузырить волчок — это вправду легко.  
 И проснуться — что скобки закрыть, что за ско

## V

.....  
 .....

## Борис ВАНТАЛОВ

*/ Санкт-Петербург /*



### Северное сияние

#### ПРОЛОГ

Много месяцев не пью.  
Трезв невероятно.

Стало слову-воробью  
в глотке неприятно.

Улетело вдруг оно  
из сухой гортани.

Недопитое вино  
сморщилось в стакане.

\* \* \*

Сказали: «утро». Выпит чай. Смотрю в окно.  
Плетутся в школу дети.  
Сознание заработало. Оно  
болтает обо всем на свете.

Мозг этой сказкой сыт давно.  
Шахерезада хлеба сновиденья,  
миф подстелил соломки, но  
художественный свист грехопаденья  
не смолкнет в нас,  
заброшенных  
сюда.

\* \* \*

Мозг повернулся в не туда  
и над собою усмехнулся.  
Извилины, идти теперь куда,  
когда сознанием поперхнулся.  
Когда пожухли все слова,  
язык угас, — мираж в пустыне,  
и протоплазма, как трава,  
кольшется в немой машине  
торговой марки «akselrod».

\* \* \*

Прощай, братишка-существо,  
которое когда-то мной назвали.  
В последний раз почувствовать родство  
на крохотном земном вокзале.

Покинуть теплый тварный кров,  
пройти тропой смертной муки  
и перестать добычей быть для снов,  
материалом для науки.

Как хорошо...

\* \* \*

Чувств пятипалых трепыханья.  
Марионетки мозга — сны.  
Базарный зуд существованья.  
Душа в покрывах темноты.

Так надоело ей дивиться  
на пляску кукольного я,  
что стало эго сторониться  
само себя.

\* \* \*

Смирненное прозрение себя  
омоет мозг холодными волнами.

Отпустит душу каторжное я,  
звенья сознания кандалами.

Нет в театре кукол больше никого.  
Пуста адамова порода.

В себя вбирает Fater Ничего  
ничто бориса аксельрода.

AVRORA BOREALIS  
(Северное сияние)

Живет в гостях у самого себя,  
кто в человека не поверил.  
Всегда скользит под ним земля,  
и в голове сияет Север.

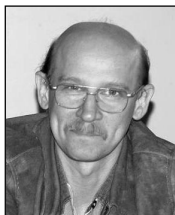
Ничтожной малостью своей,  
которой нет у остальных в помине,  
он там остался, до смертей...  
В сухой, растрескавшейся глине.

ЭПИЛОГ

Мы — пузырьки Господа Бога.  
В стакане нас много.  
Поднимаемся медленно вверх.  
Там сознание лопнет у всех.

*Февраль — июнь, 2009*

СПб  
Черная  
е  
ч  
к  
а



## Владимир ШПАКОВ

*/ Санкт-Петербург /*

### На пепелище иллюзий

*Борис Ванталов. Записки неохотника.  
Киев Птах. 2008*

В глазах любителей строго организованных словесных структур, основанных на рассказывании некой *истории*, книга Бориса Ванталова «Записки неохотника», пожалуй, будет выглядеть воплощенным хаосом. Чем-то бессистемным, фрагментарным, лоскутным (подчеркните нужное), что существует не то, что за рамками внятного сюжета, а за пределами даже свободных литературных форм. Ладно, был бы на Розанова похож с его «Опавшими листьями», или на Ницше с его афоризмами, или, допустим, на фрагментарную прозу Чорана... Так ведь не похож! То есть, по ходу чтения вспоминаешь и первого, и второго, и третьего (и еще многих других), однако буквального сходства не обнаруживаешь. Почему автор злоупотребляет цитатами настолько, что на некоторых страницах вообще нет собственных мыслей — только чужие? А собственные (где они есть) нахально соседствуют с высказываниями Кьеркегора, Толстого и Рамакришны? Неужели неизвестный широкой публике Ванталов считает себя равновеликим этим светочам и столпам?! А что значат длинные и пространные рассуждения о «пятнах»? «О, если бы я мог написать роман о Пустоте, или книгу, главными героями которой были бы пятна». Ну, скажет читатель автору, ты и написал такую книгу, поскольку вместо смыслов тут одни лишь «пятна», бесформенные отпечатки каких-то постулатов, идей и т. п.

К счастью, эта книга снабжена глубоким и профессиональным послесловием Вадима Максимова. И оно, думается, послужит для неподготовленных читателей точкой сборки, тем рациональным островком, вокруг которого бурлит и пенится иррациональное вербальное море ванталовских тестов. В предисловии проза Бориса Ванталова проанализирована, структурирована,

соотнесена с общелитературным и общекультурным контекстом и поставлена в определенный типологический ряд. Что извлекать автора данной статьи от необходимости аналитического вгрызания в текст, от употребления слов типа «постструктурализм» и от прочей демонстрации собственной эрудиции. Да, Ванталов напрашивается на то, чтобы его куда-то впахнули, провели по рангу очередного казуса русской словесности, определив на ту полку, где стоят «литераторы для литераторов». Но он же, Ванталов, одновременно издевается над эрудитами, высказывает из расставленных ими ловушек-систем и выдает читателю что-то предельно личное.

Вот, пожалуй, ключевое слово найдено — личное. На этом месте любитель строго организованных структур должен стереть с лица недоумение (негодование, разочарование etc.) и чуть внимательнее вчитаться в текст. Точнее, в тексты, поскольку книга состоит из четырех частей, именуемых: «Конец цитаты», «Утром три», «Записки неохотника» и «Какие сны». Поскольку жанр здесь определить невозможно, будем называть эти литературные опусы безличным словом «тексты», хотя, повторим, здесь бурлит как раз таки «личное» начало.

В чем оно заключается? Ну, представьте, что некая неглупая, не особо ангажированная общим пафосом жизни персона, включается в эту самую жизнь. Где все играют в некие ролевые игры, придающие (или якобы придающие) смысл всему «человеческому, слишком человеческому». Материальный прогресс имеет смысл, социальные структуры имеют смысл, ну и, ежу понятно, что очень высокий смысл имеет культура — в ее традиционном понимании. Однако с течением времени персона начинает осознавать, что в жизни царит, скорее, бессмыслица и абсурд, равно как и в культуре. Все так, но и одновременно — ВСЕ НЕ ТАК. «Иллюзии эпохи Просвещения развеялись как с белых яблонов дым. Человек — темен. Поэтому все создаваемые им институты общественной жизни несут на себе печать неизбывной ублюдочности. На этом беспрецедентном пепелище утраченных иллюзий разве что иногда вспыхивают огоньки озарений».

Кроме того, все мы медленно (но упорно) ползем на кладбище. Смерть — вот финал, уничтожающий потуги homo sapiens на что-то серьезное; на этом рубеже мы все уравниваемся и благополучно гнием со всеми нашими смыслами. «Сегодня в четыре часа утра в квартире над нами помер дядька, и я задумался над смертью и испытал такой ужас, такой животный страх, какой испытываешь только при слове СМЕРТЬ...» «Сегодня ночью ко мне опять подобрался этот гаденький страх перед смертью, вернее он не гаденький, а какой-то очень плотский...»

Согласитесь, что страх смерти — это очень даже личное (хотя в то же время и общее) переживание. Но если вы подумали, что лирический герой Ванталова только и делает, что дрожит перед «безносой», то вы ошибаетесь. Кружение автора вокруг смерти, постоянный возврат к этой не очень-то веселой теме (ес-



ли, конечно, смерть — это «тема») вовсе не свидетельствует о банальной боязни живого создания — сделаться неживым. «Только с годами понимаешь, что более интересное приключение, чем оргазм, есть смерть». Поняли? Для героя смерть — это, скорее, приключение, позволяющее преодолеть будничное биологическое прозябание. Ну и, опять же, это своего рода катализатор, художественный допинг, в отличие от иных видов такого допинга — имеющий право на существование. Постоянное напряжение, направленное в сторону небытия, позволят порой открыть что-то в бытии, такой вот парадокс. «Смерть — это призвание», — пишет Ванталов, и с ним хочется — хотя бы отчасти — согласиться.

Еще одна из мишеней, куда метит автор — западный рационализм. Ванталов не первый атакует сию мировоззренческую твердыню, были до него и Ницше, и Шестов, и другие бойцы видимых и невидимых фронтов. Но Ванталов по-своему расшатывает иссохшее дерево под названием «интеллект» и безжалостно топчет чертополох под названием «аналитический подход». «Душа — не механизм, а глупость. Глупость Божественная и необъяснимая. Интеллект мало чем отличается от арифмометра Паскаля, он — холодный принцип, глупость — сама жизнь, ее неистребимая неопределенность». Или вот такой пассаж: «Мы боимся плюрализма реальности, нам нужна истина в окончательном, завершенном виде. А истина волнообразна и двупола, и многоголова, и прочее бесполезное слово». Систематизация, разложение мира по полочкам, словом, любой способ рационального познания — чужд автору, чей способ контакта с миром можно назвать, скорее, «внезапным озарением», когда суть вещей в их совокупности вдруг предстает в предельно ясном виде, после чего «руки тянутся к перу, перо — к бумаге» и т. д.

Почему тогда автор, допустим, приводит пространную цитату из научно-популярной статьи, где говорится о Большом Взрыве и первых минутах существования нашей Вселенной? Это ведь физика в чистом виде, результат многолетней и кропотливой работы именно рационалистов! Однако для Ванталова, похоже, та самая «сингулярная точка», из которой выклюнулся этот абсурдный и яростный мир, имеет, скорее эстетическое и философское измерение, а никак не физическое. Для него это что-то связанное с футуризмом, с художниками-бунтарями начала прошлого века, чьим продолжателем, как представляется, чувствует себя Борис Ванталов.

Любой внимательный читатель этой книжки скажет, что автор не чужд иронии. «Армагеддон, Армагеддон, как много дум наводит он», — вполне ироническое (хотя и мрачноватое) высказывание. Не чужд он и самоиронии, что, думается, отдельных неподготовленных читателей может примирить с этой непростой (во всех смыслах) книжкой. «Бывают лжецы стыдливые, бывают самозабвенные. Я лжец стыдливый. Очень стыдливый лжец». Но автор явно не иронист *par excellence*, иначе бы он не поместил в

книжку цитату из Кьеркегора: «Ирония — это ненормальное, преувеличенное развитие, которое, подобно преувеличенному развитию пени у страсбургских гусей, кончается тем, что убивает индивида». Так что ирония не отрицается, но и не становится мировоззренческой основой авторского космоса. И хорошо, что не становится, потому что в тотальном варианте ирония смертельно скучна.

Почему, скажите, книга озаглавлена «Записки неохотника»? Казалось бы, Ванталов подтрунивает над автором «Записок охотника», но слишком уж очевидно несовпадение, обыгрывать его просто нет смысла. Думается, здесь подчеркивается другое: автору «неохота» шагать в ногу, принимать на себя роль статиста в спектакле под названием «современная культура». Иногда мизансцены этого спектакля смотреть можно, но чаще они настолько унылы и вторичны, что хочется вернуть билет творцам этого всего. А еще здесь проглядывает «неохота» жить по стандартным лекалам, стремление выйти к границе, за которой то ли полное Ничто, то ли нечто таинственное и непостижимое.

Теперь, пожалуй, пора напомнить читателям о том, что Борис Ванталов — не совсем человек, это очередная маска (или, если угодно, аватара) личности, которую в миру зовут Борис Аксельрод. Поэтому мы не беремся утверждать, что ванталовская маска целиком и полностью исчерпывает мировоззрение и эстетические представления Бориса Аксельрода, как не исчерпывает его и поэтическая маска-аватара, именуемая Борис Констриктор. С другой стороны, и сам Аксельрод тоже является фигурантом произведений автора, так что брать это зыбкое начало в качестве точки отсчета тоже вроде бы некорректно. В определенном смысле Ванталов — представитель постмодернизма (эх, все-таки не обойтись без умных слов!), а для этой эстетики проблема автора давно решена в пользу не существования оного. Как минимум — не существенности того физического объекта, который выводит буквы на бумаге или стучит по клавиатуре компьютера. «Автор давно уже превратился в не-автора. Он утратил «самостоятельность», а заодно и «человеческий облик». У этой книги скоро вырастут ноги, и она отправится по грибы в филармонию».

Тем не менее, мы все равно настаиваем на личном характере этих произведений. О постмодернизме в данном случае и впрямь можно говорить лишь «в определенном смысле». Российский и французский варианты этого актуальнейшего, как принято считать, философско-эстетического учения, сильно различаются. Они представляют собой, как говорят в Одессе, две большие разницы, поскольку галлы породили сию доктрину лукавым умом, а затем вообще превратили ее в некую идеологию эпохи глобализации, очень удобную для унификации и стандартизации планетарной жизни. Не то — российский ПМ, никакой унификации не признающий, а глобализацию понимающий в хлебниковском ключе, то есть, с позиции Председателя Земного

Шара. Ванталовский ПМ, в частности, является продолжением русского футуризма и творческих практик обернутов. А также, если хотите, является формой своеобразной не профессиональной религиозности, каковая отчетливо осознает тупиковый характер развития современной цивилизации. К покаянию эта религия не призывает, конечно, да и к милосердию тоже. Но этим текстам явно тесно в посюстороннем мире, они постоянно вырываются в иное пространство, как пар из-под крышки.

Собственно, и футуристы, и обернуты практиковали такое творчество, которое стремилось выйти за пределы «объективной реальности, данной нам в ощущениях», они спорили с силой художественного тяготения, норовившей приземлить творцов, подчинить их общепринятым законам. Они же выбирали другие законы, если угодно, космические, запредельные, подчинялись не тому, чему подчиняется большинство художников, а чему-то другому. Тем же самым занимался (и занимается) круг Аксельрода-Констриктора-Ванталова.

Почему круг? Потому что автор — не одиночка, он не творит в пустоте, а является представителем... Нет, не течения и не направления, а именно круга людей сходного мировоззрения. Об этих «немногих, но верных» Ванталов рассказывает в последнем разделе книги под названием «Какие сны». Таковую же редкую «группу крови» имеет, в частности, двоюродный брат нашего автора, Николай Аксельрод или А. Ник. Из этого же круга — ушедший несколько лет назад Борис Кудряков, писатель, художник, фотограф и вообще человек-гора. Оттуда же Сергей Сигей и Руслан Элинин (также безвременно ушедший), живущий в Лос-Анджелесе художник и писатель Андрей Тат, ну и, конечно, к этому кругу принадлежит божий клоун Леон Богданов, увы, тоже переместившийся в иные миры. Все они оживают в финале, что делает книгу более конкретной, наполненной не только мыслями и парадоксами, но и судьбами людей.

Этот ряд жизнеописаний еще больше усиливает личностный характер «Записок неохотника». Вот и еще одни свершили свой «подвиг бесполезный», вписав собственную страницу в книгу русской культуры. Страница почти перелистана, она вот-вот закроется. Но, главное, она есть, эта страница. Ей-богу, есть.

# Готфрид БЕНН

*Перевод с нем. В. Вебера*

## Решать только за самого себя

*Писать о великом немецком поэте и прозаике Готфриде Бенне (1886–1956), о стилистике и поэтике его творчества — значит неизбежно истолковывать и комментировать то, что он сам написал о себе в стихах, эссе, статьях и особенно в прозе. Тема творчества была для него одной из главных.*

*Он вырос в селение Селлин в Новом Бранденбурге, находившемся восточнее Одера. Ныне — это часть Польши. Учился в гимназии во Франкфурте-на-Одере. Позднее он слушал лекции по литературе и философии в Марбурге и в Берлине, затем последовали годы учебы в берлинской Академии имени кайзера Фридриха Вильгельма, которую Бенн окончил с дипломом «доктора медицины и хирургии».*

*По окончании академии Бенн работает психиатром, патологоанатомом, хирургом, открывает свою частную практику дерматолога, которую не оставляет до конца жизни. Литературное творчество было его второй профессией.*

*С самых первых своих вещей Готфрид Бенн приобрел репутацию нигилиста. Нигилизм в России с базаровских времен ассоциируется с отрицанием искусства. Нигилизм Готфрида Бенна утверждал культ искусства и артистизма. Уже в раннем творчестве Бенна заявлена сущность его нигилизма: в основе мироздания находится Ничто, наполненное бескомпромиссным Духом. А выражением его, проявленным в нашем бытии, является Искусство.*

*Здесь уже в ранние двадцатые годы вырабатывается характерный стиль его зрелого творчества, формируется его стойкий скептицизм по отношению к прогрессистским теориям, по отношению к возможностям развития человеческой природы и общества. В 20-е годы им создаются стихотворения, на первый взгляд словно призванные передать всю полноту бытия. Они сделаны по принципу монтажа: существительные здесь преобладают, друг на друга нанизываются предметы, названия. Мифы древности, Средиземноморье — точка пересечения разных культур и эпох, Восток, Запад, географические, зоо-*

логические, ботанические реалии, «геология» культуры, «геология» человечества, а также современная реальность, современный город — и все это представлено как исчерпавшее себя движение.

Что нам Тирренское взморье,  
что нам долина олив —  
Средиземноморье,  
исчерпанный мотив.  
Влага из горла кратера  
вылита навсегда,  
пусты под небом Гомера  
белье города

*Пер. Сергея Аверинцева*

Потерявший религию, вопрошающий небо новый Фауст, изучавший биологию, историю и естественные науки, уличивший прогрессистов в обмане человечества, Бенн не желал примкнуть к адептам прогресса. Но он не стоял по ту сторону своей религии, своей культуры. Его стихи — скорее жалоба на невозможность ДА в его устах. Он хотел найти способ сказать это ДА, он искал эту возможность, искал точку опоры. Нигилист Бенн, видимо, где-то в глубинах души все же надеялся. Иначе как понять то, что однажды он обольстился «грандиозным всенародным движением», за которое вдруг принял национал-социализм, когда ему показалось, что немецкий народ нашел в себе силы противостоять гибели, что он ищет свой путь. Бенн пишет статьи и речи в поддержку нового государства.

Но нацисты знали ничего не хотели о Бенне, они не могли воспринять и доли того, что он говорил даже в своих статьях в поддержку нового государства. Школа экспрессионизма, учеником которой он остался до конца, была для нацистов школой дегенератов. Нацистские идеологи были не настолько слепы, чтобы вскоре не понять, что использовать Бенна для своих целей они не смогут. Из «Имперской палаты словесности» его исключили, печатать перестали, а после того как в 1936 году многие газеты в столице и провинции, несмотря ни на что, уважительными статьями отметили 50-летие поэта, власти решились на радикальные меры. Бенну запретили печататься. Последним сборником Бенна стали «Избранные стихотворения» 1936 года (в 1943 он издал 22 стихотворения полуанонимно, на титуле стояли инициалы G.V.). Бенн лишается возможности не только печататься, но и вести частную практику, ему не остается ничего другого, как вернуться в армию (он выбрал, как он говорил, аристократическую форму эмиграции) и стать военным врачом. До конца войны он служит в тыловых частях вначале. С этого времени, не идя ни на какие внутренние компромиссы, Бенн пишет «в стол», сознавая, что при его жизни эти произведения, скорее всего, не увидят свет. Неправильным было бы назвать этот период конца тридцатых начала сороковых годов процессом отрезвления, как пишут некоторые биографы. Заблуждения поэта — это не опьянение. Бенн уже к началу 1934 года понял, что совершил ошибку. Но он не желал, чтобы осознание ошибки воспринималось как раскаяние. В письме к Тилли Ведекинд, своей бывшей возлюбленной, он писал в 1946 году: «Я ни о чем не могу сожалеть и уж тем более раскаиваться в том, что я публиковал, это было всегда ис-

кренним и исходило из моего существования... В такие времена, как наши, нет общих решений духовных проблем. Можно решать только за себя самого и брать последствие на самого себя. И я охотно это делаю. Я в полном согласии с самим собой и не нуждаюсь больше ни от кого в подтверждении этого чувства». Он до конца своих дней считал, что поступил правильно, оставшись в Германии, из которой до начала войны мог еще эмигрировать. В письме Ф.В. Ельце он писал 23 марта 1945 года из уже полностью разрушенного Берлина: «Оглядываясь назад, я и сейчас считаю свое решение остаться в Германии правильным. Гибель народа... это серьезная вещь, от которой не уйдешь, сочиняя в Майями литературные арабески или пребывая в состоянии ненависти». Период внутренней эмиграции был в творчестве Бенна чрезвычайно плодотворным. Очень характерна в этом отношении статья «Искусство и Третий рейх», где Бенн дает уничтожающий анализ нацистского понимания культуры. Эти же высказывания мы находим и в его письмах. Попади эти тексты или некоторые стихи того времени в руки нацистов, Бенну не избежать бы концлагеря. После войны запрет печататься (наложенный теперь оккупационными властями) какое-то время продолжается, но уже к концу 40-х годов вышедшие одна за другой книги Бенна утверждают его репутацию крупнейшего немецкого поэта и прозаика. Ему присуждается премия имени Бюхнера, высшая литературная премия ФРГ. Его вновь слушают, его бескомпромиссные слова снова нужны в мире послевоенных иллюзий. Берусь утверждать, что стихи и проза Бенна пронизаны истинной любовью к жизни. Его мрачные меланхолические мысли о мировых эпохах не столь уж мрачны, их освещает вера в неисчерпаемые возможности языка, в силу слова, в его дух, и хотя это слово и не ведет человека к прогрессу, но оно сопровождает его по его таинственному пути через все столетия. В произведениях Бенна соединились воспитанная научными штудиями логика мысли с магической способностью выразить иррациональное, отбросив все случайное, повествовательное, — не описывать, а искать точное, единственное слово, стремящееся в глубину, на встречу с сутью.

Вальдемар Вебер

## Искусство и Третий рейх

### I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Без сомнения, жизнь неразрывно связана с нуждой и к тому же держит своего беглеца, человека, на цепи, но цепь не звенит при каждом его шаге, и не каждый миг он ощущает ее тяжесть. На какое-то время эта цепь ослабевает, как это было, например, в конце прошлого столетия, когда в 1897 году бриллиантовый юбилей восшествия английской королевы на престол продемонстрировал миру несметное богатство ойкумены. Оба континента, населенные белой расой, достигли наивысшего процветания; новые нефтяные области, скважины глубокого бурения в Пенсильвании, сохранные леса, морозоустойчивые сорта пшеницы объединили

их. Творцы и потребители этого процветания много лет подряд съезжались на «сезоны» в Лондон, на авиационную выставку *Grande Semaine* в Париж, на ловлю лосося в Канаду или на осенние каникулы в долину реки Ооз. Расписание их светского времяпрепровождения часто совпадало: 1 сентября начиналась курортная жизнь в Биаррице, длившаяся ровно до 30 числа того же месяца, после чего ехали долечиваться в По, где жили в огромных отелях на Пиренейском бульваре с несравненным видом на горы Мон-Моди, — или в Перпиньян с его знаменитыми шестнадцатирядными платановыми аллеями. В Англии 12 августа все устремлялись на север, чтобы поохотиться на шотландских тетеревов, а 1 сентября отправлялись на юг, чтобы пострелять куропаток. В Германии была великая эпоха Баден-Бадена, запечатленная в тургеневском «Дыме» и, что удивительно, во многих других русских книгах. На курортах собирались представители известных семейных кланов немолодых уже наций, а также незваные гости из наций новых. Концерн «Риц» завел специальную картотеку. Сообщения вроде: «Г-н Х. спит без подголовника», «Мадам Y. всегда предпочитает тосты без масла», «Лорд Z. ежедневно заказывает темный вишневый джем» курсировали по телеграфу между Лондоном, Люцерном и Палермо.

Родился новый тип кочевника. К 1500 году живопись открыла для себя пейзаж, тему пеших странствий и дальних путешествий. Начались кругосветные морские плавания, открывшие новый взгляд на расстояния и необозримые пространства. Религиозный и эсхатологический окрас чувства бесконечности приобрел географические и дескриптивные тона.

На рубеже XIX и XX веков к этому добавилась склонность к роскоши, и то, что раньше было лишь временным подспорьем, стало источником удовольствий. О, как много истории вершилось в *Trains bleus*<sup>1</sup> и *Flèches d'or*<sup>2</sup>! Корзины с ланчем, фирменное изобретение Дрекса\* на Пикадилли-Серкес, со спиртовками, флаконами с дистиллированной водой, с ветчиной и сливочным маслом в жестяных упаковках преобразовались в вагоны-рестораны; гамачки, в которых многие десятилетия спали дети, перекочевали в виде багажных сеток в пульмановские и спальные вагоны. Гостиницы приобрели гораздо большее значение, чем ратуши и соборы, стали отныне такими же выразителями своей эпохи, как те когда-то — своей. Символический акт закладки первого камня в здание «Клариджа»\* на Елисейских полях леди Грей совершила с помощью серебряного мастерка. При постройке отеля «Риц» была исполнена художественная воля мастера Мансара\* и его соавторов, и целая команда архитекторов, художников по интерьеру, отделочников, а также искусствоведов и экспертов работала над тем, чтобы после многомесячных прикидок и изысканий сохранить

<sup>1</sup> «Голубые экспрессы» (франц.), фешенебельные поезда, возившие пассажиров из Парижа на морские курорты — прим. пер.

<sup>2</sup> «Золотые стрелы» (франц.) — курортные поезда — прим. пер.

Вандомскую площадь в первоизданном виде восемнадцатого века. Различия между *petit-point*<sup>1</sup> и гобеленом, между фарфором и фарянсом, стилистическое несходство эпох Сун и Тан\* учитывались не меньше, чем тончайшие нюансы, характерные для итальянского и испанского Ренессанса. Возникали специальные магазины серебра, стекла, шелковых и парчовых тканей, ковров, столового белья, простыней и наволочек. Была налажена поставка из Рима венецианских кружев и вышивок, при освещении помещений стали применять бестеновой, не прямой свет; сколько оттенков пришлось перебрать, прежде чем выяснилось, что самый лучший — абрикосово-желтый, матовый, направленный алебастровыми лампами на потолок, выдержанный в теплых тонах. Портрет кисти Ван Дейка\* в Лувре, на котором светящиеся коричневые цвета контрастируют с матово-бирюзовым, послужил образцом для подбора штор, ковров и обоев. Эскофье, король поваров, запрещал на своих кухнях газовые плиты: «Лишь на огне и жару, издавна зарекомендовавших себя, получаютс безупречные паштеты», уголь и дрова, по его мнению, были во сто крат лучше газа, — Эскофье, наедине с которым Сара Бернар\* праздновала в лондонском «Карлтоне» свой день рождения и который нарекал свои блюда в честь Коклена и Мельба\*.

То было время больших званых обедов, трапез из четырнадцати блюд, с винами, искусно подобранными к каждому из них согласно четырехсотлетней традиции, — продолжение бургундских пиршеств «Обет фазана»\* эпохи принцев лилий\*. Один банкир, совершивший чрезвычайно удачную сделку, выписал палатинам «Рица» чек на 10.000 франков за ужин с десятком друзей. Была зима, свежий горох, спаржу и фрукты достать было трудно, но все же удалось. Иервоам\* с «Шато-Лаффит» 1870 года и бутылки с «Шато-Икем» 1869-го вез из Бордо личный курьер, всю ночь держа у себя на коленях доверенный ему бесценный ящик, дабы уберечь старое чувствительное вино от тряски. Среди ста восьмидесяти тысяч винных бутылок, хранившихся в погребах отеля, из которых вечером по прейскуранту можно было заказать до 500 сортов, не нашлось ничего подходящего к бекасам и трюфелям в папильотках.

В гостиничном деле начинают доминировать аристократы и промышленники. Инициаторами и финансистами «нового Рица» стали полковник Пфуффер, фон Альтисхофен из Люцерна, барон Пьер де Гюнзбур из Парижа, лорд Лэтем из Лондона, последний — председатель правления компании «Савой». Крупный промышленник Марнье Ляпостоль из Сен-Клу составил рецепт ликера «Ле Гран Марнье», вскоре сделавшегося чуть ли не самым популярным и удвоившего доходы его создателя. Как раз тогда появился «Аполлинарис»\*. По случаю открытия нового источника, Иоханнисбруна, устроили празднество. Пригласили принца Уэльского, отды-

<sup>1</sup> Ковровая ткань-набивка (франц.)



хавшего в Гомбурге, русских великих князей, прусских принцев, — в общей сложности двадцать человек. Специальный поезд доставил из Франкфурта-на-Майне в отдаленную долину Ара продукты, тарелки, чашки, бокалы, цветы в горшках, мягкие кресла, лед и кухонную плиту. Двадцать столовых приборов обошлись в пять тысяч швейцарских франков, но недавняя победа на дерби, завоеванная принадлежавшей принцу лошадью по кличке Персиммон\*, а также присутствие очаровательных дам, привели принца в самое благодушное настроение. В итоге, как и предвидел концерн, — огромный общественный и коммерческий успех.

Вторая треть последнего столетия отмечена расцветом крупных игорных банков, прежде всего в Гомбурге и Монако, история которых навсегда связана с именем братьев Блан из Бордо. Такие «Grands Joueurs»<sup>1</sup>, как Гарсия, Люсьен Наполеон\*, Бухеа, Мустафа Фазиль Паша, проигрывали или выигрывали здесь за несколько часов до полумиллиона; опасные люди, кошмар для дирекции, которой во время их игры приходилось поддерживать постоянную телеграфную связь с тремя крупнейшими банками. Trente et Quarante<sup>2</sup> была игрой по-крупному, на кону могло стоять до миллиона франков наличными. Но играла и Патти\* (позднее, в замужестве, маркиза де Ко), играли и Лукка\*, и Грасси, и Жюль Верн. Рубинштейн\*, едва раскланявшись перед публикой после последних тактов своего концерта, спешил вернуться за игорный стол. Паганини проиграл два миллиона. Достоевский за рулеткой — пожалуй, самый знаменитый и самый непостижимый игрок, мирившийся с последним унижением, игрок одержимый. В Гомбурге играли Ротшильды, сын Бисмарка, Горчаков, Гладстон. Потом Гомбург по политическим причинам закрыли, перед последней игрой было объявлено: «Messieurs, à la dernière for ever»<sup>3</sup>.

Первого июля 1869 года вышел указ о том, что район Сен-Девота «Ле Спелюж», расположенный на выступающем в море монакском мысе, отныне должен именоваться «Le Quartier de Monte Carlo»<sup>4</sup>. Построили набережную, расширили порт Кондамينا, «Отель де Пари» утопили в цветах; проложили железную и шоссе-ную дорогу от самой Ниццы, возвели игровые залы. Уже в 1869 году в стране были отменены все налоги: их возмещали игроки. В 1874-ом пришлось установить четвертую рулетку. Когда швейцарский «Саксон-ле-Бэн» закрылся, во всей южной Европе осталось лишь это казино в «районе притонов»<sup>5</sup> Ле Спелюж на Лазурном берегу. Уверенное в своем монопольном положении, оно теперь могло себе позволить впускать игроков только по именным билетам, разрешать лишь игру без процентной страховки\*, одаривать земельными участками представителей прессы, а проигравшихся

<sup>1</sup> «Великие игроки» (франц.).

<sup>2</sup> Тридцать и сорок (франц.), азартная карточная игра.

<sup>3</sup> «Господа, мы закрываемся навсегда» (франц.-англ.).

<sup>4</sup> «Квартал Монте-Карло» (франц.).

<sup>5</sup> Les Speluges — притоны (франц.).

потенциальных самоубийц тайком снабжать солидной суммой и билетом на обратную дорогу. Позаботились и о развлечениях: гольф в Каннах, скачки в Ницце, стрельба по тарелочкам. Один из Бланов умер, другой, Франсуа, стал самым крупным акционером; из своего состояния он одолжил городу Парижу пять миллионов на реставрацию Гранд Опера, в благодарность за что министр путей сообщения распорядился пустить по средиземноморскому направлению скоростные поезда. Одна из дочерей Франсуа Блана вышла замуж за принца Радзивилла, другая за одного из Бонапартов, а дочь последней за сына греческого короля. Крестными Блана в Бордо были простые чулочник и сапожник. Своей же семье он оставил 88 миллионов, гомбургских и монте-карловских миллионов. Их быстро растратили на конюшни для беговых лошадей, на яхты, на замки, на теплицы для орхидей, на драгоценности. Примечательно, как мало занимали представителей этих кругов исторические события. Известно, что последний русский царь не захотел прервать партию в теннис, когда получила сообщение о падении Порт-Артура. На следующий день после Кениггреца\* в Пратере состоялся летний бал-маскарад с венецианским корсо; биргартены\* и шинки, торгующие молодым вином, были переполнены, а в Народном саду\*, где дирижировал Штраус, не было ни одного свободного места. Казино в Монако во время войны 1870-1871 годов не закрывалось и заработало всего лишь на два миллиона франков меньше, чем в последний мирный год, — оно, как и прежде, выплачивало пять процентов дивидендов. В Гомбурге доходы тоже, видимо, понизились, однако, даже в военном году\* они все еще составляли больше полумиллиона.

На мировую историю можно смотреть изнутри и извне, страдая или созерцая. Искусство есть выражение, и после своего последнего стилистического преобразования оно проявляет эту свою сущность все больше и больше. Оно нуждается в новых средствах выражения, ищет их, ведь такой атрибутикой, как «картофельные очистки», многого не выразишь, во всяком случае, не выразишь того, что наполняет целую человеческую жизнь. «Золотые шлемы», «павлины», «плоды граната» гораздо выразительней; с «розами», «балконами», «рапирами» связано больше ассоциаций; принцы будут говорить другим языком, чем бочары, а царица амазонок иным, чем работница фабрики. Люди, знакомые с античностью, годами наблюдавшие за формами и стилями, люди, много путешествовавшие, люди с даром очаровывать и тягой к лицедейству, конечно же, многосложнее и изощреннее туземцев, и своими средствами выражения больше отвечают требованиям эпохи, чем ревнители почвенности, еще пребывающие в близких отношениях с тотемизмом\*. Чем строже к себе художник, тем глубже его тяга к утонченности и свету. Его погруженность в эпоху расточительства и наслаждения с экзистенциальной точки зрения морально оправдана: Бальзак мог писать, только вращаясь в бесовском мире финансовых магнатов; голос Карузо достигал подлинного совершенства, когда он пел перед «Алмазной подковой»\* в Метрополитен-

опера. Таким видится нам участие художника в жизни той неоднозначной эпохи, и публика, в свою очередь, не осталась равнодушной к его творениям, к их особенностям и интересерам.

## II. ИСКУССТВО В ЕВРОПЕ

Это было время Дузе\* в роли Дамы с камелиями, Сары Бернар в роли Орленка\*, Лили Лэнгтри\* в роли Розалинды, и самые широкие слои населения во всех странах проявляли к искусству живейший интерес.

Вспомним: процветала пресса, критика, эссеистика. Капитализм может себе позволить роскошь гласности, он не принуждает к эмиграции лучших членов общества, и его жизненное пространство не ограничено пытками и казнями. Когда Золя однажды вошел в ресторан римского «Гранд-Отеля» и некая английская дама-пуританка вскочила из-за стола с проклятиями в адрес отеля, считающего допустимым, чтобы она завтракала в одном помещении с автором «Нана», публика отнеслась к сему инциденту всего лишь с добродушным интересом — и ей передавались флюиды, творившие дух того времени. Конечно, речь шла порой о совсем ничтожных вещах, однако, сколько изобретательности и усилий затрачивалось на то, чтобы добиться мастерства или высокого положения, каким блеском и славой было овеяно, например, имя Кайнца\*, и не потому, что он был с одним из королей на ты, а потому что правильно интонированным словом давал почувствовать всю власть и глубину текста; сходя вниз по ступеням лестницы или опершись о колонну, он заставлял бледнеть от потрясения людей, маски, личности. И существовала нация, литература которой уже давно представляла собой такую общественную силу, что с ней приходилось считаться даже правительству: Франция. Писатель был возведен в новый ранг: Grand Ecrivain<sup>1</sup>. Наследник великих savants universels<sup>2</sup> XVII-XIX веков, он по общественному статусу сравнивался с аристократами, его творения были сплавом журналистики, социальной критики и автохтонного искусства. Гран-сеньоры, маршалы от литературы: Бальзак, Гонкуры, Франс; в Англии — Киплинг. Новая форма современного творчества — в Германии она почти повсюду была отвергнута, сущностью германских «поисков иной реальности» осталась сфера музыкально-метафизического. В Норвегии, напротив, Бьернсон чуть было не стал королем.

Эпоха, пришедшая в движение: обилие тем, хаос новых стилей. В архитектуре стекло и металл вытесняют дерево и кирпич, бетон вытесняет камень. Древнейшую проблему, которую создает река, разрешает навесной мост; при строительстве больниц дворцовый стиль уступает место барачному. Время городского озеленения, бойскаутов, школ танцев.

<sup>1</sup> Великий писатель (франц.).

<sup>2</sup> Ученые-универсалисты (франц.).

Апогей власти третьего сословия: проникновение буржуазии в дворянство, в среду высшей аристократии, на командные посты в армии и на флоте. Большие города, заселенные пролетариями, но не ими построенные. Современное государственное право, естественные науки, в своих исследованиях использующие математический метод, биология, позитивизм — все в руках буржуазии; противодействие этому — современный иррационализм, перспективизм\*, экзистенциалистская философия. Белый буржуа основывает колонии, шлет сагиба управлять желтым, коричневым и черным плебсом. Европейское искусство поворачивает в другую сторону, подпитывает себя в тропиках: Гоген — на Самоа, Нольде — в Рабауле, Даутендей\* — на Яве, Пьер Лоти\* — в Японии, Матисс — в Марокко. Азию осваивают мифологи и лингвисты: Вильгельм\* посвящает себя Китаю, Лафкадио Херн\* — Японии, Циммер\* — Индии.

Интенсивная духовная жизнь овладевает континентом. Живя под воздействием высокого спиритуального напряжения, наша маленькая часть света воплощает в образы несказанное, никогда дотоле неведомое. Неизвестно, что более достойно внимания: успех и одобрение у публики или бескомпромиссность тех великих умов, что несут ответственность за судьбу расы, — доходящая, если это необходимо, до беспощадности, когда дело касается утверждения правды в произведении искусства. Необычайно серьезные, трагически-глубокие слова о творчестве: «Говорящий „литература“ имеет в виду „страдание“» (Бальзак); «Говорящий „творчество“ хочет сказать — „жертва“» (Валери); «Лучше испорчить свое произведение и сделать его неудобоваримым, чем отказаться от того, чтобы в каждой фразе дойти до конца» (Томас Манн); «Часто я уставал в борьбе с тобой» — эти слова, вырезанные каким-то каторжником на весле галеры, Киплинг начертил ножом на крышке стола, за которым работал в Индии; «нет ничего более святого, чем произведение на стадии возникновения» (д'Аннунцио); «Я предпочитаю молчать, чем говорить невъразительно» (Ван Гог).

Трещины в позитивистской картине мира; зарождение кризисов и опасностей. Введение понятия «бионегативный» (наркомания, психозы, искусство). Неприятие слов «разлагающий» и «деструктивный», замена их на «творческий» и «продуктивный». Анализ шизофрении: в древнейших, с точки зрения истории рода, центрах мозга якобы скапливаются воспоминания о коллективных архаических стадиях, находящих свое выражение в психозах и сновидениях (этнофрения). Архаические стадии! В поле зрения появляется доисторический человек, а вместе с ним — и эпохи геологических катаклизмов, эпохи мировых кризисов, всемирный пожар, распад луны, библейские наводнения; загадки начала четвертичного периода, таинственные полубоги, сходство между собой мифов о всемирном потоке, родство языковых групп Старого и Нового Света — проблемы существования культур, предкультур, доатлантического контекста; проблематика негритянской скульптуры, наскальных рисунков в Родезии, каменных образов на острове Пасхи, больших городов-призраков в джунглях под Сайгоном.

Расшифровка ассирийских глиняных табличек, новые раскопки в Вавилоне, Уре, Шумере; египетская скульптура впервые исследуется во всей ее исторической взаимосвязи; анализ композиционных методов расположения фигур на античных барельефах принес неожиданное осознание их полного соответствия теориям кубизма: «Искусство рисунка состоит в том, чтобы определить соотношение кривых и прямых линий». Промискуитет изображений и систем. Формообразование, преобразование. Европа на пути к новой славе, грандиозный пятнадцатый век и реализовавший себя восемнадцатый освещают дальнейший путь; Германия колеблется, интеллектуальных дарований здесь пока маловато, но элита смотрит в будущее, проникшись подлинностью духовного склада, начинающего вырисовываться, впервые выражающего себя в подчеркивании «ясности», артистической чуткости, «лучезарности», новаторства и великолепия — «Олимп иллюзии»; с точки зрения самих немцев, это называется дефаустизацией в границах отдельно взятого произведения.

Все новые и новые потоки мыслей, все больше и больше вопросов. Дали приближаются и предстают во всем блеске и нищете; исчезнувшие, забытые миры вновь открываются взору, в том числе — сумеречные, сомнительные, находящиеся в состоянии распада. Все истинно духовные открытия, сделанные за эти пятьдесят лет, не имеют себе равных и служат главным образом расширению представления о мироздании. Забытые Рембрандт, Грюневальд, Эль Греко открыты заново, в сознание интеллектуальной публики внедрен образ Ван Гога — странный, вызывающий тревогу; разгаданы аркадские грёзы Маре\*; не оцененный прежде Гёльдерлин становится кумиром того круга, которому была понятна его бионегативная проблематика («Если в бесчестье умру, и душа наглецу не отместит...»)\*. Выходит книга Бертрама\*, и один за другим издаются несчетные аналитические труды Ницше, преобразующиеся внутри собственной диалектики, ставящие его в один ряд с самыми гениальными немцами. Переводят захватывающие романы Конрада. Гамсуна называют «величайшим из живых». Именами Ибсена, Бьернсона, Стриндберга север давно уже заявил о своем первенстве. Тистед, небольшой провинциальный город в Ютландии, благодаря Нильсу Луне\* принял участие в формировании вкуса по меньшей мере одного из наших поколений. На старт выходит Новый Свет: Уолт Уитмен приобретает большое влияние благодаря особому рода монизму его поэзии. Новый Свет покоряет Старый, о нынешнем положении вещей знает каждый: роман, последний крупный литературный жанр Европы, создается в основном американцами.

Появляется Дягилев — по сути дела, основатель нового театра. Музыка для его балета пишут Стравинский, которого он открыл, Дебюсси, Мийо\*, Респиги\*. Танцуют Павлова, Карсавина, Нижинский. Декораторами у Дягилева — Пикассо, Матисс, Утрилло, Брак. Он ездит по Европе и устраивает перевороты. Духовно новым в его идее является объединение всех

искусств и упрочение каждого из них. Кокто выразил это следующим образом: «Произведение искусства должно угождать всем девяти музам».

Славянское и романское объединились здесь с обретающим все более четкие черты направлением: против искусства как вотчины чувства, против всего смутного, аморфного, романтически-идеализированного, против ничего не выражающих общих мест и многозначительных знаков препинания; объединилась с направлением, выступающим за полную проработку материала, за ясность установки, за «крепко сработанные вещи», для создания которых надо «крепко потрудиться», за предельную точность в обращении с используемым материалом, за строгую композицию и подлинно духовную проникновенность. То был резкий поворот от так называемой «внутренней жизни», доброй воли, педагогических и расовых тенденций — к тому, что было готово обретать форму и тем самым было способно ее насаждать, а именно — поворот в сторону «выражения».

Как известно, этот новый стиль возник вдруг одновременно во всех странах белой расы под самыми различными названиями. Его смысл сегодня совершенно ясен: делать искусство означает проветривать затхлую узконациональную «внутреннюю жизнь», устранять последние остатки субстанций пост-античной эпохи, завершать секуляризацию средневекового человека. Итак, — против семьи, против идеализма, против авторитетов. Авторитарными остаются только воля к выражению, тяга к форме и внутренняя тревога — до тех пор, пока образ не воплощен в пропорциях, которые ему в пору. Чтобы этого добиться, нужно решительно вторгаться во все, что ты любил, что тобой было испытано, что тебе было свято, — в надежде, что затем возникнет новый, затмевающий все прежние жизненные страхи образ человеческой судьбы с ее тяжелой ношей безнадежности и безысходности. То не были баловни судьбы, перемигивающиеся, чтобы ободрить друг друга, то не было заговором Монмартра, богемы в Челси, гетто и районов лачуг; то было — с расово-биологической точки зрения — совершенно обоснованное светское жизненное движение, смена стиля под давлением мутирующей Ананке. Шелер\* где-то пишет о «чувствах, которые сегодня знакомы каждому, но которые когда-то определенного рода поэтам приходилось отвоевывать у страшнейшей немоты нашей внутренней жизни», — и вот эти поэты вышли на передний план. Весь девятнадцатый век можно было бы теперь истолковать как потрясение на геномном уровне, предвосхитившее эту новую породу. Распалась прежняя связь вещей с точки зрения не только морали, но и физики: вещи выпали даже из механистической картины мира, со времен Кеплера считавшейся неприкосновенной. Сознанием общества овладевает то, что давно жило в нем подспудно. Все великие мужи белой расы веками решали лишь одну «внутреннюю» проблему: как замаскировать свой нигилизм. Нигилизм, имевший различные источники: религиозный — у Дюрера, моральный — у Толстого, познавательно-

умозрительный — у Канта, общечеловеческий — у Гете, общественный — у Бальзака. Но он был основным элементом всех их произведений. Вновь и вновь они маскируют его, действуя с чрезвычайной осторожностью; прибегая к двусмысленным вопросам, к зондирующим неоднозначным выражениям, они все ближе подходят к нему на каждой своей странице, в каждой главе, в каждом герое. Они никогда не сомневались относительно содержания своей внутренней творческой субстанции. Бездна, пустота, холод, бесчеловечность. Дольше всех неведающим оставался Ницше. Еще в «Заратустре» столько мировоззренческого воспитательского порыва! Лишь в последний период, во время создания «Ессе homo» и лирических фрагментов, ему открывается: «Ты должна была петь, о душа моя!» — не веровать, не воспитывать, не предаваться размышлениям историко-педагогического толка, не быть столь оптимистичной, — но тут наступает катастрофа\*. Петь — это значит строить фразы, находить выражение, быть артистом, уметь, ни к кому не обращаясь, в одиночестве хладнокровно делать свою работу, не писать речи для торжественных собраний общины, а, стоя на краю пропасти, испытывать скалы на качество эха, на звук, на тон, на способность к колоратурным эффектам. То был настоящий финал! Итак, всё-таки: артистизм! Продолжать скрывать от публики глубокий субстанциальный упадок было дольше невозможно. С другой стороны, это придало новому искусству большой вес: здесь, в сфере артистического, совершалась попытка перевода многих вещей в новую действительность, в мир новых подлинных взаимосвязей, в биологическую реальность, существование которой доказано законами пропорций, в реальность, переживаемую как выражение духовного преодоления бытия, возбуждающую творческую напряженность, — переход в новый стиль, возникающий из глубин собственной судьбы. Искусство — как производство реальности; как принцип его деланья.

Бесспорно, искусство это было капитаалистическим. Балету нужны костюмы, гастроли кто-то должен финансировать. Павлова не могла танцевать, если в ее уборной не стояла белая сирень, будь то зимой или летом, в Индии или в Гааге. Дузе страдала мигренью, требовала вокруг себя тишины, не выносила даже отдаленных звуков, жила с занавешенными окнами. За некоторые свои работы Матисс добился оплаты, измерявшейся шестизначными цифрами. Кое-кто мог себе позволить купаться на Люссин-Пикколо\* в самый разгар сезона; на гонорар за сочинение одной оперной композиции можно было приобрести автомобиль. Духовные экстракты, метания, сверхнапряжение спровоцированной жизни были частью этого миропорядка, также как и страдания, и горгониевый страх утраты внутреннего голоса, зова свыше, образных видений. Эксибиционизм и распад были подлинными и заявляли о себе открыто. Тогда еще ради идеализации микроцефалов не извлекли на свет всей этой галиматии о народной эстетике; меновая торговля бронзовой эпохи не была еще объявлена идеалом эконо-

мического устройства и моделью будущего; можно было свободно путешествовать, тратить деньги, впитывать в себя весь мир, жить в разных городах и перевоплощаться.

Социальная среда также нашла свое отображение в вещах, доведенных до совершенства: «Едоки картофеля» Ван Гога, «Ткачи» Гаутмана, скульптуры горняков Менье, рисунки Кольвиц; а также крестьянская среда: «Сеятели» Милле, «Охотники» Лайбла. Но «сострадание» и «любовь к родному краю» были далеко не единственными импульсами нового искусства и его поисков формы, в не меньшей степени ими были «Возвращение из ада», «Купальщица» или «Кувшин с асфоделями». Человеческое было лишь одним из течений, устремлявшихся к далеким берегам. Там обитали богини и сборщики апельсина, лошади, гаитянки, письмоносцы, железнодорожные переезды, а также флейтисты или офицеры, но все — одержимые стремлением начать иную, тайную жизнь. Начать взвешенно, неповторимо. С сознанием своего призвания, своей уникальности. Наиважнейшие вещи возвысить, сказав их языком темным и неясным, отдаться вещам, которые заслуживают того, чтобы никого не убеждать в их ценности. И все же нельзя утверждать, что искусство это было эзотерическим в том смысле, что предназначалось «только для посвященных»: каждый мог прийти и послушать, открыть и увидеть, познакомиться поближе, примкнуть — или вновь удалиться. Трагические расхождения внутри человечества увеличиваются во сто крат другими явлениями — жесткой концентрацией власти, политически коррумпированным законом, непримиримыми страстями, безрассудными войнами. Здесь, кстати, уместно напомнить, что в те годы у нас имели большой успех отличные, в хорошем смысле слова, немецкие романы, расходившиеся в народе огромными тиражами, например: «Эккехард», «Приход и расход», «Эффи Брист», «Йорн Уль», «Желанное дитя»\*. Ни о каком вытеснении немецкого иностранным или расово чуждым не было и речи. Утверждение, что немцы лишь теперь получили возможность читать немецкие книги, — одно из многочисленных политических измышлений. Причиной ненависти определенных кругов к новым проблемам стиля был его возбуждающий, экспериментальный, требующий истолкования характер, — словом, сама духовность этого процесса, осознать которую они были неспособны. А также и то, что обществу вообще что-то предлагалось помимо их собственного политического и народно-почвеннического брюзжания. «Духовное» для них посему — явление не немецкое, в особо «преступном» варианте — европейское. Но остальная Европа продолжала надеяться, что всеобъемлющий языческий характер формы вновь освятит осиротевшую после смерти богов расу; на сказки, платдойч и вотанизмы\* она надежд не возлагала.

Во власти этой мысли и жила Европа, когда в 1932 году родилась идея Средиземноморской академии, Académie méditerranéenne, центр которой должен был находиться в Монако. Стать ее членами предлагалось всем странам побережья этого «малого мо-



ря», как коренным, так и возникшим позднее под их влиянием. Возглавили ее д'Аннунцио, маршал Петэн, Пиранделло, Мийо. Среди ее учредителей и организаторов были Итальянская королевская академия, университет Гами-эль-Азхар в Каире, Сорбонна. Все, что было наработано сперва языческими, а потом монотеистическими поколениями в эстетическом и понятийном отношении, предполагалось заново осмыслить — с целью обогащения и воспитания сегодняшнего мира; все, что и нас, на севере, формировало и образовывало: загадки этрусков, прозрачные века античности, неисчерпаемость мавританского орнамента, блеск Венеции, мраморный трепет Флоренции. Кто станет отрицать, что и мы принадлежим к этому миру, мы, сформированные Возрождением и Реформацией, — хоть принимай их, хоть отвергай, — монахами, рыцарями и трубадурами, Саламанкой, Болоньей, Монпелье, из растений — розами, лилиями и виноградной лозой, а в биографическом смысле — Генуей и Портофино, и дворцом Тристана на Canale Grande<sup>1</sup>, и вплоть до наших дней творчески неутомным Римом, и самим Средиземным морем — их неизгладимыми чертами? Однако все приглашения, посылавшиеся в Германию, поступали в собственность гестапо. На искусство повесили замок. «Messieurs, à la dernière for ever!»

### III. ИСКУССТВО И ТРЕТИЙ РЕЙХ

Лишь на фоне этой картины видны особенности нашего «перелома». Народ, вкус которого в массе своей еще не оформился, народ, в целом еще не затронутый нравственной и эстетической утонченностью соседних культурных стран, народ, философия которого пользуется неуклюжей идеалистической терминологией, а проза темна и монотонна, народ с практической жилкой, имеющий, как показало его развитие, один единственный биологический путь к одухотворению — посредством романизации и универсализации, — вдруг допускает возникновение в своей среде антисемитского движения, которое навязывает ему самые приземленные идеалы, а именно: поселки из частных домиков, а в них — размножение, стимулированное государственными дотациями и налоговыми скидками; на кухне — рапсовое масло собственного приготовления, омлет из яиц из собственного курятника, собственноручно возвращенная перловка, родные деревянные башмаки, народный костюм из сукна, а в качестве искусства и духовной жизни — песни штурмовиков, гремящие из репродуктора. В них народ узнает себя. Турник в саду, а по взгорьям вокруг — костры в ночь на Купалу: это и есть настоящий германец. Праздник стрелков и оловянный кубок с крепким мартовским пивом — тут он в свой стихии. И вот они взирают на образованные нации и с детской наивностью ожидают от них восхищенного удивления.

<sup>1</sup> Знаменитый «Большой канал» (итал.) в Венеции.

Интересный процесс! Посреди той Европы, чья слава создавалась общими духовными устремлениями, вдруг возникает внутригерманский Версаль, некий коллектив тевтонцев, действующий на основе устава преступной корпорации, и они, где только им предоставляется возможность, тут же принимаются за муз. Им недостаточно автомобилей, замков, окруженных лесами, где ревут зубры, жульнически присвоенного острова на Ваннзее\*, — нет, им хочется, чтобы Европа восхищалась их культурой! Разве у нас недостаточно талантов, звонких, как садовые лейки, раздутых, как утопленники, художников, которым достаточно лишь намекнуть, чего от них ждут: высокопоставленный господин на охоте, ружье дымится, нога на туше матерого оленя, завлеченного в ловушку манком, из ущелья поднимается утренний туман и придает ситуации атмосферу первородности и лесной таинственности? У нашего блокарта\* разноцветные блюда — они заставят Европу обратить на нас внимание; но сначала нужно искоренить все альпийское, южное, западное, кроме того, импрессионистическое, экспрессионистическое, Штауфенов, все романское, готическое, Габсбургов, Карла Великого — тогда останутся только они, может быть, еще Генрих Лев\* и Белоснежка. Из таких вот остатков они устроят свои имперские палаты культуры, свой эстетический Синг-Синг\*.

Человек искусства опять стал подчиняться уставу цеха, от гнета которого он освободился в конце XVI века. Теперь на него смотрят как на ремесленника, причем как на самого бесполезного и продажного, его заказчики — партийный функционер или солдатский клуб. Ремесленникам не следует вносить эмоциональный вклад в разрешение политических и социальных проблем эпохи, так ведут себя лишь культурбольшевики и изменники родины. Кто утверждает, что предпосылкой художественного творчества является определенная степень внутренней свободы, тому грозит суд; кто употребит слово «стиль», получит предупреждение; вопросы «позднего искусства» находятся в компетенции психиатрических лечебниц.

Министр пропаганды как оператор установки по распределению смысла жизни ответственен за направление линии и за контрапункт. Музыкае следует быть мелодичной, иначе она подлежит запрету. Портреты предпочтительнее писать лишь с полководцев и партийных деятелей, цвета должны быть простыми и прозрачными, смешанные и неопределенные тона не получают финансовой поддержки. Например, портреты маслом с тех, кто отличился в создании плацдармов на востоке, нужно писать размером 20x30, отбор достойных лиц зависит от качества оборонных сооружений, то есть от степени готовности обеспечить личную безопасность партийных бонз. Жанровую живопись, на которой изображено менее пяти детей, не следует пропагандировать ни в какой форме; трагическими, мрачными, крайними темами займется охранная полиция\*; нежными, утонченными, упадническими — суд по охране здоровой наследственности.

Личности, против которых ничего не возразишь, пока они занимаются откормом свиней и производством мучных продуктов, выходят на передний план, объявляют человека идеальным существом, организуют соревнования хоровых ансамблей и конкурсы на лучшую песню, пускаются в «возвышенные» рассуждения на общие темы. Господин Любцов из округа Подеюх соревнуется с господином Пипенхагеном из Померании за пальму первенства в конкурсе аллитерационных рифм\*, в то время как поселки с населением до 200 жителей в округе Швальм борются за право исполнения юбилейной песни батальона СС «Ксавер Попиоль». «Хореографично», — заключает колченогий, «Мелодично!» — одобряет глухой; вонючки уверены, что пахнут духами; министр пропаганды высказывается о поэзии. Вначале жесткое определение задачи — побороть утонченность! Логично!

По сравнению с выстрелами в затылок на лоне природы и избиемием в зрительном зале ножками от стульев это нечто для неженки, не для народа. Правда, раздавить в лепешку — еще не значит придать форму, но оператору распределительной установки сие ведомок. Что не «выражено», навсегда останется в прошлом; у искусства — задача бакена, обозначающего границу между глубиной и мелководьем, а от него требуют умения развлекать и вдохновлять. У всех одаренных рас искусство — это глубокое разделение процесса совершенствования и процесса преображения в новое качество, здесь же требуют действий в духе Штертебекеров и Шиллей\*. Все, чего некоторые, пусть и недооцененные и смешанные с грязью светочи этого неповоротливого с разорванной душой народа добились в области «выражения» и стилия, теперь подвергается унижению и искажению — до тер пор, пока не обретёт черты самих фальсификаторов: рожи цезарей и мозг троплодитов, мораль протоплазмы и чувство собственного достоинства гостиничной крысы. Все большие народы создают свою элиту; у нас же теперь считается, что быть немцем — значит мыслить как все, а что касается вкуса — ставить на самую неуклюжую лошадку; заботу об особо чувствительных возьмет на себя гестапо, прибегнув к методу «допроса третьей степени»\*. Оно же проявляет заботу о художественных мастерских: великим живописцам запрещена покупка холста и красок, за их мольбертами по ночам следят блокварты. Искусство у нас — нечто из области борьбы с вредителями (наряду с колорадским жуком). Гения травят, гоняя его с гиканьем по темным лесам, а когда какой-нибудь старый академик или нобелевский лауреат в конце концов умирает от голода, управляющие культурой усмеваются.

Мы имеем здесь дело с жажущими местами жертвами угнетения, этими, с перспективистской точки зрения\*, *formes frustes*<sup>1</sup> — и хотя повод в данном случае не даёт нам для этого должного основания, подобного рода явления нужно рассматривать еще шире и глубже. Мы сталкиваемся здесь с многовековой немецкой про-

<sup>1</sup> Здесь: невежества (франц.).

блемой, получившей теперь под защитой вооруженных уголовников возможность проявиться очень явственно. Речь идет о самой что ни на есть немецкой субстанции, стоящей вне любых социальных различий и эстетических метаморфоз. В одном с исторической точки зрения небезынтересном, а местами выдающемся произведении о состоянии общества в эпоху, предшествовавшую Реформации, обращается внимание на то, что Дюрер поставил под угрозу свою немецкую сущность, когда занялся математическими и статистическими вопросами живописи, разработанными итальянскими художниками под влиянием Ренессанса.

Итак, Дюрер занимался формальными и систематизирующими процессами сознания — исследованием пропорций, — уже одно это было не по-немецки, уже одно это было чересчур. Ясное небо абстракции, царящее над латинским миром и не производящее там впечатления чего-то бесчеловечного и бесплодного, слышит у нас чем-то нездоровым, наносящим ущерб практической работе. Это свидетельствует о склонности к малограмотности, и в данном случае она неподдельна. Она относится к сфере их «жизненного пространства», их «поступательного движения», их «водоушевленности», уклоняющейся от любых форм мышления. Ослабление внутреннего напряжения посредством эстетики им чуждо. Тот факт, что «выражение» как таковое вообще имеет характер катарсиса, они по причине отсутствия у них соответствующего внутреннего опыта всегда будут отрицать. Чего им недостает, так это впечатлений от конструктивных форм возвышенного и утонченного. Их держали на пайке очень низких духовных понятий, например, таких, как понятие исключительно механистической причинности, поэтому они никогда не ощутят эссенциально-продуктивной причинности творческого начала. История постигается ими как бактериологический результат, эксперимент, экономический процесс — но им недоступны ищущие, мучительные устремления еще не вымершего гена творчества белой расы и его трансформация в структурный элемент. Поэтому их писатели даже короткие тексты и ничтожные сентенции заключают с интонацией моралистов, воспитателей или, чего доброго, носителей истины; другой способ завершить свою мысль им просто неведом. У них полностью отсутствует представление о художественной абстракции. Она требует труда, объективности, воспитания. Объективность же, в свою очередь, требует достоинства, соблюдения дистанции — личного нравственного достоинства, недоступного для черни. Чернь проявляет себя в ненависти к «артистизму», в жалких разглагольствованиях о формализме и интеллектуализме, и это происходит всякий раз, когда она сталкивается с явлениями осмысления и самовыражения самого процесса художественного творчества. Для этого народа однойцевые близнецы важнее гениев: первые могут улучшить статистику, последние несут в себе опасность летальных исходов. Он исторгает из себя своих гениев, как море свои жемчужины, отдавая их обитателям других стихий.

И вот этот народ попадает под «перелом», под «германское чудо», под «оздоровительное движение», как оно именуется в книге Э.Р.Йенша «Противоположный тип». Противоположные типы — это вовсе не те, кто поддался перелому, а те, кто сохранил неколебимость, кто и дальше устремлен к утонченности. Упомянутому движению хотелось бы, чтобы мы поверили, будто великое переселение народов завершилось только что и будто теперь наш долг — корчевать леса. Сущность этого «чуда» проявляется тогда, когда в городах по приказу затемняют окна, когда люди молчат, туманы клубятся и лишь *они одни* говорят, говорят, говорят: до тех пор, пока коровьи лепешки их зловонного дыхания не покатаются по задыхающейся земле. Сущность их так называемого «подъема» — независимо от вполне естественных для них корыстных акций, мотивированных чистым вещиизмом, — сама по себе является ложью и антропологической химерой, исключающей любую сопричастность с эпохой, расой или какой-нибудь частью света. Это движение проводит в искусстве чистку. И оправдывает ее тем же самым понятием, которым пользуется для собственного восславления и оправдания своих притязаний, программно начертав его огромными буквами для всеобщего обозрения: «История».

Пятеро тяжеловооруженных гоплитов\* с автоматами нападают на мальчика, которому прежде пообещали, что его не тронут, а затем куда-то волокут его — История. Магомет начинал как грабитель караванов, позднее к этому присовокупились мировоззрение; он даже отравлял колодцы в пустыне — во все века немислимое преступление, и вот оно облагорожено потребностью в Боге и нуждами расы: вначале грабеж, затем религия и наконец — История. При Нероне в Риме в 67 году от Р.Х. полностью прекратилась любая частная переписка, потому что все письма вскрывались, почтальоны приносили по утрам лишь устные сообщения о последних казнях, — всеобщая История.

Вот они: за утренним завтраком, на горных вершинах, во время квартирных краж со взломом, рядом с кинозвездами: Коллеони! На фоне крольчатников, гардеробных, пунктов выдачи спецпайков с искусственным медом: Александр Великий! Как результат массовых убийств, грабежей, вымогательства — расчистка новых территорий и приведение приговоров в исполнение! Допустим, у истории свои методы, и один из них, наиболее очевидный, — использование микроцефалов; но ведь и искусство за четыре тысячелетия может кое-что предъявить. Вышеупомянутое — контраргумент искусства; это его собственные формулировки, которые оно находит для своей эпохи. Оно находит их с такой же естественностью и точностью, как гестапо — мишень для своих пуль. Оно накапливает их и передает дальше — тем, кто всегда будет существовать, при любой исторической победе и любой исторической катастрофе, оставаясь в памяти потомков и воздей-

вужа на них дольше, чем сами эти события, — в надежде, что однажды возникнет европейская традиция духовности, к которой присоединится и Германия и станет у нее учиться, чтобы, выжившись, — питать ее тоже.

1940

## ПРИМЕЧАНИЯ

Эссе было впервые опубликовано в сборнике Г. Бенна «Мир выражения. Эссе и афоризмы» (1949).

*Английская королева* — королева Виктория (1819–1901).

*Древс* — сеть европейских ресторанов фирмы Древс.

*Закладка первого камня «Клариджа»* — отель «Кларидж» был построен в 1912 году и закрыт в 1977.

*Творение мастера XVIII века Мансара* — имеется в виду Жюль Ардуэн-Мансар (1646–1708). Ардуэн-Мансар спроектировал в Париже две площади — Вандомскую (1685–1701) и Площадь Побед (1685–1686).

*Эпохи Сун и Тан* — два периода, в которые отчетливо проявились особенности средневекового искусства Китая. Эпоха Тан (618–907 гг. н. э.), эпоха Сун (960–1279).

*Тот портрет работы Ван Дейка в Лувре* — портрет английского короля Карла I «Карл I на охоте» (1635).

*Бернар, Сара (1844–1923)* — французская актриса.

*Именами Коклена и Мельба* — Бенуа Констан Коклен-старший (1841 — 1909) — знаменитый французский актер; Нелли Мельба (настоящее имя — Хелен Митчел) — знаменитая оперная певица. После того как Мельба исполнила партию Эльзы в «Лознгрине», французский шеф-повар Эскофье приготовил для неё десерт, украшенный лебединым хвостом из льда и получивший название «Персик Мельба».

*Принц лилий* — в первой и четвертой четверти герба Бургундии были золотые лилии, заимствованные со старого герба Франции.

*Обет Фазана* — у рыцарей существовал так называемый обет павлина или фазана. Особенно знаменит «Обет фазана» на празднестве при дворе Филиппа Доброго в Лилле в 1454 г. по случаю подготовки к крестовому походу.

*Иероваам* — большая бутылка емкостью 3 л, 4,5 л, 5 л для вина и шампанского, названа так по имени царя израильского (975–954 гг. до н.э.).

*Апполлинарис* — щелочно-кислый содовый источник, открытый в 1853 г.; содержит 0,955 углекислого натрия; выходит из базальтовых скал долины Ара, близ г. Геймерсгейма.

*Наполеон, Люсьен (1775–1840)* — младший брат Бонапарта, президент Совета пятисот.

*Патти* — Аделина Патти (1843–1919) — итальянская певица.

*Лукка* — Лукка Паулина (1841–1908) — австрийская певица.

*Рубинштейн, Антон Григорьевич (1829–1894)* — русский пианист, композитор и дирижер.

«...разрешать лишь *узгу* без процентной страховки» — из правил карточной игры *Rouge et noir*, в русском варианте «Тридцать и сорок».

«В Народном саду» — Volksgarten, парк в центре Вены.  
 «в военном году» — имеется в виду «Франко-прусская война 1870–1871 гг.»

*Тотемизм* — религиозно-социальная система, в основании которой лежит культ тотема.

«Алмазная подкова» — подкова зрительного зала Метрополитен-опера, намек на богатство зрителей, сидящих в ложах.

*Дузе, Элеонора (1858–1924)* — итальянская актриса.

«Орленок» (1898–1899) — пьеса французского писателя и драматурга Эдмона Ростана (1868–1918).

*Лили Лэнгтри (1852–1929)* — знаменитая актриса. Роль Розалинды в оперетте Иоганна Штрауса «Летучая мышь».

*Кайнци, Йозеф (1858–1910)* — знаменитый венский театральный актер.

*Перспективизм* — философское учение, согласно которому познание обусловлено личной позицией, углом зрения познающего, его перспективной позицией, и, следовательно, невозможна значимость всеобщности, свободная от влияния этой позиции. *См. в приложении стихотворение «Стихи о статике».*

*Даутендей на Яве* — Даутендей, Макс (1867–1918) — немецкий художник и поэт. Умер в плену на о. Ява.

*Пьер Лоти* — настоящее имя Луи Мари Жюльен Вио (1850–1923) — французский писатель, приехавший в Японию в 1885 году в качестве морского офицера. Автор романа «Мадам Хризантема» (1887).

*Вильгельм, Рихард* — немецкий синолог. С 1899 по 1921 год был миссионером и священником в Китае.

*Хёрн, Лафкадио (1850–1904)* — писатель, переводчик. В Японии Херн натурализовался под именем Коидзуми Якумо.

*Циммер, Генрих (1890–1943)* — немецкий индолог, друг Ясперса и Юнга.

*Маре, Ханс фон (1837–1887)* — немецкий художник.

«Если умру с позором...» — стихотворение Гельдерлина «Прощание» (1799)

*Бертрам, Адольф (1859–1945)* — архиепископ Бреслауский, с 1929 года — кардинал.

*Мийо, Дарнюс (1892 — 1974)* — французский композитор, дирижёр, музыкальный критик.

*Рестиги, Отторино (1879–1936)* — итальянский композитор.

*Шелер, Макс (1874–1928)* — немецкий философ-идеалист.

«Катастрофа» — здесь имеется в виду душевная болезнь Ницше Люссин-Пикколо — очень дорогой пляж на острове Кварнери (Италия).

«Приход и расход» (1855) — роман Густава Фрейтага.

«Эффи Брист» (1895) — роман немецкого писателя Теодора Фонтане (1819–1898).

«Йорн Уль» (1902) — роман немецкого писателя Густава Френсена (1863–1945), в котором изображается жизнь голштинской деревни.

«Желанное дитя» (1930) — роман Ины Зейдель (1885–1974).

*Сказки, платдойч, вотанизмы* — здесь намек на поощрение в Третьем рейхе народной эстетики и язычества. Платдойч — нижненемецкий диалект, вотанизм — языческая оккультная религия.

*Ванзее* — озеро на западе Берлина.

*Блокварт* — лицо, отвечавшее за работу квартальных ячеек НСДАП, в его обязанности входило посещение отдельных квартир и сбор информации о настроениях среди населения.

*Генрих Лев* (1129–1195) — монарх из династии Вельфов, герцог Саксонии и Баварии, прославившийся своими удачными походами против славян.

*Сложить в музей наподобие... Синг-Синга* — печально знаменитая своими казнями на электрическом стуле тюрьма в Америке. Возможно, Г. Бенн видел голливудский фильм 1932 года «20 тысяч лет в Синг-Синг».

*В конкурсе аллитерационных рифм* — ирония в отношении эстетических приоритетов Третьего рейха, в том числе германских эпосов со свойственной им рифмой этого типа.

*«Допрос третьей степени»* — допрос с применением пыток.

*С перспективистской точки зрения* — от «перспективизм», см. примечания к данной главе выше.

*Новых Штертебеккеров и Шиллей* — Штёртебеккер, Клаус — бунтарь и пират в XIV веке; Шилль, Фердинанд (1776–1809) — лейтенант прусской армии, отказавшийся вместе со своим подразделением перейти к Наполеону и расстрелянный французами.

*Гоплиты* — тяжеловооруженные пехотинцы в Древней Греции.

*Коллеони* — см. примечания к повести «Погребок Вольфа».

**Книгу «Готфрид Бенн. Двойная жизнь. Проза. Эссе. Избранные стихи».** Изд. «Waldemar-Weber-Verlag», Аугсбург и Lagus-Press, Москва, 2009 г., 600 стр., твёрдый цветной переплёт, иллюстрации, ISBN 978-3-939951-31-5, цена 25,00 евро. можно заказать в издательстве «Waldemar-Weber-Verlag», Nordendorfer Weg 20, D-86154 Augsburg.

Телефон 0821-41-904-31 и 0821-41-904-33, факс: 0821-41-904-31. Email: waldemar.tatjana@t-online.de

4 (46) '2009

КРЕЩАТИК  
(Перекресток)

Международный  
литературный  
журнал

Оригинал-макет *Б.Н.Марковский*  
Дизайн обложки *С.Н.Пионтковский*

Издательство  
«Вест-Консалтинг»,  
Москва, 109193,  
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Подписано в печать 09.011.2009. Формат 66x88<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Усл.-печ. л. 19,8. Печать офсетная. Заказ 178.

Тираж 500 экз.